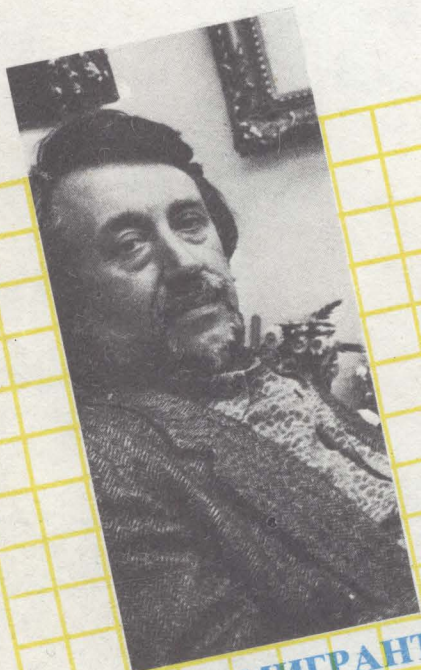


ЮНОСТЬ

Февраль '92



НЕ ЭМИГРАНТ —
ИЗГНАННИК.
стр. 20.



Екатерина ЛЕОНОВИЧ и
Дмитрий КЕДРИН

На нашей вкладке:



МИСТИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Стр. 2





Д. КЕДРИН. «Материя против сознания». Холст, масло. 1990 г.
На первой стр. обложки: Е. ЛЕОНОВИЧ. «Сувениры». Холст, масло. 1990 г.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ



(441)

2 '92

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ
СИЮНЯ
1955 ГОДА

Главный редактор,
председатель редакционного совета —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Юрий БЕЛИКОВ —
сборщик по Уралу и Сибири
Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Александр ГРИБКОВ —
заместитель главного редактора
по экономике
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
консультант главной редакции
Олег КОКИН — Главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмilia ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ТКАЧЕНКО —
редактор отдела поэзии
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

Редакционный совет:
Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Сергей ДЫШЕВ
Генрих ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Алексей ЛИПКО
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Николай ЯКИМЧУК
Глеб ЯКУНИН

Издательство «Пресса», Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Игорь БАСЫРОВ. Яйцо. Повесть (8)
Мария ГОЛОВАНОВСКАЯ. Закат. Рассказ (16)
Эльдар РЯЗАНОВ. Предсказание. Повесть.
Окончание (33)

Поэзия

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ (20). Послесловие
к публикации — Александра Ткаченко (22)
Юрий ГУСИНСКИЙ. Нисшествие члена КПСС в ад.
Легенда с эпилогом (26)
Марк ЛИСЯНСКИЙ (75)
Вероника ДОЛИНА (83)
Михаил ДУДИН (88)

Наследие

Илья ИЛЬФ. Повелитель евреев. Рассказ (72)

Публицистика

Владимир МИКУШЕВИЧ.
Мистика предпринимательства (2)
Василий ГАЛЮДКИН. Полярная Звезда (4)
Владимир БЕЛЯКОВ. «...И ныне дикий» (5)
Рустам РАХМАТУЛЛИН. Апокриф о камне (23)
Юрий БЕЛИКОВ. Заступ (24)
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Прогулки с пришельцем (28)
Анатолий АНТОНОВ, Константин МИХАЙЛОВ.
Февральские тезисы (30)
Александр БОВИН. Оптимизм толстого человека.
Беседу вела Анна Пугач (70)
«20-я комната». Журнал в журнале (89)

Культура и искусство

Илья СМЕРНОВ. Опричники из подземелья (6)
Александр ШАТАЛОВ. Опыт прочтения нескольких
абстракций и натюрмортов (32)

Критика

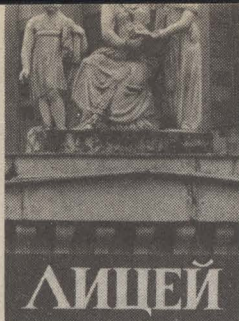
Аркадий БЕЛИНКОВ. «...Другие были еще хуже...»
(78)

Почта «Юности»

«Исповедь поколений: о жизни и о себе» (76)

Зеленый портфель

Михаил УСПЕНСКИЙ. Нет исключений
из правила буравчика (84)
Виктор ВЕРИЖНИКОВ. Топливный диплом (86)
Юрий РЯШЕНЦЕВ. Адье, великая страна! (87)



Вольный урок



Владимир МИКУШЕВИЧ

МИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Тайны золотого тельца

...Малопонятные знамения времени — полуголые красотки, домашние и дикие животные, диковинные аппараты, что-то вроде НЛО — вторгаются в привычные передачи и мельтешат, маячат, манят. Голоса, то заунывные, то патетические, зывают, сулят, навязывают некие соблазнительные блага, требуя за них такие суммы, которые совку (как он себя теперь называет) и во сне никогда не снились. Ссылки на американское телевидение при этом неубедительны. Рядовой американец, по всей вероятности, знает, как ему реагировать на рекламу, совок же тупо смотрит на загадочные картинки, как десятилетиями смотрел на торжественные заседания и съезды. И теперь он так же пассивен и отстранен от происходящего; но теперь в совке копится глухое раздражение, взрывоопасный материал, только и ждущий нового ГКЧП.

«Рынок, о котором мы мечтаем», — витийствует на экране дежурный пропагандист. В этой патетической фразе скрывается опасный подвох. Мечтать о рынке — лучший способ отсрочивать переход к рыночной экономике до бесконечности. Рынок превращается в идеал, а идеал по своей обманчивой сути недостижим (об этом первая беседа — «Ад идеала» — в № 1). Непреднамеренное, а быть может, как раз намеренное лукавство пропагандистов усугубляется тем, что рынок в принципе антиидеален. Либо рынок — не идеал, а действительность, либо рынка нет. Рынок сравним с демократией. Перефразируя известное высказывание Черчилля, о рынке можно сказать, что это наихудший способ организовать экономику, правда, все остальные способы еще хуже. Когда рынок превращают в идеал, срабатывает негативная характеристика, присущая русскому слову «рынок»: не обманешь — не продашь. Так рынок противопоставляется свободному предпринимательству, основанному на щепетильнейшей честности. Рынок начинают оправдывать номенклатурные хищения и махинации, коих единственная цель — присваивать, приобретать, «хапать». Вновь дает себя знать не всегда видимое, но тем более осязаемое средоточие такого рынка: золотой тельце.

Каждое библейское сказание является притчей, примером и наставлением для всемирной истории. Самоубийственная слепота человечества в том, что, как правило, благой урок не извлекается. Когда Моисей говорил с Богом истинным на горе Синай, народ израильский вообразил, будто лишился своего вождя, и потребовал себе рукотворных, но зримых богов, чтобы те предводительствовали. Первосвященник Аарон конфискует золотые серьги из ушей. Из них изготавливается литой идол, золотой телец. Любопытно, что о нем говорится во множественном числе: вот твои боги. Золотой телец не может быть один. Он, очевидно, рассчитан на непрерывное приумножение своих подобий, вплоть до монар-

ших профилей на монетах и даже на банкнотах. Устрашающий гнев единого истинного Бога побуждает Моисея предпринять странные, но знаменательные действия. Он жжет золотого тельца огнем, стирает его в порошок, высыпает этот порошок в воду и заставляет народ эту воду выпить. Отсюда явствует, что само по себе золото не осквернено омерзительным идолослужением, напротив, оно способно очищать запятнанных. Ленину приписывают фразу, будто когда-нибудь в светлом будущем золотом вымостят уборные. Святотатство — оборотная сторона благоговения. Намереваясь вымостить золотом уборные, большевики начинают с изъятия золота из православных храмов. Большевики как бы навыворот подражают израильскому священству, изымавшему серьги из ушей, чтобы изготовить лжесвятыню. Большевики же посягают на истинную святыню, чтобы изготовить из нее серьги для нового золотого тельца, без которого уборные золотом не вымостить. При этом действия большевиков лишены всякой экономической целесообразности. Русская Православная Церковь традиционно готова к подвигу милосердия, она не пожалела бы ничего, чтобы помочь голодающим. Изъятие церковных ценностей только изолировало большевиков в цивилизованном мире, что сводило на нет материальную ценность награбленного. Очевидно, культовой самоцелью для большевиков было именно кошунство, чему не мог не противостоять патриарх Тихон, православный преемник ветхозаветного Моисея.

И все-таки в кровопролитном столкновении, приведшем к мученической кончине патриарха Тихона, замешано золото. Без золота невозможно представить себе православное церковное здание. Православная икона созерцается на золотом фоне, именуемом «ассист». Бог заповедовал ветхозаветному художнику Веселеиду работать в золоте. Из чистого золота строится Новый Иерусалим, Град Божий, возвещенный Апокалипсисом.

Народы разделены бесчисленными разногласиями по религиозным вопросам, но практически все народы до такой степени едины в почитании золота, что многие из них даже готовы проливать из-за него кровь. Если говорить об общечеловеческих ценностях, то едва ли не первое место среди них занимает золото. Таинственный культ золота возникает задолго до возникновения рыночных отношений. Складывается впечатление, будто человек изначально слишком чтит золото для того, чтобы оскорбить его рыночным торгом. С незапамятных времен из золота изготавливались священные предметы, талисманы, обереги, а именно к ним восходят будущие золотые украшения. Кстати, современная медицина начинает подтверждать целительное воздействие золота на человеческий организм. Долгое время мерилом богатства остается скот. Лишь постепенно в обменные операции вовлекается золото, но оно, безусловно, не продается и не покупается — оно выкупается, и как правило, жизнью животного или человека. Древний симбиоз жизни и золота представлен золотым руном. Исторически это баранья шкура, на которую оседают золотые песчинки в реке, но при этом несомненно: золотое руно — отдаленное предвосхищение и первичный языческий символ агнца Божьего. Древнегреческий «Аргон» напоминает Христов корабль. Галереи в готических храмах до сих пор называются нефами, то есть кораблями. Джек Лондон недаром назвал свой известный рассказ о золотой лихорадке «Как аргонавты в старину». Золотоискательство никогда не переставало ощущаться как некое паломничество. Золотоискатель чаще всего бессознательно, но тем более жертвенно уподобляется искателю чаши Грааля со всеми эзотерическими перипетиями этого таинственнейшего чаяния.

Согласно поволжскому верованию, засвидетельствованному Мельниковым-Печерским, золото, серебро и драгоценные камни — небесного происхождения. Золото — это иверень, осколок солнца, сбрасываемый по воле Божьей ангелом на землю с молний. Серебро берется ангелом с ясного месяца, а драгоценные камни — со звезд. Интересно, что эрудиты-алхимики в своих воззрениях на золото были не так уж далеки от простодушных волжан. Отцом всех металлов алхимики считали солнце, а матерью — луну. От сочетания солнца и луны происходит философский камень, способный превращать обычные металлы в благородные. А философский камень даже в наше время продолжает выступать в западной эзотерике как синоним Грааля.

На пороге девятнадцатого века молодой немецкий поэт, по профессии горный инженер, Новалис пишет песню горняка, вошедшую в его роман «Генрих фон Офтердинген». В стихотворении представлен король, скрывающийся от любопыт-

ных взоров в своем тихом замке. Король этот привлекателен и опасен. Бесчисленный народ пытается выманить короля на свет:

Восторгом каждый обуян:
Догадываются едва ли,
В какую западню попали
И где мучительный изъяз.

Над королем берут верх и обезвреживают его загадочные смельчаки, о которых говорится, как о своего рода рыцарях:

Стенам крепчайшим вопреки,
Наперекор любым глубинам
Рукой и сердцем смельчаки
Охотятся за властелином;
На свет выводят короля,
Как духи, духов изгоняют,
Себе потоки подчиняют,
Им вытекать наверх веля.
(Перевод мой. — В. М.)

В 1923 г. Осип Мандельштам пишет свою «Грифельную оду», строфы которой зеркально соответствуют строфам Новалиса. Примерно тогда же, в начале двадцатых годов, на пороге нэпа, Мандельштам утверждает в своей статье «Гуманизм и современность»: «Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают всё идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно». Бросается в глаза аналогия с новалисовским королем. Этот король — золото с его чарующей и одновременно гибельной двойственностью. Золото мстит человечеству за то, что его девственная красота поругана куплей-продажей, непристойным культом золотого тельца. Смелчаки-алхимики возвращают золоту его истинную духовную ценность. От Новалиса через Рембо к Мандельштаму тянется линия, уподобляющая алхимика поэту:

Кто я? Не камень прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, —
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.

Осип Мандельштам по-своему трансформирует новалисовскую мистику дня и ночи. Для Новалиса ночь — золото, день — серебро. Для древних золотой век был вечной весной и не знал времен года. Времена года наступили с веком серебряным. Серебряный век русской культуры открыл цветущую сложность истории. Напряженнейшее духовное творчество в России накануне первой мировой войны совпало с расцветом предпринимательства. Золотой запас Мандельштама — преемственность времен, гуманистическая алхимия поэта.

Серебряный век вспомнил другого поэта — алхимика Раймунда Луллия. Великий каталонец, родившийся в тринадцатом веке, изготовил, по преданию, путем алхимической трансмутации для английского короля самое настоящее золото, ни много ни мало более 25 тонн. (Из этого золота были даже отчеканены монеты, имевшие хождение до 1360 года. Тот же Раймунд Луллий сконструировал в 1274 году счетно-решающее устройство, нечто вроде компьютера. Он же предсказал генуэзскому купцу по имени Стефан Колумб, что через 177 лет его потомок откроет Новый Свет. Дата смерти Луллия остается спорной. По некоторым сведениям, он достиг бессмертия и не без труда избавился от него через несколько столетий.) Несомненно, в своей деятельности Раймунд Луллий руководствовался Изумрудной Скрижалей Гермеса Трисмегиста, подытоживающей древнейшую эзотерическую мудрость: «Что внизу, то подобно тому, что сверху; что вверху, то подобно тому, что внизу, совершая чудо единого». Чудо единого зримо представлено золотом. Вот что интуитивно угадывал и ценил в золоте человек. Золотом явлено искусство Верховного Художника, творящего мир. Так романско-готическая наука называла Бога. Отсюда соблазнительные поползновения захватить золото силой — вместе с ним присвоить себе Божественное могущество, власть над жизнью и смертью и, быть может, — чем черт не шутит — бессмертие!

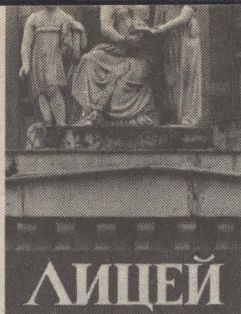
В древности подобные представления, по существу, не оспаривались. Не рекомендовалось передавать золото случайному человеку, не заслужившему его. Золото оставалось неотъемлемым достоянием своего обладателя, магическим атрибутом его личности, и золото хоронили вместе со знатным покойником, чему весьма обязаны кладоискатели и археологи. В золоте определенно видели залог личного бес-

смертия. Возможно, именно таково происхождение денег, восходящих чуть ли не к Атлантиде (быть может, отсюда и устойчивая притягательность исчезнувшего континента). Викинг не представлял себе, как он может не то что передать, а даже завещать свое золото и серебро наследнику, своему, кровному: ведь не передается же по наследству, скажем, жена, потому-то она сгорала в погребальном костре своего супруга. Скупому Рыцарю у Пушкина отвратительна сама мысль о том, что его сокровища перейдут к его сыну, настолько Скупой Рыцарь отождествляет с ними себя, свою жизнь и подспудно — свое бессмертие. Откровенно говоря, поверхностная новейшая просвещенность не только не поколебала, но, пожалуй, даже усугубила подобные чаяния. Богатство позволяет рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь, на редкостные лекарства, но в глубине души многие, если не все, отождествляют богатство не только с долголетием, но и с бессмертием, хотя никто не решается признаться в этом даже самому себе. «Царь Кашей над золотом чахнет», но он же бессмертный, не так ли? Интересно было бы узнать статистические данные о том, как соотносится богатство с продолжительностью жизни. Среди долгожителей, известных нам, миллионеры не преобладают.

Швейцарские банкиры приобрели прозвище «гномы»: гномы стерегут под землей благородные металлы и драгоценные камни. Эзотерическая традиция Запада утверждает, что гномы, в отличие от силфов, саламандр и ундин, не стремятся к бессмертию, так как встречают под землей злых духов, чье бессмертие — не благо, а мука. Клады оберегаются если не демонами, то духами тех, кто погубил свою душу ради этого золота (такой «сторожевой тенью» готов стать Скупой Рыцарь). Где клады, там устрашающие призраки. Напрасивается предположение, что призрак коммунизма не бродит больше по Европе, а сторожит золото КПСС.

В целой полосе загадочных самоубийств, произошедших после краха ГКЧП, особое внимание привлекли к себе самоубийства партийных работников, так или иначе ответственных за фонды КПСС. Всплывают все новые и новые сведения о головокружительных махинациях, об огромных суммах, исчисляемых, как правило, в золоте. При этом устрашает не то, что подобные сведения более или менее соответствуют действительности. Гораздо опаснее то, что умами наших современников с невероятной силой вновь овладевает гибельный комплекс всемогущего золота. Под обаяние этого комплекса поддаются не только наши ведущие экономисты, но также их западные партнеры, начинающие всерьез воображать, будто с помощью золотого запаса можно решить финансовые проблемы современного государства. Большевикская идеология ориентировала своих адептов на захват золота, чтобы изготовить гигантский золотой ключ к золотому веку, когда золотом будут мостить убогие. Теперь от агрессивного идеала осталось только хорошо припрятанное золото, в котором верные адепты видят «бессмертие нашего дела», то есть власть. Именно золото маячит за неуклюжими навязчивыми гротесками телерекламы, ослепляя зрителя, отвлекая и отучая его от настоящей предприимчивости, так как худший враг ее — золотой телец. Кажется, люди вслепую разыгрывают фантазмагорический сценарий, озвученный Рихардом Вагнером в его тетралогии «Гибель богов». Карлик проклинает любовь, чтобы завладеть золотом, и золото переходит от карлика к богу, от бога к герою, все это заканчивается гибелью героя и гибелью богов, а золото, по-прежнему чистое и невинное, сверкает в рейнских водах.

При этом золото остается зримо притчей и знаменем, продолжая давать людям уроки, которых те не хотят усвоить. Современная физика осуществила замысел алхимиков. Золото было искусственно получено из ртути, но процесс его получения стоил гораздо дороже самого золота. Станным образом из этого был сделан вывод, будто золото все-таки дороже всего. Между тем очевидно другое. Упомынутый эксперимент подтвердил правоту алхимиков, ценивших выше золота философский камень, или камень мудрости. Богатство современного человека в его интеллектуальном потенциале, а не в золоте, которое не имеет цены; место золоту в храме, в музее или в женском ушке, ибо человеческое тело — храм духа, против которого кощунствует золотой телец...



Урок истории КПСС

Василий ГАЛЮДКИН ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

«Андроповка». Орган Мурманского областного комитета Всесоюзного общества «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы».

Глазам не верю: Комиссаренко! (Это псевдоним, им самим придуманный. Далее употреблены и подлинные фамилии, и псевдонимы «андроповцев», и мною придуманные клички.)

Комиссаренко: «Из милиции я ушел (мы когда-то служили вместе). Сейчас работаю госинспектором рыбоохраны. «Андроповку» нашу читал? Поддерживаешь? Знакомься — Голиков!»

Голиков: «В обкоме сегодня собирается авангард местных парторганизаций, будем продавать «Андроповку», поможете?»

И я решил во что бы то ни стало проникнуть в штаб большевиков...

В помещении Мурманского обкома КПСС Комиссаренко, Голиков и я бойко торгуем «Андроповкой» по цене 50 копеек. Подходит работник обкома Горелый: «Если не продадите, я дам команду распространить в партакчейки». Лидер профсоюз Стрельников: «Как, ребята, добровольно? Сами?» Мы (почти хором): «Наш выбор — социалистический путь!»

Чемодан опустел на треть — пришлось тащить его на высокий этаж в кабинет Горелого...

Голиков. Его словарь: «трехцветные» — демократы, «двуглавые» — монархисты, «стрелки» — большевики, «овцы» — стадо, если отказывается повиноваться, его отстреливают. «Большевизация Мурмана ещё только начинается» — самое любимое выражение Голикова. В его квартире шесть портретов Сталина, портрет Андропова, письма Андреевой и... этикетки разных сортов, на которых надписаны даты опустошения бутылок. «Когда к тебе приходят гости, прячь батькины портреты, не пугай людей», — учит Комиссаренко, но тщетно. Голиков — казначей Мурманского областного комитета «Единства». Работает сторожем вневедомственной охраны. Как-то позвонил ему, слышу: «Охранник второго поста слушает!»

Комиссаренко знакомит меня с Зоей, Шарлоттой, «Леопардом». Зоя — лет девятнадцати-двадцати, симпатичная. Фотоателье, где она трудится, — место агитации и вербовки... Шарлотта — работница райсобеса. «Леопард» — мальчишка, инвалид.

Круг знакомств расширяется. Работник Кольского райко-

ма Лесничий («большевички», «ельцинисты», «аппаратные мальчишки», «горбачевисты», «сталинисточка», «нам одинаково нужны и сообразительная Зоя, и балбес Голиков», «голод — наша козырная карта») загоняет меня к первому секретарю Усачеву. Я даю согласие временно исполнять обязанности редактора «Андроповки», пока ее творец Ткаленко находится в отпуске.

Райкомовцы предоставляют мне кабинет № 5 с письменным столом, сейфом, телефоном, внутренним телефоном. Комиссаренко принес надувную резиновую кровать и кипяtilник, кабинет убирает, чай с сахаром, сигареты с фильтром, а Голиков дал телефон Нины Андреевой.

Лесная банька! Я плохо ориентируюсь, но кажется, поселок Шонгуй, воинская часть, в роще.

Солдаты прапорщика Козыря принесли нам дровишек, Комиссаренко угощает их бутербродами с лососем, мичман Шмидт пошел по грибы. Комиссаренко «благодарствует»: «Представь себе, что трехцветные доведут нас так, что найдется смелый командир атомной подлодки...» Вопрос Лесничего Комиссаренко: «Как ты вербуешь ребят?» — и ответ: «Через стакан, через банный веник!»

Черная «Волга» Усачева подкатила к Мурманскому обкому партии. Комиссаренко и я входим в кабинет Горелого.

Комиссаренко: «Мы создадим молодежный спортивный отряд имени Андропова — юность партии, ее резерв и щит! Товарищи, представьте себе: юные андроповцы в форме морской пехоты, прыгнув с «КамАЗа» в любом регионе, распространяют листовки коммунистического характера! Есть же у нас взрослые *пятерки* (курсив мой. — В. Г.), которые проводят агитационную работу!» Партийные записывали в блокноты, делая пометки, внимательно слушая. Горелый, закончив слушать и писать, спросил у меня: «Когда выйдет второй номер «Андроповки»? Не можете ли вы опубликовать известное «Слово к народу»? Обком купит несколько тысяч экземпляров». Я: «Нам нужны бумага, типография... И понял, что будет у нас все, может быть, и мундиры морской пехоты.

Возвратился из отпуска редактор и отец «Андроповки» Ткаленко, замполит подводной лодки, депутат районного Совета, наверное, единственный человек, почуявший, что я чужак. Начались ссоры. Комиссаренко поддерживал меня, говорил Горелому: «Сошлите Ткаленко на кузкинину мать, он мешает работать Галюдкину!» Моя командировка в Политисполком сорвалась: в Ленинград поехал Ткаленко...

Андреева говорит по телефону: «Ткаленко о вас сказал столько хороших слов!» Муж Нины Александровны Владимир Иванович: «Помирите с Ткаленко, работайте вместе!» Но разлад обострился — «Единство» у нас раскололось на Кольский районный и Мурманский областной комитеты. Мурманским руководит Ткаленко, Кольским — Комиссаренко. Ткаленко заплатил мне за работу сто рублей, попутно проговорился: «Первый номер подготовила к печати одна женщина в типографии одного военного завода, ей тоже заплачено 100 рублей».

Как «андроповцы» встретили путч? Шарлотта вслух осудила! «Леопарда», Голикова и Ткаленко не видел. Обком «сидел на ВЧ». Фотограф Зоя приуныла, но, глядя на Шарлотту, осудила тоже. Комиссаренко и Лесничий обрадовались. Прапорщик Козырь и мичман Шмидт исполняли служебные обязанности. Когда прозвучала команда к уничтожению документов, выпребли из сейфа в 5-м кабинете райкома бухгалтерские ведомости, временные удостоверения, список членов местного «Единства». Руководил Комиссаренко — спокойно, продуманно, быстро...

Меня «раскусили» 29 августа, когда редакция «Советского Мурмана» опубликовала мои стихи.

Комиссаренко назначил Лесничего первым секретарем Мурманского подпольного обкома КПСС. Чем они занимаются сейчас, мне неизвестно. Мурманск

Владимир БЕЛЯКОВ

«...И НЫНЕ ДИКИЙ»

Тунгусами их называли якуты. На самом же деле это эвенки — Лесные Люди. Коренной народ Сибири...

Мы с товарищем, потомком князей, а ныне киносценаристом, неслись рысью по глубоко выбитым лесным тропам. Мерное покачивание нагоняло дрему. И только голубые перспективы горных стран, открывавшиеся с увалов, отгоняли сон.

Вдруг на самом краю слуха я ощутил странные высокие голоса, словно пелась песня без слов.

— Ты слышишь? Что это?

— А, это йорь. Голоса наших предков. Они сопровождают нас в пути и поют песни о том, что было, и о том, что будет.

— И ты понимаешь, о чем они поют?

— Да.

— Стало быть, ты знаешь будущее?

— Конечно, а разве ты не знаешь?

За столом, уставленным пустыми и полными пузырями «Столичной», за грудой вареного мяса восседал гигант. Седые волосы заплетены в косицы. Молодая вдова у Шамана на коленях. Шаману Боие шел 87-й год.

Он встал, чуть пригнув голову, чтобы не расшибить макушку. Вдовушка упорхнула, недовольно зыркнув черными глазами. Он с врожденной надменностью смотрел на нас из полутьмы подпотоличья.

Странная метаморфоза случилась с моим спутником. Перед Шаманом был не рефлектирующий интеллигент, бывший студент ВГИКа; в юрте, крепко попирая земляной пол, стоял уверенный в своей божественной сущности князь, надменно-равный Шаману, а то и превосходящий его. Я не могу сказать точно, сколько мгновений, или столетий, длилась эта иерархическая борьба, но Шаман покорился и молча вышел с нами из юрты.

Разговор катился мимо меня, да и был ли это разговор? Мне казалось, что я слушаю магнитофонную запись на незнакомом языке, пущенную наоборот и на скорости.

— А в каком он звании? — встрял я.

— Не ниже полковника, — ответил князь, потом что-то уточнил у хозяйина и добавил: — Он Красный Шаман.

— Советский, что ли?

— Нет. Он ученик Великого Шамана. Его обучение в Нижнем Мире длилось девять лет. Самая главная его обязанность — провозжать души умерших в Нижний Мир. Это недоступно никому, кроме Шамана. Он проводник в царство теней.

— Спроси, может ли он показать живой душе Нижний Мир?

Шаман надолго ушел в себя и наконец прокаркал:

— Это очень опасно.

— И все же? — Я лез в бутылку, и Шаману оставалось закупорить ее за мной.

— Завтра, — сказал он вдруг по-русски.

Мы уже довольно долго шли к вершине хребта охотничьим путиком. Ловушки на глухарей, кулемки — на соболя и горностая, тонкие петли на зайца и могучие — на изюбря и козу... Эвенки не убивают зверей. Им их дают Духи Леса. Дух по просьбе охотника превращается в медведя или сохатого и приходит под выстрел. Эвенк не охотник: нельзя охотиться на самого себя.

...Шаман велел нам нарубить свежих березовых жердей на колья строго определенного размера, измерял что-то большими шагами, расставлял по лужайке странных деревянных птиц. Я случайно расколол черную от времени, с красивыми узорами капа, ручку шаманова ножа. Он ничего не сказал, но мне уже мерещилось, как он бросит мою несчастную душу в царстве мертвых.

Шаман принес бубен. Оказывается, бубен необходимо хорошо прогреть у костра, чтобы натянулась кожа. Бубен был огромен и непрост. Причудливая форма говорила о том, что передо мной очень сложный инструмент. Множество пахучих резонаторов, колокольчиков, железных фигурок, кожаных ремешков с узелками и без.

Князь сказал:

— Вряд ли это получится. Духи-покровители весьма капризны и, по-видимому, не согласятся на необычный эксперимент.

— А кто они — Духи-покровители?

— Мать-зверь. Хозяин.

— Медведь? — Я знал, что Лесной Народ никогда не называет его настоящим именем.

— Да, но это великая тайна Шамана. Может быть, и Сохатый, и Мамонт.

— Даже Мамонт?

— Мой народ полагает, что Мамонт — это рогатая щука, поросшая рыжей шерстью, да и Сохатый иной — облезлый, с восьмью ногами копытами назад.

Князь наступал:

— Эвенки произошли от деревьев. Этот громадный мужчина, проживший почти век, много раз беременел и рожал. Он рождает в лесу ворона, через год щуку, потом медведя, волка...

Боие развел костерок у ручья. Я зачерпнул воды в котелок — рядом вспорхнул глухарь. Боие, опережая меня, махнул рукой: не надо; поднес к губам маленькую гильзу и засвистал рябчиком. Лесной петушок тотчас прилетел. Выстрел — и обед нам был обеспечен.

— Ты мудр, Боие, — говорю я, отхлебывая чернейший чай, — тебе ведомо будущее. Скажи, куда идет твой народ?

Боие долго молчит, и когда я уже перестаю надеяться, отвечает:

— Туда, куда ушли омолои.

Когда кончается отмеренный земной путь народа, народ уходит дальше — как дитя, оторванное от груди, покидает родительский дом. Боие помог мне увидеть полный жизни космос. И мы продолжили путь к вершине.

...Шаман держал великолепную паузу. Маска сонной надменности исчезла. Он слушал духов. Бубен рокотал в диком ритме, заворачивая и сковывая волю, отсекая меня от яви. Шаман кричал, призывая и спрашивая, прислушивался и снова кричал, то повелительно, то подобострастно, вдруг высоко прыгнул, чуть ли не в двойном обороте. Лик его невероятно исказился: на меня смотрел не надменный мой собутыльник, а могучий Дух-Покровитель, Мать-зверь, существо иной организации и могущества. И — я оказался на берегу багровой реки. «Это пограничная река Царства Мертвых», — понял я и услышал:

— Иди. Только сам ты можешь пересечь ее и вернуться обратно. Ты должен отнести туда Это.

Нечто бесформенное легло на мои согнутые руки. Что-то взбурлило и мелькало в тяжелых всплесках реки, поток увлекал. Бросить несносный груз и бежать?! Но только исполнение поручения делало возможным возвращение назад.

Какая-то темная фигура замаячила на берегу, на взгорке, чуть повыше округлых белых камней. Она казалась полрой, и то, что я нес, предназначалось для нее. Голова этой фигуры была расколота и раскрыта.

Я вступил на белые камни и молча встал пред ждущим. И когда я уже испугался, что передача не состоится, я понял, что моя миссия окончена.

— Возвращайся. Твое время еще не настало.

...Рядом лежал Шаман. Густая пена стекала из ощеренного рта. На нас наступал князь со стрекочущей кинокамерой.

Склон выполаживался, тропа привела нас к вершине. Открытые ветрам, сосны напоминали искореженных жизнью людей. Плавными волнами перекачивались хребты.

Далеко внизу, ослепительно высверкивая плесами, несла воды река, названная эвенками Лена. Боие медленным жестом показал на нее.

— Это река Живых.

Там, на берегу, мой дом. Там плещутся в реке мои дети. Козлово Иркутской области

Илья
СМИРНОВ

ОПРИЧНИКИ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ



Фото Леонида Шимановича

Любители триллеров знают, что единственный способ справиться с фантомом — разгадать алгоритм, по которому тот действует. На Московскую Русь все время нападают фантомы. Чаше, чем кочевники на Киевскую. Последствия разрушительны — не только в экономике и политике, но и в искусстве. Вроде бы соцреализм похоронен, но триллер продолжается. Сон разума плодит новых чудовищ и будет плодить их до тех пор, пока мы не вернемся к здравому смыслу и реальному значению простых слов.

«Подполье». Классический принцип любого докапиталистического государства, в том числе и советского 30–80-х годов, гласит: «Все, что специально не разрешено, — запрещено. Все, что разрешено, — обязательно». Соответственно все сферы нашего бытия — экономика, идеология, искусство — были разделены на «официальную» и «неофициальную» зоны. Границу пролагал карающий меч государства, и направление ее (несмотря на видимую абсурдность отдельных акций: например, взятие под стражу Жанны Агузаровой прямо на сцене в марте 1984 г.) определялось четким и посвоему логичным социальным интересом высшего сословия. Да, Жанна не пела «политических» песен. Но ее деятельность нарушала феодальную монополию «песенных» ведомств. Поэтому ее следовало наказать — как негра, зашедшего в ресторан для белых, или крестьянина, назвавшегося дворянином. Чтоб другим неповадно было.

При Брежневе за неофициальную деятельность уже не убивали, поэтому подпольное искусство создало и сохранило свою традицию. В ней выделяется «магнитофонная культура», соединившая рок с бардовской школой, и бесцензурная литература — «сам»- и «тамиздата». Вопрос о «живописном андеграунде» не так ясен, поскольку художники не имели не зависящих от государства средств популяризации и тиражирования. Опять же в силу особенностей технологии театр почти не дал и кинематограф не дал вовсе никаких подпольных побегов. Из сказанного не следует, что «официальные» Эфрос или Тарковский заведомо второсортнее Галича или «забурного» Войновича. Вообще проблема «официальной» культуры не так проста, как это представляется людям, всерьез принимающим антикоммунистический треп журнала «Столица». Повторяю: советское общество далеко не первое тоталитарное общество в истории. Всякое докапиталистическое общество (феодальное, рабовладельческое, государственно-крепостническое — как на Востоке) по определению тоталитарно, за исключением, быть может, краткого по историческим масштабам периода полисной демократии. Но ведь и древность, и средневековье создали высочайшую культуру. В условиях жутких террористических режимов, ничем не уступающих сталинскому, работали те, у кого не грех поучиться и нам. Существовал театр (пусть придворный), создавались картины, поэмы, прекрасные памятники архитектуры. Успенский собор не стал хуже оттого, что Иван III, при котором его построили, был довольно-таки несимпатичным тираном. Конечно, в обществе, где всякое проявление

самостоятельности рассматривается как «политика», художнику трудно, практически невозможно спрятаться от «ежовых рукавиц» — никакое «чистое искусство» от них не спасет. Разве что магическое заклинание «чего изволите, гражданин начальник» (известно, что от частого его употребления художник ссыхается, как шагреневая кожа). Однако происходит это далеко не автоматически. И вообще не так быстро, как кажется со стороны. Наверное, Сенеку не украшает дружба с Нероном, так же как Пушкина — «Клеветникам России». Однако ни тот, ни другой этими эпизодами своей биографии не исчерпываются. Если бы исчерпывались — мы бы ими не интересовались, как не интересуемся тысячами канувших в Лету чиновников и царедворцев.

С другой стороны, «подпольному» искусству его статус не сообщал никакого особого достоинства. Ведь общество представляет собой целостный организм, в котором «подпольная» часть, хоть и не так явно, но все равно несет на себе отпечаток системы. Тот же рок — стопроцентно подпольный жанр — при первых признаках легализации украсился всеми официальными добродетелями: доносами, бюрократизмом, омерзительными склоками из-за денег. А бывшие диссиденты, придя к власти, начали действовать против своих политических противников теми же методами, какие Андропов применял против них.

Репрессиями талант можно деформировать или уничтожить. Но нельзя сформировать. Поэтому понятие «подпольный поэт» и раньше имело смысл только для историка или социолога. Для искусства это терминологическая бессмыслица того же сорта, что и «арийская физика», «социалистический реализм» или «комсомольская правда».

С «независимостью» дело обстоит еще проще. Согласно Далю, «независимый» — значит «вольный», «свободный», «неподчиненный», «сам себе господин». Так что наши «независимые» газеты, начиная с той, что вынесла это прилагательное в название, представляют собою, как правило, такую же партийную печать, как «Правда» или «Сов. Россия». (См. решение Мосгорисполкома «О финансово-техническом обеспечении «Независимой газеты» — «Вестник исполкома Моссовета», 1990, № 22.)

Независимость проявляется вовсе не в том, чтобы сменить одного хозяина на другого. И тем более не в концентрации мата на единицу бумажной поверхности или длины магнитофонной пленки. Может быть, независимость — недостижимый идеал. В любом случае это гордое слово не имеет никакого отношения к тому, к чему мы его все прилагаем.

Наше общество преодолевает наследие Батые и Иосифа I в разных сферах неравномерно. Гласность пока что область наибольшего продвижения (дай Бог здоровья Михаилу Сергеевичу). Практически в искусстве сегодня разрешено все. Даже то, что не слишком поощряется в европейских странах, там подобным авторам предостоят длинные судебные процессы, штрафы или в крайнем случае заключение их детища в специальные торговые точки, куда (по свидетельству отста-

лых европейцев) «заходить считается неприличным». Если у кого-то и возникали проблемы с гласностью — то у тех, кто пытается решать под видом искусства какие-то посторонние задачи. Например, криминальные, но им вряд ли стоит сочувствовать. Существуют еще художники, фатально не находящие контакта с аудиторией, но не всегда по вине последней...

Вот тут-то и воскресает «независимый андеграунд» — теперь уже в качестве мифа. Творческая, профессиональная несостоятельность толкает людей под знамена неуловимого ковбоя Джо из бородастого анекдота:

— Неужели его действительно никто поймать не может?

— А кому он на хрен нужен?

Создается очередной вариант «опричной культуры», на этот раз с приставкой «контр». Впрочем, приемы отработаны давным-давно. Еще в самом начале перестройки, предчувствуя закат «социалистического реализма», «Молодая гвардия» и «Наш современник» постыжились создать русскую ПАТРИОТИЧЕСКУЮ культуру. Со своей, так сказать, эстетикой, где-то даже философией и, главное, с «опричной» иерархией. В этой иерархии какой-нибудь романист Байгушев, который по справедливости мог бы рассчитывать в русской словесности максимум на 6587-е место (из ныне живущих авторов), оказывался вознесен на самый Олимп.

Следуя этому достойному примеру, и мы с вами станем рассуждать не просто о кино — но о кино «параллельном», не о поэзии — но о «постмодернизме», не о живописи — но о «концептуальном искусстве»... Явно заниженный критерий оценки «для своих» сильно облегчает им жизнь: не надо учиться у мастеров, не надо вкалывать, как вкалывает американец или японец, желая добиться успеха в своем деле. Достаточно провозгласить себя не просто гинекологом — но «гинекологом чучке», и можно открывать практику, вообще не отличая мужчину от женщины. Новая система заниженных оценок, поддержанная из стран конвертируемой валюты модой на неконформистские матрешки с лейблом «мэйд ин перестройка», оказалась не менее разрушительной для таланта, чем предыдущая система, основанная на «партийности и народности»¹.

В свое время мне довелось наблюдать бурную весну московского концептуализма: пока его творцы не относились к себе слишком серьезно, их хэппенинги были по-настоящему увлекательны. Но извлекать из них глубокий философский смысл — чему автор этих строк, к сожалению, тоже отдал некоторое количество сил и времени — было по меньшей мере нерационально. Сегодня на выставках вчерашних хулиганов и диссидентов — аромат дорогих сигарет и французских духов. И смертельная скука.

В вывернутой эстетике «андеграунда» художники могут поставить в вину не только элементарное владение профессией, но и сам факт его популярности. Шулерский прием (следите за руками maestro): поскольку «массы» слушают «Ласковый май», все, что слушают массы, равняется «Ласковому маю». Но ведь помимо «Мая» и Юрия Антонова, огромную популярность имели и имеют Утесов, БИТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД, Высоцкий, Шевчук...

Впрочем, другие теоретики гостеприимно и широко распахивают двери своего подвала: Е. Лямпорт из газеты «Гуманитарный фонд» зачисляет в «лит-андеграунд» (только не падайте со стула) Лимонова, Алешковского, Вик. Ерофеева, Пьесуха, Нарбикову. Почему не Солженицына? И вообще: что объединяет перечисленных авторов? Разве что только то, что все они изрядно преуспевают, печатаются как в Союзе, так и за рубежом, а произведения их продаются в любом кооперативном киоске. По логике «Гуманитарного фонда», «научный андеграунд» должен состоять из членкоров и академиков.

Над всем этим можно было бы посмеяться, как над похождениями Оси и Кисы. Можно было бы даже восхититься предприимчивостью русских мастеров, очередной раз сваривших суп из топора и впаривших его за валюту доверчивым «фирмачам». Но, к сожалению, когда ложную идею с усилием внедряют в нормальную жизнь — может пойти кровь.

В свое время Егор Летов из группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА в интервью самиздатовскому журналу «Урлайт» высказал несколько парадоксальных суждений о том, что настоящий рок создают «нелюди», порвавшие со всем зем-

ным и человеческим. Надо сказать, что эпатирующие интервью так же полезны рок-музыканту, как вредны политику. Кинчев, Шевчук и Нина Хаген еще и не то себе позволяли. Но Летову не повезло — с его легкой руки оказалась реконструирована старая хиппистская «эстетика саморазрушения». Появились ученые статьи, в которых депрессия и ее трагический итог — самоубийство — трактовались как эстетические категории. (На самом деле это болезнь, и болезнь излечима — если ее лечить, а не культивировать.)

Причем сочиняли все это вполне благополучные и сытые московские журналисты, не питавшие ни малейшего желания следовать собственным доктринам: они декламировали заграничное слово «суицидальный» с таким же щенячьим восторгом, с каким их старшие коллеги смаковали всякую новую деталь в картине катастрофического разрушения страны, где мы пока еще живем.

Хорошо играть за чужой счет. Расплачиваться предстояло все равно не им. А самым молодым и искренним. Тем, кто вырос не за пазухой у богатых родителей и потому имел реальные причины для депрессии, но не имел денег на хороших врачей. Тем, кто, к сожалению, принял всерьез циничные игры с вещами, которыми играть не стоит. Сразу оговариваю, что здесь я имею в виду не только музыкантов, но прежде всего 15-летних подростков, которые сегодня приобщаются к мрачному карнавалу «контркультурных» фантомов. По счастью, пока их не слишком много. Но лучше бы они выбрали хэви-метал с его рыцарскими доспехами и живописными чудищами из старых сказок...

Личность, не успевшая определить свое место в мире, — идеальный объект для социальной виисекции. Если вовремя предложить соответствующий образец «делать жизнь с кого» и соответствующую среду (референтную группу), можно воспитать из нормального, доброго подростка озлобленную урлу. Можно сделать педераста из того, кто не имеет ни малейшей природной предрасположенности к томосексуализму. Из психически здорового человека можно сделать душевнобольного, и он действительно загнется лет через пять от депрессии.

Бремя доказывания утверждений, как известно, ложится на ту сторону, которая утверждает. И пока люди, верящие в существование «андеграунда», не в состоянии объяснить, что это такое, дискуссия с ними представляет не больший интерес, чем 1001-е научное опровержение колдунов, «заряжающих» воду и газетные листы «биоэнергией», или «Протоколов сионских мудрецов».

«Пусть пребудет всякому по нутру. Да воздастся каждому по стыду (Башлачев)». Новая эпоха переоценивает вчерашнее подполье так же жестко, как переоценила она официальные карьеры литературных генералов. Что-то из его наследия уже принадлежит русской культуре — культуре без всяких приставок и дополнительных определителей. Что-то — нашу богатую «стебовую» традицию — шутя и играя воспроизводят студенты театрального института на «капустнике». А что-то, как выяснилось, исчерпало себя тем самым коротким словом, которое Саша Башлачев на концертах совершенно спокойно заменял на «хвост» или «хрен».

¹На осенней 1991 г. выставке в Манеже были выставлены огромные цветные портреты наиболее уважаемых мэтров: между Комаром и Эрнстом Неизвестным — Сергей «Африка» (Гомер, Мильтон и... Паниковский).

Игорь БАСЫРОВ

ЯЙЦО

Странная повесть

От автора

В этой повести нет ни сюжета, ни композиции. Она состоит из обрывков историй, галлюцинаций, фрагментов чьей-то рукописи... Все это перетекает друг в друга без цели и явного смысла. Автор, однако, просит учесть, что в этом мельтешении, как и в любом другом, присутствует смысл неявный, то есть линия, начертанная рукой Провидения. Она то сплетается в клубок, оставляя в недоумении, то устремляется по прямой, рождая догадки и предчувствия. Попытка объяснить и даже проследить все ее изгибы была бы слишком самонадеянной. Остается одно: зачерпнуть горстью из лужи быта и взглянуть. Гарантий нет, но, может, что-нибудь получится. Давайте попробуем.

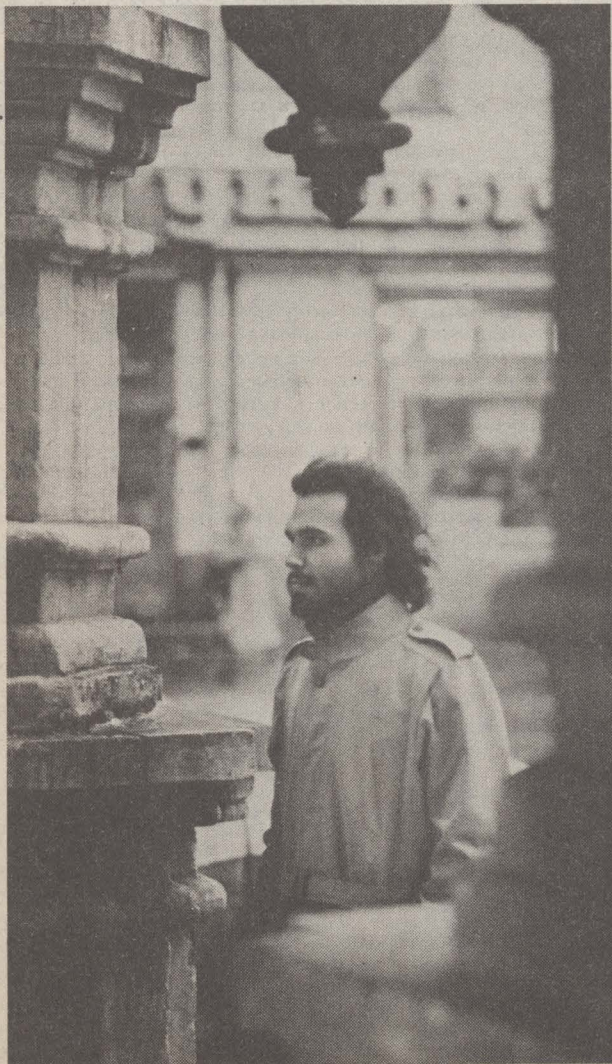
Столяр пытался сохранить рисунок древесины. Отполированный им шкаф стоит в моем углу. Он дышит пылью обложной, вдыхает запах псины, что смотрит на него в упор, разлегшись на полу. Линии, укрытые лаком, ползут, надвигаются друг на друга, сжимаются в две точки. Это глаза шкафа. Глазастый шкаф нависает надо мной всей мощью стволов, загубленных ради того, чтобы мне было куда повесить одежду. Я в тупике. Не вижу света. Глаза. Есть лампочка. Она вдали. Есть я и что-то внутри. Я рядом. То, чего нет. Где оно? Искать. Тяжесть руки. Нет смысла. А в принципе? В принципе...

Я помню, как она уходила. Дождь заливал пространство комнаты наискосок через окно, я стоял на ковре под теплыми струями и бессмысленно смотрел ей в спину. Она шла, не оборачиваясь, изящно перепрыгивая через лужи, и требовалась бесконечная сила терпения, чтобы не окликнуть ее, не догнать, не остановить. Я стоял, и сложенные на груди руки, словно шлагбаум, удерживали меня от шага; капли стекали по лицу и скапливались в уголках губ, а я боялся разжать губы, чтобы случайно не крикнуть ей... А может, лучше было крикнуть?.. Я беззвучно смотрел ей вслед. Маленький дворик зеленел огромными деревьями, она терялась в них и, потерявшись, оставалась здесь навсегда, здесь, на небольшом островке, заблудившемся в волнах дождя. Она растворялась в зелени, а я видел, как сквозь дождевые струи, сквозь волнующиеся ветви проступало волшебство пурги и зимней ночи...

«Загуляла метель над Русью. Завьюжило, запуржило, заметая деревни, проселки, города, заноса мужиков в тулупах, мужчин в шляпах, мужей в шинелях, их жен в пальтишках и прочих женщин. Взвились в небо огромные стаи ворон, разлетелись, раскаркались, пугая пугала, унося покой. Взвились в небо огромные стаи самолетов, унося людей в дальние страны и ближние города. И испуганные города спрятались в масках сугробов.

Встал Иван в полный рост, встал среди полей у проселка, разогнал ворон над головой, стряхнул снег с шапки. Свистнул посвистом молодецким, гаркнул гортанно, связки срывая, эхом зашелся морозный воздух над дальним лесом, посыпались сосульки с замерзших елок. Шагнул Иван, утонул в сугробе, выпростал ногу, другая увязла. Повел плечом, оглянулся, сплюнул. Зашипела слюна на морозном снегу. Вышел на проселок, зашагал к деревне, улеглась непогода».

Это воронка. Глубокая, засасывающая в свое нутро воронка. Нет выхода из ее бурлящей круговерти.



Рисунки Юрия Петелина
Фото Леонида Шимановича

Я бьюсь лбом о случайные предметы, раскиданные там и сям, я ищущу смысла и не вижу света. Пошли мне света, Господи!

Он идет по улице большими шагами. Стены домов хранят его в пути. Луна светит не слишком ярко, чтобы не раздражать его. Прижатая к асфальту тень ползет рядом: сколько достоинства в ее движении! Спящий город любит его, и он любит свой город во сне. Он не допустит беспорядка. Он идет знакомым маршрутом, он доброволец Гармонии. Безлюдье — его святыня, тишина — его молитва. Он утоляет жажду прохладой летней ночи. Пронесются шуршащие по мокрому асфальту машины, призрачные, как ночь. Он провожает их укоризненными взглядами. Он устал от грохота станков. Темная листва покачивается, смыкаясь высоко над головой, одуряя сладостным шелестом. Но он не поддается дурману. Воздух с шумом втекает в его легкие, на душе пустота и блаженство.

Никто не знал, когда и как появилось в доме это яйцо. Его нашли под шкафом, запыленное, маленькое; когда Федя выкатил его на свет, все увидели, что оно голубое. Прокатившись по горбатым половицам, яйцо остановилось посреди комнаты, исчерпав запас энергии, покачалось, словно в раздумье, и замерло, утомленное пристальностью наших взглядов. Мы обступили его. Голуби металась за окном. Мы молчали.

Мы молчали до тех пор, пока не забыли слова, которые знали когда-то. И когда это случилось, всем стало неловко, потому что ни один из нас не мог объяснить того, что хотел объяснить. Мы блуждали по пространству памяти и мучительно искали слова, но оно было немым, и звук наших шагов был гулок и раскатист, словно голос узника. И тогда Федя, закрыв глаза и громко крича, схватил яйцо и с какой-то звериной силой швырнул его в стену. Яйцо растрескалось мутно-желтыми потеками, и мы долго смотрели, как медленно и неотвратимо ползут они по стене, все ниже и ниже...

Егор Иванович тупо смотрел на экран. Экран светился мутно-голубым заревом, внутри что-то пощелкивало, и вот, родившись в центре и расплываясь к краям, возникла темно-синяя занавесь, простроченная четкими белыми штрихами. Направленные в одну точку, штрихи складывались в круг, словно тела не успевших разбежаться от эпицентра, эпицентра взрыва ли, провала ли, вкратце: того, от чего бежали. Но напрасно. Сколько их? Егор Иванович не смог бы сосчитать — в глазах рябило, — но знал: двенадцать. Лежат двенадцать человек. Счетчик, длинный, худой (тень легла от самого эпицентра), ходит по кругу, не ходит — скачет мелкими прыжками по ходу часовой стрелки. Откуда он? ООН? Нет нужды это знать. Но устал. Счетчик устал. Мешкает перед новым скачком. Прыгает. Снова мешкает. Тяжело. Прыжок, пауза... теперь уже долгая... Навсегда.

«Наши часы стоят», — объявил диктор. Егор Иванович подошел ближе. Полдевятого. Настенные часы (по ту сторону стены) пробили девять раз. Егор Иванович подошел к телефону. Трубка вздрогнула от прикосновения. «Двадцать один час ровно», — отчеканил металлический голос. «Наши часы стоят, наши часы стоят», — нараспев бубнил диктор, голос вырождавшийся в визг, в завывание с переменной амплитудой, в дику музыка степей, и какие-то крохотные человечки скакали и кривлялись вокруг, имитируя танец.

В окне светилась стрела телебашни. «Черт бы тебя взял», — пробормотал Егор Иванович, протерев глаза.

«Долго шел Иван, версту за верстой отмахивал, посвистывал да по сторонам глядел. Нету нигде деревни. Пригорюнился Иван, сел на обочине, котомку раскрыл. Опустился ворон ему на плечо. Посмотрел Иван в глаза ворону. Грустью пахнут глаза, холодом русским. И слеза человечья на плечо Ивану катится. «Что ж ты, птица глупая, — говорит Иван, — что ж ты, птица глупая, да горюнишься?» Отвечает ему ворон: «Мне ль, Иванушка, горьких слез не лить? Мне ль судьбу свою пуще всех не клясть? Как крылом взмахну — вроде ворон я, а как вниз взгляну, вспомню жизнь свою... Ведь не птица я, человеком был, имя Павел мне, по прозванию — Гроб». Рассказал ему ворон жизнь свою, все как есть сказал, не соврал нигде. Жил он счастливо и беды не знал, да конец пришел жизни радостной. Супостат обрек душу вечную, силу вольную, удаль русскую на мучения в птичьем образе. Век не век, так треть, а не треть, так год, все равно болит сердце ворона. Не лежит душа к белу облаку, наземь просится, к людям тянется. Да возврата нет в тело прежнее, в тело сильное, человеческое. Где б погибель сыскать злему ворогу, положить конец лютости нечисти, и тогда опять все пойдет, как встарь, — кожа белая, кудри русые, кровь горячая да кипучая... Захолонет вся душа-девица, как вернется он в избу милую... Долго слушал Иван речи ворона, а послушавши, призадумался. Знал он ворога, знал проклятого, да не мог достать — руки коротки, в нитку вытянись — не дотянешься. Супостат лихой смерть свою хранил на семи ветрах, в голубом яйце. Хоть и труден путь, доля тяжела, только ворону во сто крат трудней. Должен дать Иван силе злой отпор, тело Павлу вернуть человеческое. Встал он в полный рост, тело небес достал и пошел вперед — время дорого».

Раньше здесь был пустырь. За пустырем морг. Еще раньше вместо морга был костел. Теперь вместо всего этого длинный красивый забор из бетонных плит. Действительно, красивый, потому что плиты новые, чистые, забор романтично изгибается и напоминает о бесконечности. Он не заметил, как полюбил его, стал проходить вдоль него по нескольку раз за ночь, любясь безупречной законченностью форм. Постепенно забор вобрал в себя суть его ночных бдений, и он взял шефство над ним. Как-то раз прогнал от него подростков, желавших написать гадость на чистый, белой поверхности. С тех пор его защита — дело его совести. Он любит его ночью. Днем он раздражает его, он торопливо пробегает мимо, ревнуя его к сотням прохожих, бессильно злясь, что не может оградить его от их взглядов. Зато ночью, при лунном свете, забор неповторим. Он уже не любит других улиц, он приходит только сюда. Здесь его спокойствие и блаженство: длинная темно-белая стена уводит его в неизведанную даль. Нельзя описать, как действует на человека изогнутый отрезок длиной в полтора метра. Невозможно... Ради этого, наверно, стоит жить.

Он идет вдоль него, трогая его рукой...

... — Вы утверждаете, что ваши дети воспитываются на Рижском рынке? Не хотите ли вы сказать, что раньше они воспитывались в пионерских дружинах? Простите меня за резкость, но и то и другое — чушь. Ни на рынках, ни в дружинах дети не воспитываются. Процесс воспитания на девяносто процентов определяется родителями, именно руками и сердцем родителей творится основа характера, его главные черты, которые затем лишь закаляются в столкновениях с внешним миром. А внешний мир может воплощаться в любых формах: Рижского рынка, пионерской дружины,

волчьей стаи — в чем угодно, это непринципиально. Скажу больше: число хороших и плохих людей зависит не от хорошего или плохого воспитания, а от общего соотношения Добра и Зла в мире. А эти метафизические категории подвержены человеческой воле лишь косвенно и частично.

— Однако, Илья Петрович, самое время послушать и вашего оппонента. Вы хотели возразить, Петр Ильич?

— Да, конечно. Мой уважаемый коллега в своих рассуждениях дошел до крайней степени идеализма, потеряв всякую реальную почву под ногами. Между тем я говорю о вполне конкретных вещах: о растлении молодых душ, об утрате святого, об исчезновении корней...

Илья Петрович слушал коллегу, рассеянно наблюдая за маленькой, блестящей змейкой, которая ползла по столу медленно, лениво, разморенная жарким светом юпитеров, успокоенная мерным стрекотанием невидимой аппаратуры, ползла к Илье Петровичу. Но тот вдруг резко поднял глаза на соперника и снова кинулся в бой:

— Вы запутались в окружающих вас мелочах и начисто забыли о сфере духа. Между тем вы литератор, и именно сфера духа должна быть главным объектом вашего внимания. А ваш «идеализм» (я употребляю слово «идеализм» в кавычках, подразумевая под ним веру в идеалы), ваш «идеализм» не идет дальше кособоротки, правильного произношения буквы «р» и прочей ерунды...

Илья Петрович, распалившись, задел ногой стоявший под столом «дипломат». Щелкнув, «дипломат»

раскрылся от удара, и из узкого отверстия, шипя, поползли змеи. Их было много, они были маленькими; сцепляясь друг с другом, извиваясь, шевелясь гроздьями, они заполнили кишением своих тел сначала крышку «дипломата», потом все пространство под столом, поползли вверх по отглаженной брючине Петра Ильича, взобрались на пахнущий обувным кремом ботинок Ильи Петровича...

— Вы продали свою Родину, — кричал Петр Ильич, — вы оплевали все, что было создано героическим трудом народа на протяжении многих десятилетий! В основе вашей ментальности лежит апология гниения!..

— Как вы можете говорить об этом, когда сами гниете заживо?..

Клубок змей, свесившись с рукава Петра Ильича, не выдержал собственной тяжести и с глухим шлепком упал на стол. Кусая друг друга, сплетаясь и расплетаясь, змеи расползлись к краям, закачались на галстук Ильи Петровича. Самые молодые и сильные перепрыгивали со стола на сновавших вокруг операторов.

— Я испытываю чувство омерзения, сидя с вами за одним столом! — хрипло крикнул Петр Ильич, горстью загреб со стола кишевших там змей и швырнул их в лицо Илье Петровичу. Змеи повисли на оправе очков, и Илья Петрович снял очки, чтобы протереть глаза. Ведущий потянулся к микрофону, пытаясь остановить дискуссию, но вдруг отдернул руку. Змеи шипели и плевались ядом. Изображение на экранах замутилось от бесцветных потеков; занимая все большее и большее пространство, маленькие, извивающиеся тела облепили телекамеры, закрыли собой объективы. Некоторое время еще слышны были надсадные голоса спорщиков, затем утихли и они. Все смешалось в беспорядочном кишении.

Я иду вдоль бесконечной каменной стены. Стены созданы ради того, чтобы вдоль них ходили люди. И чем длиннее стена, тем интереснее вдоль нее идти, тем больше можно встретить людей, идущих тебе навстречу, а то и самому развернуться и пойти навстречу себе. А если стены с двух сторон, то этим решаются многие проблемы. Тогда уже никто не сможет кинуться тебе наперерез и невзначай сбить с ног. Тогда все ходят по одной прямой, ограниченной с боков параллельными стенами. На этой прямой хорошо чувствуют себя те, кто живет в пространстве Евклида. Их путь бесконечен. Хуже тем, кто знаком с геометрией Лобачевского. Ведь в ней параллели пересекаются. И, дойдя до пересечения, остается удариться лбом, упасть на землю и взлететь вертикально вверх, оставив внизу бездыханное тело. Правда, говорят, что можно прошибить стену плечом. Не знаю, не пробо-вал...

Ночью дома стоят тяжелые и пыльные, в темноте высятся их серые стены, и маленькие висючие балкончики навевают дурные мысли. Темные, уродливые судьбы вершатся за этими стенами, вычурные и странные, как эта лепка по карнизам. Ветер приносит из большого сада лай собак, крики сумасшедших и запах лекарств. Ветер вбивается в стены, вбивается в мозг, рождая бредовые образы и больные видения. Исковерканная жизнь стоит здесь на четвереньках, словно мечта маньяка. Но хочется, хочется верить, что где-то в темных лабиринтах комнат и коммунальных коридоров кто-то, прижавшись щекой к теплым женским коленям, шепчет свои единственные слова. Может быть, здесь, на этом балконе, что спрятался в тени огромного тополя. Или не здесь, но где-то есть такой балкон, должен быть, иначе зачем он несет



свою ночную вахту? Быть может, ему удастся уберечь кого-то от несчастья? Откуда одинокому прохожему ждать помощи, если не от него, добровольца Гармонии? Шаги безответно дробятся в тиши, он продолжает свой путь.

Дробь шагов режет пространство плаца, рвется рикошетом от казармы к казарме. Рота идет с ужина, рота идет в ногу — кирза по асфальту, словно циркуль с размаху в чертежную доску. Смеркается. Синецын — третий справа. Белесые, расхристанные тучки. Должно быть: воздух; но воротник — наглухо, воздуха нет. Изредка мелькнет вдали свинцовое море. Осень.

Синецын смотрит в спину. Спина колышется в такт команде. «Ногу тянешь, сука!» — это сзади хриплым шепотом. «После отбоя умирать будешь, Синецын!» Он видит это лицо: большое, круглое, с пухлыми щеками и маленькими глазками. Оно нависает сзади, от него не уйти: со всех сторон ровные ряды деревьев, шеренг, линий, кантов; в них нет изъяна, они требуют оловянных глаз и неподвижного мозга. Как сзади.

Рота завернула к подъезду, рассыпалась, загрохотала сапогами по гулкой каменной лестнице. Пять неподъемных этажей, тяжесть в ногах, ступень за ступенью, мимо мелькают униформы, спеша наверх. Куда они спешат? Там, наверху, опять ряды: ряды кроватей, на которых нельзя сидеть, ряды шинелей, которые нельзя надеть, ряды писсуаров, в которые нельзя бросать окурки, оттого что в курилке нельзя курить... Рассыпавшись, рота снова стремится в ряд: вечерняя поверка. Здесь боятся кривизны и округлостей; влившийся в стадо, трудно признаться в том, что ты скот; лучше быть точкой в пунктирной линии. Линии пронизывают быт: вечер без поверки так же нелеп, как луна в полдень. Сознание ищет прямой, а прямая устремляется в пустоту, изгиб вычленяет из общего ряда и потому стесывается. Господство прямолинейности питает агрессивность примитива и ответную агрессивность защиты. Естественный отбор животного мира.

«Я!» —

рвется из глотки вопль заданного самосознания. Старшина капризен, вновь и вновь обрывает поверку, читает список сначала (слишком шумно!).

«Я!» —

рвется из глоток по третьему разу и с каждым разом все надрывнее («Зачем? Ведь это не я!»). «Что за истерика в первом звезде?» (громко, спереди). «Синецын, вешаться будешь!» (тихо, сзади). Выкрикнуть, выкрикнуть «я» и стоять, тупо уставившись в стену, гордящуюся своей прямизной. Вот поплыл куда-то старшина, повода глазами, не имея права оглянуться, боясь быть смешным (эти люди убили в себе смех, эти люди играют в сумрачные игры — они выдумали себя и все вокруг), он отдает честь закрытой двери, ибо за дверью офицер. Довольно, хватит, силы на исходе... «Разойтись!»

Несколько минут с самим собой. Вокруг снуют, стучат сапогами — забыться, уйти. Листок бумаги, письмо... Ты пишешь письмо! Ты там: в этих спешащих, недописанных строчках; Боже, они придумали свой мир, но ты не в нем; дойди, дойди, это не листок в конверте, это я сам, я в теплый вечер, я в темной комнате, «Я» — занавеска набухла ветром, «Я!» — родное лицо на фоне ковра, «Я!...» «Синецын! Почему кричим?» Какое вам дело, отстаньте, отстаньте!..

Она склонилась над клавишами. Я с улыбкой смотрел на ее опущенную голову, слушая, как долго и трудно подыскивает она нужную ноту. Звуки никак не хотели сложиться в мелодию, отталкивали друг друга, вприпрыжку убегали от ее неумелых пальцев.

Но она упрямо жала на клавиши, с каким-то остервенением вновь и вновь повторяя неподдающийся мотив. Это тянулось бесконечно долго. Я растерял неуклюжие звуки, забыл о Людке, глядя на уходящую вывись, под крышу, темноту, как вдруг ноты послушно улеглись в стройный ряд, и я услышал музыку. Ту музыку, которую ей хотелось сыграть в эту ночь, под завывание выюги, в темном, холодном Доме культуры. Она неслась из-под ее пальцев легко и свободно, минуя меня, минуя стены и выходя на бескрайний простор ночного мира. И эта сцена, и этот зал, и все здание оторвались от неуютной, холодной земли и поплыли в вихрях выюги крошечным островком тепла, унося нас с ней, унося пьяного электрика Толю, остервенело барабанившего в дверь служебного входа, унося прошедший спектакль... Толик видел, как земля медленно уходит у него из-под ног, как он поднимается вверх и плывет над городом, к холодным, немигающим звездам, став частью великой гармонии, рождаемой пальцами склоненной над роялем девушки. Он сплюнул и прыгнул вниз. А мы улетали все дальше, музыка несла нас, и не хотелось думать о том, что все это кончится, что вскоре придется очнуться, впустить продрогшего электрика, пить с ним водку и слушать его длинные рассказы.

— Играй, Людка, прошу тебя, — шептал я, и она понимала меня, не слыша слов. Ее глаза были закрыты, она казалась мне одной из миллионов снежинок, летящих в эту ночь над огромным миром, обретающих в своем полете призрачные клочки счастья, а потом бесследно исчезающих в залежах грязных сугробов.

Все будем там! Играй, Людка, играй!

Кровь течет из разбитой губы, ты бежишь среди ровных стен, они сжимают твои бока рядами прижавшихся к камню людей, камнелюдей... «Быстрее, быстрее, Синецын, две секунды сверх нормы!» В легких — огонь, горячий воздух рвется наружу, не притрагиваясь к стенкам горла: они воспалены, они не чувствуют прикосновений. «Давай, давай!» Люди в подштанниках, зияющие рты, мертвый огонь глаз,



палящий жар дыхания. Прямая коридора тает, обрывается окном, но надо повернуться и бежать обратно — коридор не вмещает нормы военно-спортивного комплекса (какое тебе дело до него?... Страшно...). Только что тебя били. Трое, один за другим. Тебе дали боксерские перчатки, и ты делал вид, что защищаешься, но как ты боялся дать отпор хотя бы одному из них! Нужно смять себя, как ненужную бумажку, нужно вжаться в асфальт до уровня его (допустимых!) неровностей, иначе — шея слаба, шея сломлена будет давящим прессом тяжелых сапог, барабнящих по черепу, словно в крышку канализационного люка. Наверх... Отставить! Вперед!

Вперед, к той черте, что белеет так резко, режет, раздражает, у тебя есть знакомый солдат в хлеборезке, он накормил тебя, когда ты собирал объедки, дежуря по столовой, здесь не любят голодных, здесь не любят сытых, здесь любят линию, которую любишь и ты, к которой бежишь ты, бежишь мимо стоящих их, мимо...

Мимо меня. Я стою у стенки и наблюдаю за твоими судорожными прыжками, прыжками разбуженного среди ночи животного. Тебе хочется скорее отпрыгать требуемое и вернуться в сон, в небыль, спрятаться в теплом зловонии казармы, среди сотен тел, то неподвижных, то мечущихся, то непотребно орущих... Ты мечтал слиться с ними, ты с такой силой вжался в поверхность, что выпятился с другой стороны... Много ночей подряд ты будешь чистить унитазы с красивым названием «Чаша Генуя» и слышать стук сапог в крышку люка. А я буду стоять у стены и думать: «Кто же прав?»

Ты добежал до той черты, но слишком поздно, ты потерял секунду, взглядевшись на бегу в мое лицо, и не смог нагнать ее, думая обо мне. Ты принимаешь стойку, чтобы бежать дистанцию вновь, не успев отдышаться после первой попытки, ты решил, что прав не ты, и извиняешься своим ночным бегом.

Ты замер. Я вижу, как дрожит капля крови на твоём подбородке.

«20 июня в 2 часа ночи в... отделение милиции доставлен Фролов Виктор Юрьевич, 1965 года рождения, рабочий завода «Пролетарий», задержанный в связи с беспечным хождением вдоль забора, повторяющимся систематически в ночное время...»

...Город повис под ногами жуткой громадой, испещренной точками огней. Железо карниза за окном глухо грохочет, пузырятся под тяжестью моего тела. Там, за стеклом, осталась уютная лампа, низко нависшая над кухонным столом. Ее хорошо видно отсюда. Но все, что там, — чужое, оставленное мной навсегда, жалкий, маленький кухонный мирок, в котором тесно и душно. Теперь со мной весь город, все необъятное, просторное небо, вот-вот готовое поменяться местами со своим отражением внизу. Небо и город — зеркальные копии друг друга: скопления созвездий точно соответствуют пучкам городских огней. Дух захватывает от того, что я часть этого необъятного мира, полноправная частичка, готовая слиться с безбрежным пространством в головокружительном полете. Разве это самоубийство? Это — соединение с великим океаном духа, принадлежащим тебе по праву рождения, слияние с музыкой бесконечности, отказ от всего пошлого и плотского, чем связывает бессмертную душу грязный мир вещей... Только бы оттолкнуться посильнее, чтобы закувыркались перед глазами этажи, столбы, деревья, чтобы улететь в этом вихре туда, к новой жизни, подальше от этой серой стены, закрывающей горизонт справа от меня, ну...

— Нет ее, понимаешь, нет! — Егор Иванович ткнул пальцем в пустое место за окном и застыл, глядя в темноту немигающим взглядом. Его рука лежала на моем плече, и даже сквозь ткань рубашки я чувствовал влажность подрагивающей ладони. Я подошел к окну и прикрыл створки. Егор Иванович выключил свет. Полная луна полыхнула нестерпимым огнем, отразилась в полировке письменного стола и успокоилась на подоконнике.

— Ты ведь сам послал ее к черту.

— Но я не ожидал, что она действительно исчезнет.

— Так что ж теперь?

Он молчал.

Телебашни не было уже третьи сутки. Она исчезла внезапно, оставив после себя зияющую пустоту в небе. Егор Иванович надеялся на возвращение башни с тем безумным упрямством, с каким ждут возвращения ушедшей навсегда женщины. Я боялся огорчить его. Я навел справки. Я узнал, что времени больше нет. И нет ничего — ни радиоволн, ни атмосферы, ни будущего... Все застыло, все замерло в ожидании, в медленном умирании, в неподвижных судорогах. Я не смел сказать об этом Егору Ивановичу. Он ждал Солнца и не знал, что Солнца больше не будет...

«— Куда с птицей прешься, черт долговязый?

Иван наклонился и посмотрел вниз. Маленький проводник загородил дорогу.

— Слышь, длинный, тебе говорю! С животными и птицами вход воспрещен.

— Но на Павла куплен билет.

— Это меня не волнует. Был бы твой Павел человеком, я бы по билету его опознал. А ворону ты от меня никаким билетом не укроешь! И не старайся! В моем вагоне испокон веку никакой флоры не было. А ты, вишь, пернатое пронести собрался. Не пушу!

Проводник решительно захлопнул дверь. Потоптался Иван на месте. Что тут будешь делать? Постучался Иван в стекло.

— Эй, друг, может, у тебя клетка какая найдется?

И увидел по ту сторону стекла кривляющееся в крике лицо проводника. И слова расслышал:

— А у меня вагон, а не зверинец. Клетки есть, да только для буйных пассажиров, вот таких, как ты. Еще раз постучишь — как раз туда угодишь!

Разгневался Иван, размахнулся, да ударить не успел. Говорит ему Павлуша Гроб на ухо:

— Не надо, Ваня, не ссорься с властями! Поезжай лучше один, а я вслед за поездом по небу полечу. Так с тобой и до столицы доберемся.

— А долетишь?

— Не волнуйся, Ваня!

Взял Иван ворона в ладонь, вскинул руку. Взметнулся Павлуша Гроб в поднебесье, с облаком в полете сравнялся, замаха крыльями, зависая над поездом. Раскрыл двери проводник, выглянул осторожно, взглянул в небо, впустил Ивана».

Меня занесла сюда московская снежная замать. Или то была тополиная метель?... Уже не вспомнить... Дом стоял, чернея выбитыми стеклами, а меня кружило вокруг него, несло ветром, поддувало в спину... Да, была зима. Редкие прохожие чернели куцыми пальтишками на фоне ночной белизны, пугались раскативаемых ветром фонарей, жались к стенам... И меня прижало к этому дому...

Кто и зачем построил его, кто проводил в нем свою длинную жизнь, а кто забегал случайно, на огонек, на минуту? Сколько их было? И потом, проводив свою жизнь до последнего мига, не возвращались ли они

сюда одни? Вспоминать в пустоте, в бестелесности? Как я завидовал им!..

Меня втянуло в эту дверь помимо моей воли. Я не сопротивлялся, я знал, что все равно, не сегодня, так завтра, переступлю этот порог. Я вошел внутрь. Под ногами хрустели обломки, и в скудном свете, где смешивались лучи фонарей и луны, проступили перила лестницы. По всему зданию гуляли сквозняки, закручивались в хороводы и тихонько подвывали в такт своему кружению. Сколько было тоски в этом прелестьном напеве! Я люблю тоску, я тоскую всегда, и мне мила песня ветра.

Я поднялся наверх. Снег укутывал плинтусы, поскрипывал под ногами; покачивалась дверь, висевшая на одной петле. Было тихо и сладостно. Я ходил по дому, слушая его тишину. Мне казалось, что я жил в этом доме много веков назад... Много? Два или три. Всего лишь. Да, вот здесь, за причудливым поворотом стены, была моя комната, сюда я входил с подсвечником в руке, поздно ночью, вернувшись... Откуда я тогда возвращался? Не помню... Или помню... Ну конечно, я возвращался от тетушки, что лежала при смерти в противоположном крыле... Я, кажется, был влюблен в ее дочку... Она приезжала к нам из деревни, и я часами дожидался ее в маленьком садике прямо за домом... Там было...

Дверь хлопнула, словно от резкого толчка, сорвалась с петли, разбив тишину многократно повторенным эхом. Я оглянулся. Смутные тени бродили от стены к стене, не видя друг друга, не замечая меня, проходя насквозь... Стало страшно. Я не испугался, если бы они заговорили со мной, повели за собой, усадили в свой круг... Но они молчали. Они были мертвы... Волком завывла вдалеке собака. Я дернулся в сторону, я хотел спуститься вниз, но тени сомкнулись передо мной, и я вздрогнул, ощутил холод их тел... Мне не выйти отсюда!

Зазвонил телефон. Тени расступились, я пробежал по коридору, но телефон умолк. Я заметался по комнатам, отыскивая аппарат. Тени двигались за мной следом, иногда обгоняли меня, но молча, с холодным поклоном уступали дорогу, встречаясь на пути. Я нашел его. Он стоял на полу, у окна, припорошенный снегом. Молчал. Я снял трубку. Ладонь ощутила покалывающий холодок. Гудок растворился в воздухе, стал его частью, стал тенью, стал гостем, к которому привыкли. Я прервал его. Диск вращался медленно, с мерным жужжанием, словно обдумывая каждую цифру. Я прокрутил его семь раз. Город молчал. Я набрал другой номер. Ждал. Тени двигались. Я ждал.

Мне не уйти отсюда! Трубка гудела ровно и настойчиво, с рассчитанными паузами. И чем больше было гудков, тем сильнее напоминали они позывные не понятого людьми мира. Я слушал их. Тени сжимали свое кольцо.

Меня занесла сюда московская снежная замать...

Призраки дней, лихорадка ночами. Ночь берет мое тело, всасывает в себя липким поцелуем — я становлюсь наростом на ее губах, только скрежет зубов на поверхности тишины. Шепот в глубине. Она шепчет мне на ухо то, что я забуду утром. Я знаю, что засну на рассвете; час за часом проходят мимо. Я спокоен. Я жду.

Я вижу клетку. Нельзя понять, на чем она держится. Кажется, она плывет в воздухе. Проплывает в одну сторону, в другую. В ней есть кто-то или в ней нет никого — я не знаю, мне интересно не это. Мне нравится прямизна ее прутьев — так бывает во сне: видишь прелесть того, чего не замечаешь днем. Прямизна отражается во мне приятной вибрацией, прутья слегка подрагивают, и я вижу, как из этой вибрации рождается... Как это слово?.. Ткань?.. Материя! Ма-



терия — объективная реальность, данная нам в ощущении, она не обращается в пустоту и из пустоты не возникает — она вечна и многолика. Я вижу, что сегодня ее лик — скорлупа; нет, не только — скорлупа скрывает плоть, сырую, неразвившуюся плоть. Она живая, она растет, скорлупа лелеет ее. Плоть обволакивает прутья клетки, но я не хочу этого, я цепляюсь за них взглядом: верните мне мою прямизну! Острые края скорлупы впиваются в луч моего взгляда, надрезы сочатся влагой, взгляд туманится слезой — это плоть лечит раны, берет в плен мою душу. Я вижу яйцо, огромное белое яйцо с грязноватой скорлупой — там, внутри, моя клетка. Я буду здесь, пока не проснусь.

«Мчался в ночи поезд, приближаясь к столице. Освещаемые переменчивым светом пролетающих станций, мчались, лежа на полках, спящие люди. Подгоняемые стуком колес, их сны путались и смешивались друг с другом. В тамбуре, то тускнея, то разгораясь вновь, светился одинокий огонек сигареты. На верхней полке мертвым сном спал Иван. Среди ночи дверь купе медленно и бесшумно открылась, и на пороге появился проводник. Глядя в упор на Ивана, пробурчал в усы:

— Что, брат, не улетел еще?

Усмехнулся и ушел к себе.

Павлуша Гроб приближался к Москве. Много преград встретилось на его пути, но всякий раз взмывал он к облакам, не задерживаясь, торопясь поспеть за Иваном. Хорошо было лететь в облаках, дышать чистым ветром, то бьющим в грудь, то подгоняющим сзади, играть с тучами, смотреть на большой мир, который с высоты кажется таким чудесным, таким простым и понятным. Но стоило спуститься ниже, как лететь становилось труднее, путь преграждали линии электропередач, заводские трубы, переполненная людьми земля отравляла своими выделениями, и рвался Павлуша вверх, подальше от этого ада.

Но Москва приближалась к Павлуше, и сжималось его сердце. Нужно было поспеть за поездом, встретить Ивана, нужно во что бы то ни стало, иначе всю жизнь придется питаться падалью, скитаться по этому миру без цели, без желания, без будущего... И нужно было немного потерпеть...

Над Москвой бушевали радиоволны. Сотни, тысячи станций вещали одновременно. Все эти сообщения, переговоры, песни и пляски переплетались и создавали чудовищный фон, который доводил Павлушу до бешенства, пугая своей ненужностью. Эфир был забит до предела, и одинокому ворону не находилось в нем места. Кинулся Павел вниз, камнем упал с высоты и забился, запутался в переплетении антенн. Грудью кидался на острые спицы, отлетал назад, снова рвался вверх, но чужой эфир отбрасывал его вниз, в металлический лабиринт. Изнемог Павлуша, опустился на перила балкона. Вышла сердобольная старушка, пшеница ему насыпала, воды налила. Поклевал он пшеницы попил. Поднял голову и с мертвой тоской посмотрел на зарешеченное антеннами небо...

Мы проснулись за мгновение до того, как тишина обрушилась звоном разбитого стекла. Страшное, скользящее бессилие родилось внезапно, на взмахе век. Что-то живое металось в четырех стенах, молча, неистово, ударяясь о стол, о лавки, о наши кровати, обдавая потоками воздуха испуганные лица. Диана закричала. Ее крик вернул к жизни Николая. Прощлепав по половицам босыми ногами, он включил лампу. Голубь, безумный, израненный голубь бился под потолком, окропляя комнату кровавыми брызгами. Голубиная кровь залила нам лица и постели. Мы стояли, не поднимая рук. Мы поняли, за что послана нам эта ночь.

Мы стояли до тех пор, пока голубь не затих у нас под ногами.

Егор Иванович стоял неподвижно. Стараясь не шуметь, я подошел ближе. Мой сосед беззвучно молился. Я положил руку ему на плечо. Егор Иванович вздрогнул и, согнувшись, отскочил в сторону. Он не открывал глаз. Его лицо было острым и колючим.

— Душу вечную ничтоже сумняшеся... — отчетливо проговорил он и бухнулся на колени. Кровельное железо прогнулось под ним с гулким стуком. Он не удержал равновесия и упал на бок. Я подбежал к нему: крыша была покатой, и я боялся, что он скатится вниз. Он раскрыл глаза и узнал меня.

— Что вы здесь делаете? — Холодный и жесткий звук его вопроса смягчился и растаял в царившей вокруг черной пустоте.

— Пойдем, Егор, оно больше не появится.

— Я должен дожидаться его возвращения, понимаешь? — Он схватил мою руку цепкими пальцами. Я отшатнулся. Он не выпускал меня. Я не узнавал его лица. Он рычал и брызгал слюной. Снизу, из глубины двора, прямо в глаза бил прожектор. — Понимаешь? Если оно не вернется — это конец всему, во что мы верили; если оно не вернется, то одному из нас не место на этой крыше. Кому? Мне? Тебе? — Его глаза расширились, он схватил меня за горло. — Вернется?

Я ударил его в пах. Он согнулся, закрылся руками. Я бил его кулаками в голову. Кровь капала с его пальцев густыми каплями, которые казались черными в ослепительном свете прожектора. Я толкал его к краю. Я знал, что Солнца больше не будет.

Знал это и я, хромой старый волк, притаившийся в кустах напротив пятнистого детского грибка. Я ви-

дел, как на краешке крыши танцуют свой брачный танец двое людей, праздная обручение с гибелью. Был день, но брачащиеся не знали об этом, потому что была ночь, а ночь была потому, что в город пришел я, хромой старый волк, сожравший Солнце. Хватит, довольно позаторали! Теперь я буду хозяином ваших тел,

я
буду рвать на куски ваших младенцев,

я
буду выгрызать чрево вашим самкам,

я
буду сеять свое семя на кожу ваших трупов, гнилых, зловонных трупов — единственного, что оставите вы на память столь любимой вами природе. Я стар, но это к лучшему, молодежь с делом не справится, молодежь превратилась в ваших собак, в дерьмо, извергаемое вами из квадратов ваших жилищ с целью приобщения к живому. К живому? Вы украли самих себя, вы выпали из стаи и смели надеяться, что навсегда? Я обмотаю ваши кишки вокруг деревьев, чтобы вы нутром вспомнили о том, откуда пришли. Дрянь — ваша жизнь, дерьмо — ваша культура...

Я подожду. Еще немного, и один из них сбросит другого сюда, вниз, ко мне. Ночь — дело темное.

«Иван спал, пригревшись у батареи. Ему снились огромные кладки яиц; дикий, животный восторг охватывал его, он, кряхтя от удовольствия, топтал их ногами. Но не было среди них яйца со смертью супостата. Иван просыпался и выл на луну, щедро лившую свой свет в широкие окна министерского здания.

Он оброс бородой, исхудал, в глазах появился лихорадочный блеск. Целыми днями блуждал он по бесчисленным коридорам и кабинетам, питался отходами из буфета. Никто не обращал на него внимания даже тогда, когда во время важных заседаний он ползал под столами, хватая за ноги министерских служащих. Сначала редко, потом все чаще и чаще казалось ему, что он таракан. И появилась боязнь быть раздавленным, случайно ли, нарочно — какая разница! Он стал забиваться в углы и целыми днями сидел там, опасливо ежась, если кто-нибудь проходил мимо.

Прячась от людей, скрываясь по углам, добрался он до чердака. Расправил грудь, вздохнул с наслаждением: здесь не было никого, здесь некого было бояться. Душа его пела. Какая тишина, какое раздолье! И как приятно смотреть вниз из слуховых окон!

Из темноты и паутины вырос бородатый, опухший мужик и прохрипел:

— Место занято!

Иван отпрянул, присел на корточки, с тоской ощутил плети ослабших рук.

— Простите!..

Сгорбившись, пошел назад, порой опускаясь на четвереньки, чтобы проползти под низкой потолочной балкой.

— Постой!

С трудом передвигая опухшими ногами, бородач подошел ближе. Сдавленная, забытая ласка проступила в его глазах сквозь накипь конъюнктивита.

— Жить негде?

— Негде, — кивнул головой Иван. Бородач подумал, шевеля узловатыми пальцами.

— Оставайся у меня, — сказал, глядя в сторону.

— Спасибо, — сказал Иван. Они сели на грязный, дырявый матрас.

— Здесь сплю, — сказал бородач. — Вообще место хорошее, спокойное. Ни тебе ментов, ни нашего брата. А здешним не до нас, никто тебя не замечает.

— Как таракана? — вернул Иван.

— Что?

— Мне стало казаться, будто я таракан.

Бородач долго молчал, глядя в дальний угол, из которого струилась темнота, растворяясь в робком, печальном луче, падавшем из слухового окна.

— Ты не таракан, ты цыпленок, — сказав, сплюнул. — И я цыпленок. И все — цыплята. И город этот — яйцо. Не замечал? — Бородач перевел взгляд на Ивана. — Только из нормального яйца один цыпленок получается. А нас здесь сколько?

В маленькое оконце была видна багровая лента заката. Долго сидел Иван, глядя на крыши засыпающей столицы. Он не мог отойти от окна, казалось ему, что этот закат — последний. Когда солнце село, он выпил флакон одеколона, спустился вниз, выбрался на улицу сквозь замочную скважину и заковылял к при вокзальной площади».

Мой путь обрывается у черно-белого надгробия. Изломанные глыбы впились друг в друга, сплелись в немой борьбе. Черные — слева, белые — справа. В их каменной тяжести — стремление слиться навечно в единую, цельную глыбу. Но они разные. Даже если одноцветные. Каждая из них пыталась в одиночку стать целым. Не получилось. Оттого они такие изломанные, изборожденные выступами, словно морщинами. Они застыли, храня в своей сердцевине то, ради чего поставлены, — человеческую голову. С лицевой стороны камни гладко отполированы и издали похожи на черно-белый монолит. Точнее, на половину монолита, острым ножом разделенного надвое. Он словно ждет, ищет другую половину, чтобы слиться с ней, спрятать,

скрыть эту голову, оставить ее там, внутри, блуждать по извилям черно-белого камня, по бороздам и морщинам беспорядочных изломов. Но голова лукаво улыбается, торжествуя победу над камнем и забыв о том, что она тоже каменная. Ее мертвая улыбка теряется в тесноте могильных лабиринтов.

Небо раскинулось над землею огромным черным саваном. Плотная ткань ночи покрыла собой мир. Тщетно бьется буйный, несломленный ветер — душно под тканью, пот на лице — крупными, недвижными каплями, словно мертвые звезды, намалеванные на холстине небес. Все замерло, лишь сердце пульсирует жадными толчками, боясь поддаться смертельному сну, стучит в грудную клетку: ему страшно. Всю жизнь оно колебалось: мечтало выпрыгнуть из клетки, но без нее жить не умело. Оно привыкло к своему плену, полюбило его, и вот теперь... Во всем огромном мире оно единственное, что еще движется, пусть бестолково — шаг вперед, шаг назад, но все-таки движется! Как страшно двигаться в одиночку! Если б ожило хотя бы что-нибудь, хотя бы самая маленькая, незаметная звездочка, о, они вдвоем разбудили бы все остальное. Неужели она не отзовется?

Вот она, крохотная, еле заметная точка, вот она пошевелилась, сначала робко, неумело, вот сдвинулась с места; закрыв глаза, разбежалась и...

Полетела! Она летела все уверенней, все сильнее ощущая прелесть полета, она мчалась по небу, и небо уже не казалось мертвым: на нем жила мерцающая полоска, прочерченная стремительной малюткой. Тысячи глаз следили за ее полетом, тысячи глаз, стряхнув с себя будничную дрему, поднимались к небу. И я знаю: она не погаснет, она не исчезнет, она не умрет!..

Пока глаза эти открыты.

ДЕТИ В БЕДЕ

Родители и врачи против рака

Так как число заболеваний детей лейкозами и другими тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями резко возросло после Чернобыльской катастрофы, мы объединились для борьбы с этой бедой.

В Белорусское республиканское Общество "Дети в беде" вошли родители, дети которых болеют различными формами онкологических заболеваний и другими тяжелыми недугами. Членами Общества являются также медики и люди, активно помогающие больным детям.

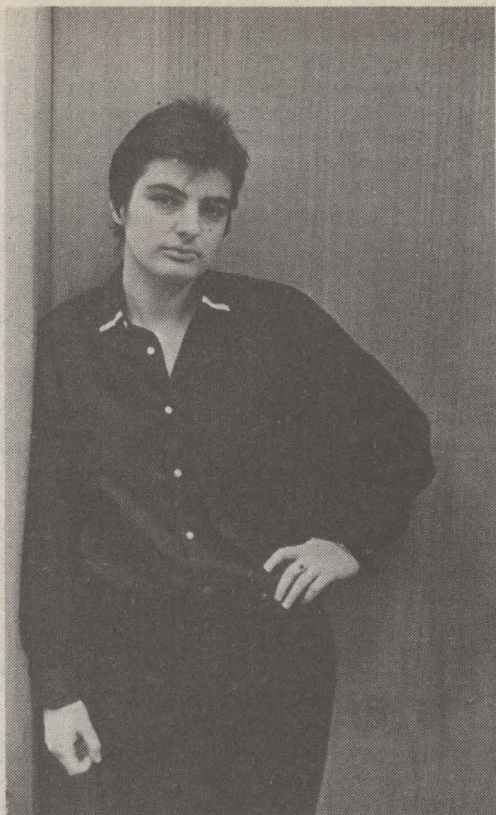
Цель нашего Общества — оказание помощи больным детям и их семьям на территории всей республики.

Мы готовы принять в Общество коллективных членов — предприятия и организации, которые хотели бы оказывать поддержку конкретным детям и их семьям.

Если Ваша душа готова принять часть огромной беды и Вы чувствуете в себе силы для оказания помощи тяжело больным детям обращайтесь в Родительский комитет Общества "Дети в беде".

Телефоны: 493428, 602619, 326439, 312721. Телефакс: (0172) 312721. Наш счет в Белорусском промышленно-инновационном банке г. Минска N 700517. Граждане и организации из других республик могут воспользоваться курс-счетом N 8111617-00 в г. Минске МФО 400417 с обязательной пометкой "Дети в беде".





Мария
ГОЛОВАНОВСКАЯ

ЗАКАТ

Рассказ

Мария Головановская в свои 28 лет успела многое: стать профессиональным переводчиком, защитить кандидатскую диссертацию. И вот дебют в «Юности» с первым рассказом.

Изнасиловал — убей. Или. Как бы ни была глухая змея, она все равно услышит голос моей дудочки.

Испытывать привязанность к тонкой брошюре с синей обложкой, пытаться бережно разгладить замусоленные края, огорчаться оставшимся на тетрадном листе следам, вмятинам от теплых пальцев, прожить всю жизнь в одном городе, как шашлык, нанизанном на жестяную линейку проспекта, носящего имя белокурого мальчика с голубыми глазами, жадно сжимающего потными ладошками красное с желтым бочком яблочко под ласковым взглядом матери с прямым пробором, прожить всю жизнь в одном городе, ползая, как муха, по белесым обветренным ребрам улиц, шарить глазами по буквам, не отбрасывающим тени, но оставляющим пятна, или.

Раз в полтора месяца собирать чемоданы — рубашки к рубашкам, носки к носкам, внюхиваться в новые запахи аэропорта, упиваться красивым голосом дикторши, объявляющей рейсы, мысленно дорисовывая остальное, панибратски разговаривать на чужом языке, обклеивать чемодан круглыми и прямоугольными рекламными этикетками гостиниц с гербами городов, кухня, коридор, окно, вешалка (зачем ты наводишь дом двадцатилетними мальчиками), лестница, запах проросшей картошки, подъезд с застывшим у лифта гвоздем в шляпе (Тебе нравится, как наливаются их ширинки от твоих «В ласке должна быть пытка», «Ничего нет прекраснее свежей царапины?»), двор, белая болонка с розовым брюхом и серыми от пыли лапами, спуск к остановке в асфальтовой разложившейся луже (Тебе нравится, что они лижут глазами твое лицо?), скелет остановки, фонарь обезглавлен (и ничтожнейшего твоего движения достаточно, чтобы они пошли ради тебя даже на...?)... Ждать не хочется. Пешком.

Гнедой (запыленные деревья, шины давят лужи, лужи стреляют водой, мальчик в красном свитере жжет траву). Упрямый. Не ест из рук. Грубая темная обувь. Нагло смотрит в лицо. Краснеет, когда гладишь колючий затылок (девочка в красном фартуке кормит петуха, разворачивается и, виляя попкой, идет к домам), стряхивает пепел в цветочные горшки, не говорит «спасибо» (мишки, два, три, четыре бегают вокруг поваленного дерева), сидит спиной (светофор), не пользуется носовым платком.

Белый в яблоках (солнце садится за молочные зубы блочных домов). Тихий, нежный, болезненный. Берет одними губами, садится в угол, ластится, доверчиво закрывая глаза (Продукты), просит еще (Фотолаборатория), любит сладкое, хотя ему нельзя много сладкого (кафе). Вороной (кофе).

Вороной. Тонкий, красивый, изысканный. Дамочка размешивает сахар, голуби подъедают крошки. Вороной (2142503) обещает прийти и не приходит, обещает позвонить и не звонит. Заявляется домой в три часа ночи и отвечает сонным голосом «я сплю». Старуха сметает крошки на пол с круглых зонтичных столов. Дамочка доедает третье пирожное. Носит белую мягкую обувь. Тонкие безупречные носки. Вороной. Не доедает бутерброд с икрой, мальчики возятся за соседним столиком, щелчками гоняют сухую корку, стараясь попасть в ворота из двух пустых стаканов, старуха со вздущимися венами на руках кричит, ругается, матерится, к буфетчице пришел сынок лет четырнадцати в куртке с короткими рукавами. «Додумался, тоже мне!», — говорит она ему в ответ на произнесенные шепотом на ушко откровения, дамочка, доев третье пирожное, артрозной походкой направляется к дощатому выходу, полупрозрачные белые рубашки с тремя расстегнутыми верхними пуговицами, дезодорант с запахом зеленого лимона, дает пустые обещания, любит смотреть, как на пляже дерутся мальчишки, не

Фото Юрия Садовникова

истекая при этом черной краской, смешивающейся с предсмертным ледяным потом. Вороной.

Еще когда мы с ребятами жгли спички, выжигали по весне траву, затаптывая слишком опасные солнечные языки, бегали в кругу тонкой оранжевой змейки, поглощая курткой, свитером, кожей пряный горьковатый дымок, всегда обычно высовывалась из-за куста почковатая старушечья голова усатая, обильно утыканная родинками и бородавками, в тот самый момент, когда меньше всего ждешь ее появления, именно тогда, когда бордовая родинка солнца уползала по небесному животу к линии отреза, голова злорадно хихикала, сладко перечисляла наказания и кары, по спинам нашим струился холодный пот, и самый смелый из нас прятал коробок за пазуху, в брюки, в носок у щиколотки. Подъезд.

Подъезд.

Мой отец сердился на меня. «Где ты шляешься?» — орал он угрюмо, когда стрелки часов слипались на двенадцати, у него была любовница, и пока она читала, в груди ее варилось молоко. Она была на восьмом месяце, отец заставлял меня садиться за уроки, водить глазами по разрисованным страницам учебника, по вычерченным на полях квадратам и заштрихованным кругам, разглядывать синее сердце с синей оперенной стрелой, синие капли крови, тщательно замазанную черным голую бабу со всей причитающейся ей атрибутикой, отец раздражался, что в моей комнате долго горел свет, он звонил из коридора любовнице, которая все время, по его словам, о чем-то там забывала («Ты что, забыла?!» — кричал он надрывно), в этом полусне разглаживались последние складки вызубренного (недозубренного) к уроку текста, дышащего теплой плотью — пишешь ли, читаешь ли — с капельками пота в темных складках, с некоторым неистребимым запахом уксуса, черными узкими коридорами строк (когда от напряжения дрожит не рука, но строчка). Моя Первая Любовь Вороной, когда он, лежа на боку, уплывает, выбросив вперед руку с неподвижной, словно восковой кистью, по тихому черному течению ночи.

Лестница.

Солнце вперемишку с табачным дымом, утро с запахом укропа, паштета, клеенки в дынях, арбузах, гроздьях винограда, сосновые иголки в варенье из полупрозрачных ломтиков яблок в густом золотистом сиропе, сосны расправляют тяжелые ветки (Если тебе так скучно здесь, можешь ехать!), в кофе с густой пузыристой молочной пенкой (Завтра придут мальчишки), Белый в яблоках спускается по молочной протоке, просит улыбнуться ему, любитесь облаком, беззвучно шевелит губами, спускается по молочной протоке к устью реки, вяло, неловко ударяет ногой по белому в черных ромбах мячу, когда они, трое, играют в футбол на траве перед домом, мяч вращается на месте, Белый в яблоках ударяет пальцы, вытирает мягкой ладошкой потный лоб, Вороной закусывает алую губу, Гнедой сплевывает на траву, «Козел!» — рычит он в бешенстве, Белый в яблоках краснеет, ты, по обыкновению стиснув зубы, приносишь три запотевшие бутылочки минералки, им — не мне, даже не глядя в мою сторону, в сторону полосатого, прогнувшегося под тяжестью моего тела шезлонга в чудесной ажурной тени (Ты млеешь от одной мысли о том, что вечером они, робко вобрав голову в плечи, на цыпочках, гуськом, потянутся в твою комнату в надежде на красивые истории с грустным концом.) Вороной поскользнулся, у него не хватило реакции, чтобы поймать мяч, он поскользнулся и потянул себе ногу, он сидит на траве, и словно мальчик, внимающий занозу в темно-зеленой тени... Гнедой недоволен, Белый в яблоках грустен, Вороной — зол.

Дверь. Звонок. Шаги.

Мой отец действительно сердился на меня. Он был неряшлив. Его раздражала ровность складок, отглаженность кухонных занавесок и полотенец, его раздражала мягкость и ухоженность кожи на моих руках (Мир сойдет с ума, пока ты будешь раскраивать рубашку за рубашкой! — говорил он), он любил ходить босиком по дощатому полу, он ненавидел, когда у меня допоздна засиживались гости, это и понятно, чужой в доме — лишнее напряжение, он входил в мою комнату без стука, визгливо вопил: «Я ложусь спать, мы ложимся спать, и если можно, когда будете уходить, прикрывайте за собой дверь тихо!», когда он раздражался, он говорил мне: «В тебе нет ничего настоящего, ты как куколка с синтетическими ресницами», его любовница родила ему мальчика, и он счастливо брал его на руки, когда тот, обкакавшись, начинал надрывно пищать. «У него тепленькие штанишки», — сладко говорил папа, ему папа, мне отец. «Ты напоминаешь манекена, демонстрирующего дорогие рубашки, изображаешь процветающего фирмача, а на самом деле — дешевка, нанятая за три монетки в час!»

Передняя.

Мы тогда уже были вчетвером, Вороной, Гнедой, Белый в яблоках и я, мы вместе плавали по четвергам и субботам, мы отыскивали в районе захудалый бассейншко, где вместе с нами обнажались в раздевалке свои серые спины подростки с повернутыми внутрь глазами, от них пахло крутым яйцом либо дешевой с обильным чесночным запахом котлетинкой, от них всегда пахло пищей, бесконечным вермишелевым супчиком, они плавали плохо, в рот им все время попадала вода, они кашляли, тренер с рыболовецким сачком грубо окрикивал их, детишки мерзли в бассейне, вылезали, покрытые гусиной кожей, с синими губами, мы вчетвером плавали на одной дорожке, Белый в яблоках тоже мерз, шурился от хлорки, чихал, задыхался от аллергии, Гнедой размашисто плыл кролем, обдавая барахтавшихся ребятшек беспардонными брызгами, Вороной нырял, проскальзывал под водой, как переливающаяся в солнечном свете блесна, потом он плавно выходил на поверхность, волосы его послушно ложились назад, обнажая мраморный безукоризненный лоб, потом мальчишки терли друг другу спины в клубах розово-желтого пара душевой, от грубых мочалок горели спины, капли бежали по позвоночнику, свисали с мочек, с кончика носа, Вороной слизывал капли, глотал воду, и мне приходилось закрывать глаза, чтобы не закружилась голова от пьянящего мерцания золотой, висящей на шее у Вороного рыбки, которую он осторожно придерживал двумя пальцами, чтобы сильная струя воды не дай Бог не сорвала ее с цепочки и не унесла с грязным мыльным потоком в круглое зарешеченное отверстие посредине скользкого плиточного пола.

Кухня.

Когда узнаешь о жизни из газет — это. Когда смотришь телевизор до одури, воспринимая ведущих телепрограмм, как родственников, — это. Когда обсуждаешь газетные статьи и телепередачи с домашними — тоже это. Когда обращаешь темпераментные советы к плоским лицам — тоже это. Чувствуешь привязанность к тонкой брошюре с синей обложкой, пытаешься бережно разглядеть края, мама приходит два раза в неделю, когда никого нет дома, разговаривает тихим голосом, слушает меня, глядя поверх моей головы пустыми глазами, Вороной сидит напротив, его обидела некто Она, тонкая блондинка с тонкой кожей и тонкой переносицей, она поехала с ним в зимний дом отдыха, ее рвало по утру, он понял это только под конец, за завтраком она набрасывалась на соленькое, ему она так и не дала

поцеловать себя, она смотрела на него с равнодушием, ей было плохо, она спала после обеда, ее мутило, когда они гуляли вечером по аллее и он шептал ей на ухо нежности, потом, уже в городе, он как-то пригласил ее к себе, хотел натравить на нее свою овчарку, но она закармила ее шоколадом, который был подан к кофе. Вороной почти что плакал, от него пахло грязными носками, он был зол на себя и обижен, он не предложил чаю, он ушел в комнату и упал лицом вниз на постель, просто, наверное, умер, выбросив вперед грязные пятки (коридор, передняя, дверь), на лестнице за одной из дверей скулила собака, моя мама не любила меня, и когда мы встретились с тобой, мне показалось тогда, что ты...

Моя мама не любила меня. «Учти, горячее», — говорила она холодно, ставя передо мной чашку горячего чая или бульона, она всегда спешила и всегда была раздражена, как и всякий спешащий, когда его задерживают. Они ссорились с отцом за закрытыми дверями в полной тишине, было только иногда слышно, как мама сморкается, они выходили из комнаты поздно ночью с черными лицами, и, когда они расстались, мама потом долго не заходила к нам. «Ей нужно время, чтобы все обдумать, — повторял отец, — чтобы все обдумать, ей нужно время», и это продолжалось до тех пор, пока у меня на стене не завелась ее фотография, а у отца — любовница, еще когда мы с тобой еще почти не были знакомы, когда между нами еще не существовало города и мы не блуждали по его зыбким от пыли улицам в поисках друг друга, случайного перекуса, в ожидании чашки чая вперемежку со взглядами и словами, так вот уже тогда ты вроде стала объяснять мне, что все это из-за мамы, из-за ее взглядов поверх моей головы. «Я полечу тебя», — говорила ты и гладила, гладила меня по голове, и мне казалось, что уже, да уже, пожалуй, и не понадобится больше никакая охота, ни стрела, ни выстрел, ни загнанный зверь, ни визгливая разборка собак. Для меня — туманно, для тебя — просто, ясно, жестко. Пусть так...

Белый в яблоках просит меня помолчать (солнце, как яблоко, упало в небо, с неба укатилось за горизонт), за стеной похрапывает его глухая бабушка, но он говорит, что мой голос слишком громок и может разбудить ее, ему просто надоело меня слушать, он сыто смеется, вслух читает ползущие по экрану розовые титры, переиначивая фамилии, он вальяжно шутит, подмигивает, он свободен теперь

и красиво одет, от него пахнет дорогим одеколоном (коридор, прихожая, дверь), он обещал забежать на днях, но когда именно, не знает: занят, за дверьми — музыка, запахи разливаются по лестничной клетке, во дворе — мотоциклы, велосипеды, щенок овчарки, с трудом справляясь с мотающимся во все стороны задом, почти что кубарем несется за обгрызенной облюбованной своей палкой, «наконец-то и я», «наконец-то и я» висело в комнате, металось по потолку, он просто, наверное, умер, спустился по молочной протоке к устью реки, его вынесло в море, его ласкают теплые волны, его не пугают акулы и киты, он любит раковинами, и на замечательных плоских золотых застёжках его «дипломата» не остается следов от его теплых пальцев.

Наш первый с тобой щавелевый суп, зелень, половинка крутого яйца. Плотный сгусток сметаны. Пепел ровными трубочками ложится в чистую пепельницу. Ты ласково повторяешь мне «ты», «ты», «ты», каждую фразу начинаешь с «ты». Гнедой заскочил на полчаса с очаровательным белокурый существом, послушно краснеющим от небрежно брошенного Гнедым «ничего нет прекраснее свежей царпины», он завалил всю прихожую комами грязи, вывалившимися из его рифленых подметок, он сидел в моей позе и нагло смотрел, поедая глазами своего белокурого ангела, он развязно хлопнул меня по плечу, когда мы прощались, поднеся практически вплотную к моим глазам свой грязный манжет, громко захохотал, бросил, прикурив, спичку на пол. «Я благодарен тебе», — выкашлял он, тая в лучах обращенного на него обожающего взгляда, стол, стул, окно, занавеска, на колеблющемся полупрозрачном полотне две дамы тихо беседуют, грациозно раскинув свои прозрачные ограниченные черным контуром воздушные тела в легких креслах на фоне воздушного черного контура дерева, комната наполняется шепотом: изнасиловал — убей, как бы ни была глуха змея, ты подходишь ко мне — отойди! От меня пахнет кровью, чтобы время проходило быстрее, его нужно наполнить музыкой, в моей конюшне есть место для белой лошади, мы встретимся вечером после захода солнца, искупаемся в теплой реке, это место пустует — дверца скрипит — пусто, солнце догорает в небе — закат, воспаленная линия края, черты, царпина, отделяющая воздух от тверди, воду от воздуха, воздух от горизонта.

апрель 1991

ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА

в любой вуз или техникум!

Студия ПК "Микар" предлагает
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
уменьшенного формата

составленные преподавателями ведущих гуманитарных, медицинских и технических вузов по следующим дисциплинам:

математика (теория, типовые задачи), физика (теория, типовые задачи), русский язык и русская литература (ответы на билеты устного экзамена), 60 сочинений, химия (теория, типовые задачи), биология (теория, контрольные вопросы), география, история, английский язык, А ТАКЖЕ поблики:

химия (задачи повышенной сложности), биология (задачи по генетике, селекции).

Стоимость одного комплекта - 80 руб.

Деньги перечисляйте по адресу: 117605, Москва, Ленинский проспект, 90/2, коммерческий банк "Мега", р/с 461062, студия "Микар".

Заявку, квитанцию почтового перевода или ее нотариально заверенную копию направляйте по адресу: 127635 Москва, а/я 3, студия "Микар". В заявке укажите интересующие Вас комплекты, свой адрес и телефон. Учебные пособия мы вышлем Вам заказным отправлением в течение недели после получения вашей квитанции.

Контактный тел.: (095) 905-22-30

Самый широкий выбор

ОТ ДО

Как, Вы не знаете, что такое объединение "МММ"?! Тогда только для Вас:

"МММ" - крупнейший поставщик товаров народного потребления и оргтехники. Сегодня рубль, увы, не деньги, а вот вещи - та же валюта.

Владелец компьютера знает, что он владеет компьютером.

Владелец денег не знает, владеет ли он чем-нибудь.

Инфляция страшна рублю, холодильник не боится инфляции.

У "МММ" нет проблем!

"МММ" предлагает импортные товары: одежду, обувь, холодильники, пылесосы, СВЧ-печи, радио- и телеаппаратуру, оргтехнику - словом все - от кофемолки до мини-трактора.

Организациям и частным лицам при покупке товаров создаем оптимальные условия: расчет в рублях, без предоплаты, поставки в любом количестве с приложением инструкции на русском языке.



Наш адрес: 109518 Москва, ул. Газгольдерная, 10
Телефоны: /095/ 171 13 81; 171 03 97; 173 44 15; 171 06 90



Юрий
КУБЛАНОВСКИЙ

ПОЭЗИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЖИВАНИЯ

Наша пора, судя по капитальности суливых Провидением перемен, смело сопоставима с самыми кульминационными и судьбоносными болевыми точками отечественной истории... Но если февральско-октябрьская катастрофа и последовавшая за ней гражданская бойня — черная дыра, куда с грохотом провалилась вдруг наша поступательно и мощно развивавшаяся Россия, а все последующие десятилетия — суть агония, то ныне, похоже, исторический вектор направлен уже не в пропасть, а — к выживанию.

Тем не менее поэзия вновь на пороге принципиально новых условий существования: меняется, увы, само место стиха в душе человека. Мы привыкли, что стих — целитель и друг; ныне ищущий себя в принципиально новых социальных параметрах человек чаще выбирает иных лекарей, иную поддержку... Уходит завороченность, уходит учительство, теперь поэзия — просто «род деятельности», необязательный, неприбыльный, и, в новых условиях, порою нелепый.

На это можно было бы не обращать внимания: периоды охлаждения к поэзии традиционно цикличны — вспомним сетования Евгения Баратынского (стихотворение «Последний поэт», 1835 г.), дискредитацию изящной словесности шестидесятиниками-нигилистами и т. п.

Но сдается, нынешний кризис глубже: вся модель нынешней потребительской цивилизации и масскультуры антагонистична поэзии, ее имманентному... аристократизму; мы видим иссякание лирики в развитых странах Запада, не ждем ли и нас такое же оскудение?

«Голый человек на голой земле» — эта емкая экзистенциальная формула отлично определяет положение современного стихотворца. С него больше никто ничего не спрашивает, соответственно, и он бессилен кому-либо навязать себя.

Но ежели мы все-таки верим в промыслительную неслучайность исторического мирового процесса, и культурного в том числе, то, быть может, русскому поэту такое состояние на пользу. Ни общественное служение, ни социальный заказ, ни капризный читатель, ни корысть — эти постоянные стимуляторы лихорадочной литературной деятельности — больше не вымогают у нас поэзию. Мы остались с ней один на один, у нас лучшие теперь возможности прислушаться к ее «ребяческому сну» (Баратынский), к строю, току, зарождению лирического потока. Само воображение наше, предшествующее в своем оживлении возникновению текста, может стать ныне не ангажированным, свободным.

...В конце концов будущая культура выздоровевшей новой России закладывается в наши дни. Так не откажем себе в надежде, что не актуальная ныне поэтическая речь, исподволь насыщенная духовным потенциалом и словесною красотой — вновь станет энергично спонсировать укрепление и просветление душ чаемых благодарных читателей.

Бег

(с феодосийского пляжа)

1
Моря Черного йод — жжет.
Шелестящая галька спит.
Словно кто-то меня зовет,
не пойму, чего говорит.
Юность в праздности и гульбе.
А теперь летаргия, сон.
И когда подойдут к тебе
пограничники — ты шпион.
Поднимись не спеша. Бей
одного между глаз. Другой
побежит собирать людей.
Константинополь твой.

2
Карадаг пересох, истлел,
он рассыпчат, что черствый торт.
Улетает, куда цел,
в феодосийский форт
белый ветер — летучий спрут.
Слышишь крики и вой вдаль?
То грузится российский люд
на последние корабли.

...Как не вырезали кусок,
непонятно, у нас в кино,
где Высоцкий палит в высок
и со свистом летит на дно?

3
Ия, прежде его жена,
рвет жабо и кричит на всех:
умоляет поднять со дна,
поднимает мужчин на смех.
Но корабль раздирает рев,
начинают стучать винты.
Только чайка, почуя клев,
с высоты
сталью падает и — опять
машет крыльями... Правда, жаль?
Да и будет кого клевать
из бегущих от красных вдаль.

4
Войско белое, как сырец.
Врангель звал, да солдат устал.
...«Знаешь, мама, твоих колец,
как на солнце, слепящ металл!
Я любил твои руки... где...»
У Совдепа надежный сыск.
В черноморской густой воде,
если вынырнешь, столько искр!
Так и слышится сходен скрип
и приказ «оставляйте скарб».
Ниже
алчные игры рыб
и похожий на орден краб.

5
Что хрипишь, вороной скакун?
Понимаю, красна вода.
Есть немало в Крыму лагуны,
хочешь жить, так скачи туда
сквозь тенета, нудин цвет
и молочные облака.
Потому как лежит корнет
в солнцепек на дворе Чека.
Если прежде и снился сон:
тьма в саду... за роялем мать...
— то теперь оборвался он.
Разве можно так долго спать?

6
...Где давился честной народ,
покидая отчизну-мать,
потому как двадцатый год,
человеку пора дичать,
— там теперь тишина; день
начинается в шесть утра.
А в одиннадцать надо в тень.
Оседая, шуршит гора.
Все же высится, как Сион.
И локатор венец — чу!
Потому как погравзаслон.
Как стемнеет, бежать хочу.

1978

Памяти родины

У заветных божниц
дует ветер с границ
и морских, и степных, и таежных.
Разом холоден он
и горяч испокон,
родич свеч миротворно тревожных.

Византийский орел
домовину обрел
в средостенье чухонской столицы.
От морозных борозд
да петропольских звезд
зелено оперенье парицы.

Чем беззвучнее наш
полуплач-полумарш,
заглушенный гудками с вокзала

и последним прости,
тем обильней цвести
на погостах черемуха стала.

У покоев уют
капитанских кают
отнимает хлыстовская дуля.
И симбирский шакал.
И уральский подвал.
И свинцовая легкая пуля.

1981, 1991

Saravande

I
Георга Генделя музыка роковая,
как наступательная поступь звуковая,
как смерть под барабан.
И солнце снуло, и ветер взывший
сдувает с зеркала снежок, запорошивший
поверхность стран.
Необратимая, позолотила
руно ты париков
на гладких черепах, скользящих, как перила,
тобой толкаемых — а впереди могила —
танцоров-стариков.
То рассыпается, то стаею кружится
над чащей воронье.
Пред тем как лечь костями, должны вооружиться
музыкой дробною мы, воодушевиться
накатами ее.

Шеренгой юноши, на выданье девицы,
чья грудки жалкие атласный вспенил лиф,
с полярным космосом сравнимые куницы,
фламинго сонные, подвижницы-синицы
и попугай-халиф
— из упомянутых кому не страшно
тут на земле
пред рукопашной
с музыкой важной
в предвьюжной мгле?

Давно закопанным — и то там слышно
то топ ударных, то — завывы духовых.
Припомнить выпало, а позабыть не вышло
жемчуг и вишню
румян твоих.

II
Волной воздушною, атакой лобовую
и барабанною музыкой боевою
из гнезд взметнуло нас
скользить по воздуху... И после снегопада
искусный механизм архангельского сада
функционирует невидимо для глаз.

Такая тишина, что белка на тропинке,
пушистый хвост прижав к такой же пышной спинке,
с гримаской заждалась.
Иерихонские еще не взвыли трубы,
еще не сплюснуты их мундштуками губы,
улитки медные, они в чехлах сейчас.

На крупных лацканах и клапане кармана
эдемской флоры расшитого кафтана
акант парчовый стар.
Мне кажется — я не вчера родился,
к тебе приблизился — и перевоплотился
в морозный пар.

Угль в крепостном аду — скрипичной канифоли
янтарные куски.
Служенье сладостно, а не избыток воли.
Свободолюбцы-то и запороли
и сжали кулаки...
Кто слышит музыку не там, где врут крамольно
истцы в поту,
с того довольно
в минуту ту.

III

Еще в Останкино не зажигали свечи,
но окна-зеркала блестели, ибо вечер
от середины дня.

Расцехлена труба гобоя голубая,
и барабанная музыка гробовая
приветствует меня.

Приковывал медведь на снежную поляну,
не он ли на ухо и наступил тем спяну,
кто иерархию раскатывает вширь?
Окситесь, гаврики! Не рубит же румяный
свой сук снегирь.

Найдется ль дирижер, который вас остудит?
По снегу в тувельках попрыгает — и будет
в батистовый платок высмаркивать катар.
...Мне кажется — ты не вчера родилась,
ко мне приблизилась — и перевоплотилась
в морозный пар.

Пока не поздно
насуплюсь грозно,
но как смятенному не уступить смычку,
когда морозно,
аккомпанировать товарищу сверчку?

Музыки рыцари — мы те же полиглоты,
что и покойники... И нет иной заботы
у нас давно,
как видеть небеса в плафонной дымке сладкой.
А под лопаткой
дощато дно.

В пенатах прибранных хозяйничают лары.
Как трудно и в версте от дома после кары
узнать своих.

И треуголками, надвинутыми на лоб,
мы защищаемся от вьюги свистящих жалоб,
ударных грохота и взыва духовых.

31 декабря 1986

☆☆☆

Житуха, жизнь в ее единственном
числе, не емлющем дробей,
не умножаемом, таинственном,
подобно родине моей,
заросшей по глаза крапивою,
гонимой за окоём,
погостной бузиной ретивою,
боярышником и репьем.

Почувствовав ожесточение
отроческое по весне,
чье заподвешное значение
всего отчетливей во сне,
железо на морозе липкое,
бывало, тронешь языком...
Начнешь могилой, кончишь зыбкою
за зазеркалевым окном

— чтоб наобум в альпийской замети
передвигаться чуть не виллави,
преображая жадно в памяти
утраченную напрочь явь,
догосудареву, былинную,
благовестившую окрест,
где ныне — лишь волну чужбинную
глушила воинская ест.

1984

Вряд ли нужно представлять поэта Кублановского читателям, любителям поэзии, вообще людям культурного менталитета — за последние годы он прочно вошел в число одних из лучших поэтов современности, — увы, пока еще поделенного на русское зарубежье и наше, так сказать, отечественное. Его литературное дарование отмечено несколькими престижными премиями, он поэт по всем компонентам — и милостью Божией, и поистине античной судьбы, когда «из шести городов изгоняли Гомера, а потом шесть городов спорили за право называться его именем»... К чему все это я? — спросите вы. Сейчас, когда на дворе совсем иная пора и все, кто хотел, — вернулся, кто не захотел, не вернулся, а кто того желает — живет и там, и здесь; всем возвращено гражданство, хотя без особенных извинений... Стоп. Вот здесь моя пишущая машинка начинает заикаться, клацать зубами. Всем ли? Всем ли, кого изгоняли?

— Юра, ты откуда звонишь?

— Да вот из российского «Белого дома»...

Оказываясь, Юрию Кублановскому до сих пор еще не возвращено гражданство, отнятое у него почти десять лет назад при выдворении его с территории Третьего Рима...

— Юра, чтобы напомнить тем, кто забыл, и дать информацию тем, кто не знал, вкратце, как случилось, что ты стал поэтом русского зарубежья?

— На мушку госбезопасности я попал лет в 17 — на первом курсе искусствоведческого отделения МГУ, году в 64-м. Ведь в ту пору криминалом считалось все, самиздат, например. А самиздат тогдашний — это входящие в культурный оборот Ахматова и Мандельштам, Ходасевич и Клюев... Кроме того, энергичное участие в нашумевшем тогда поэтическом содружестве СМОГ (Смелость, Мысль, Образ, Глубина) тоже не прошло даром. В университетской группе были, разумеется, свои стукачи (кстати, сейчас достигшие в нашем обществе весьма высокого положения), они стучали, а нас — смогистов — таскали; еще не на Лубянку, а к ректору в кабинет, где по-хозяйски располагались курирующие университет гебисты...

Первый серьезный вызов, уже в приемную ГБ на Кузнецком, — в 76-м году: в связи с публикацией за границей моего открытого письма на духлетие высылки Солженицына. Страшались дурдомом, но тогда и прозвучало впервые: «Может быть, Юрий Михайлович, вам лучше уехать?» И впрямь, в те же месяцы вдруг получил я из Израиля вызов и очень этому удивился.

В конце 70-х понял, что не могу уже второе десятилетие писать стихи в стол, не видя типографского отчуждения творческого продукта. Воспользовавшись диссидентскими связями, стал передавать стихи за рубеж, встречаясь с иностранными корреспондентами конспиративно — по вечерам, в подъездах и подворотнях, словно дело шло о военной тайне. Стихи появились за рубежом, в 81-м в американском издательстве «Ардис» вышло «Избранное», составленное Бродским и включившее резкие антибрежневские и антиленинские стихи.

19 января 82-го нагрянули с обыском, протыкали подушки, простукивали стены и проч., пока в кухонном шкафчике в коробке из-под геркулеса не нашли

три авторских экземпляра «Избранного», заодно прихватили и переписку. Обнаружили и залежалый израильский вызов. В это время, и до обыска, и позже, меня уже не раз дергали на Лубянку, а уж там времени не жалели, часами тянули душу: служба у них такая — в каждом видеть потенциального осведомителя... В конце концов, наигравшись со мной, как с мышью, пригрозили семилетним лагерным сроком или немедленно выехать по этому вызову.

Так за месяц до брежневской смерти — которую уж и ждать устал — я оказался в Париже.

— А когда ты стал всерьез думать о возвращении?

— Специфика моего отъезда позволяла мне чувствовать себя не эмигрантом — изгнанником. Я с первого дня эмиграции не сомневался, предвидел — еще в одном из стихотворений 1985 года — что «в землю русскую еще вернусь потом». Изю дня в день жил в двух измерениях: подневольном отечестве и свободной Европе разом...

Ну а когда ход истории убыстрился, когда стали меня широко печатать на родине, где уже не ждал лагерный барак, я понял, что, безусловно, пришла пора одной жизни со своим языком и со своими читателями. Написал письмо Горбачеву: изложил свои обстоятельства и попросил о гражданстве.

И тут начался абсурд. То есть с моей точки зрения — абсурд, а для наших чиновников, решающих «кто есть кто», все логично. По их представлениям, я выехал добровольно в Израиль и как рядовой «экономический» эмигрант — Иванов, Петров, Рабинович — должен хлопотать о возвращении гражданства в советском консульстве по месту жительства.

Так ответили из Верховного Совета СССР; ответил некий господин Г. Г. Черемных, заведующий отделом, Евгению Евтушенко, который вместе с Карякиным, Адамовичем и Залыгиным написал Горбачеву новое обращение о возвращении мне гражданства, после того, как мое «прошение» увязло.

...Но для меня, русского поэта, вытесненного с родины, унижительно быть просителем в совконсульстве за границей: жить на родной земле — естественное мое право! Для меня это вопрос духовный, моральный, психологический... В нашей стране, как известно, к поэтам относились всегда убойно, неужели и теперь новая власть в посткоммунистическую эпоху будет делать вид, «что ничего особенного не происходит», что я рядовой «экономический» эмигрант?

Я не жду и не хочу никаких благодетей от государства; в суровую пору, когда столько людей уходит на запад, я принял решение жить на родине. Но обивать пороги советского консульства в Париже, по моим представлениям, унижительно не для меня одного, но и для отечественной словесности в целом, которая, быть может, переживает сейчас времена не менее трудные, чем при тоталитаризме. Добываясь возвращения гражданства без всяких «предварительных условий», я отстаиваю и ее честь тоже...

2 декабря 1991 года

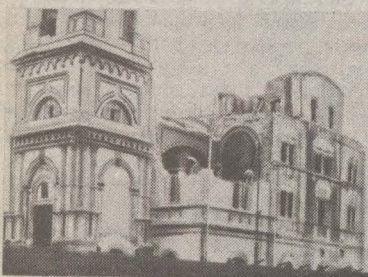
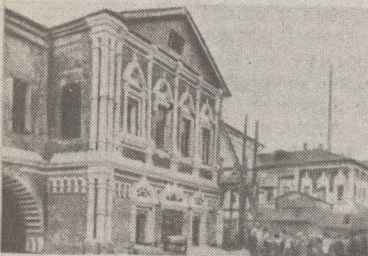
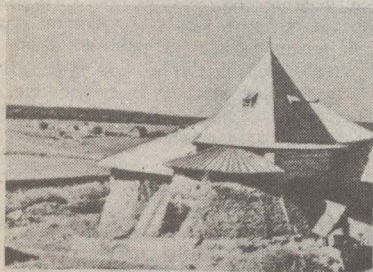
Дата разговора с Юрием Кублановским, как видит читатель, 2 декабря 1991 года. Сейчас, когда вы держите в руках «Юность» № 2, за окнами февраль 92-го... Информация может устареть в быстро меняющемся мире: где-то что-то отщелкнется там, наверху, и поэту Юрию Кублановскому вернут гражданство. А вдруг не отщелкнется? Что тогда? Сколько унижений придется еще испытать, добываясь того, что должно быть отдано как долг чести? А может быть, ее и нет, этой чести, у государственных мужей уже нынешнего набора?

Александр ТКАЧЕНКО



Альбом. Лист 8. АПОКРИФ О КАМНЕ

К 100-летию одного человека



На верхнем снимке: Петр Дмитриевич Барановский у своего дома в Новодевичьем монастыре. Здесь был бы уместен музей.

На других снимках — памятники, исследованные или отреставрированные Барановским, но впоследствии погибшие:

Руины трапезной церкви взорванного немецкими войсками Болдина монастыря под Дорогобужем, на родине Барановского.

Палаты В. Голицына — памятник, открытый Барановским в «малоценной» застройке Охотного Ряда и снесенный в связи с «реконструкцией» последнего.

Церковь Параскевы Пятницы в Охотном Ряду, составлявшая ансамбль с Голицынскими палатами и с ними же уничтоженная. Картина разборки — перед вами.

Казанский собор на Красной площади запечатлен также в дни сноса — и в том виде, какой был придан ему реставрацией Барановского.

Первый раз его хоронили молодым — слух о смерти прошел по довоенной Москве, когда его, живого, упавшего где-то на севере с церкви, вез домой архитектор Иванов (они были вдвоем в экспедиции, Владимир Иванов рассказывал мне подробности, я же, дурак, не записывал). И значит — жить ему предстояло долго. И он пожил. Будто только что я с панихиды (первой в моей жизни, настолько, что пришел без цветов), — а вот уже сто лет ему... Ждали траурный автобус с отпевания, искусствовед Клименко говорил: «Ушел не человек — мера саженная», и эта профессиональная метафора «запала»...

В зале никто не смог сказать главного, кроме Моцарта. Лучше было молчать. Молчал архитектор Журин, ученик его, так похожий на старые фотографии учителя, — огромный, жилистый, седой, борода, очки, старый портфель... Молчал слова о Сопротивлении, о праведности, о титанизме, может быть...

Для меня, звавшего Остоженку Остоженкой до перестройки и вне связи с ней, покойный был свят. Еще Сахаров был нашим общим «пятном» и «позором», а тот — свят. Сейчас они рядом — там, — а здесь их разводят по «партиям». И когда писали, что в Синоде обсуждают возможность канонизации (писали!), сообщение это, именно канонически сомнительное, было самое правда.

Не может быть биографии его, если не считать сов. анкет, переписанных мною в его неразобранном архиве, в башне Донского монастыря. (Там тома — фиксации сотен погибших и сохранившихся; проекты реставрации, осуществленные и нет, десятков стоящих и погибших памятников Великороссии и Украины, Кавказа и Крыма...) Но есть жития его, есть и житийные авторы. Я не ступлю на их территорию. Я просто вспоминаю, как, не зная, где он жил, и гуляя в Новодевичьем, нашел под колокольной лучшей в городе звона дом с мезонином, а на двери — бумажку, уже полусорванную: «К Барановскому».

Нет, я пытался что-то писать. Я хотел поместить вас, Петр Дмитриевич, в журнальные раскопки, а вы уходили от меня в предание. Там, что ни напиши из слышанного о вас, — правдой будет всё.

И как вы отписывали Сталину и отчитывали Кагановича, и как не сняли подпись в защиту Сухаревой башни, и как запирались в Охотнорядской Параскеве Пятнице, и как — в Успеньи на Покровке, и как — в Василии Блаженном, или не запирались в нем, а строили баррикаду с Померанцевым на Красной площади (33-й год!), или не строили, а держали голодовку в тюрьме, и как попали в Соловки, где спроектировали нынешнюю их реставрацию, и как приезжали тайно в Москву со сто первого километра — обмерять Казанский собор, разбираемый тем часом с другого фасада, и как записывались на пленку со словами о внутреннем фашизме, а статей не писали — жизнь не транжирили, и как благословлял ваши борения письмами Рерих, и как, уже потеряв зрение, видели храмы пальцами или против солнца, и как, не выходя из дома, — лосевская слепота! — «отбили» Английское подворье, открытое вами же в барачном строении, как нашли в другом строении дворец Голицына, а в третьем — Крутицкий дворец, как нашли могилу Рублева, потерянную после вас сызнова, как, словно невидимой стеной, а ведь — силовым полем духа единого, остановили новостройки на подступах Коломенского, и как в Коломенское же свозили первый заповедник деревянной старины, а в Донской — последние останки каменной, и как затевали в сносимом уже Симоновском монастыре музей фортификации, словно нападаясь отбиться кипящей смолой, и как вас раздавило — не раздавило белокаменным блоком, не помню где, и как складывали елочкой кирпичные штабели, накидывая с нескольких метров поштучно, и как боялся вас — «Старика» — Гришин... И как создали, девяносто двумя годами такой жизни, русскую научную реставрацию, все эти «наращивания кирпичных хвостов». И как я люблю вашу память.

И как это хорошо, что ваш камень, в Донском, — где-то между чтимым Ключевским и забытым, без надписи, философом Сергеем Трубецким. На этом камне...

«Ты — Петр, и на этом камне...»

Рустам РАХМАТУЛЛИН

Юрий БЕЛИКОВ

ЗАСТУП



На снимке: Леонард Постников

Фото Владислава БОРОЗДИНА

Есть зеркальная русская метафизика, по которой все в Отечестве нашем бутылкой кончается, равно как и начинается тоже с нее. Во всяком случае, то, на что замахнулся Леонард Постников, закрытилось именно с родимой. Отъехали они с другом малость от города. Глядь — посреди мохнатого леса деревенька Мохнудино. Расположились на весеннем припеке, выпили. Обернулся Леонард и обомлел: часовенка стоит. Как женщина, давно знакомая, а распознанная лишь сейчас. «Красивая, — заволновался друг. — Давай увезем». «Давай», — согласился Леонард. Подхватил часовенку и понес на руках сквозь сукожно-транспарантный Чусовой в свое Леонардово государство. Чтобы годиков эдак через пять безымянный горемыка, выпнутый из поезда за безбилетный проезд посреди ночных засугробленных очертаний церковных башенок и позабытых подворий, ступил с опаской за незапертую дверь дома, утопающего в складках купеческой резьбы, и в священном трепете заблажил: «Где я?!»

Век на век наскокил, сибились, точнее, несколько столетий: тут тебе тележное колесо и автопокрышка, фристайл и колокольный звон, сабли эпохи Кучума и соревнования на приз Ермака, суперподъемник и кузня, раздувающая огонь кожаными мехами, а над входом в резиденцию (или каменные палаты?) — слова Чарли Чаплина о гениальности каждого ребенка. Там — Чусовой с рыжим колтуном сексуально

активного дыма, там — Великая Пермь, препоясанная павлиным поясом Камы, там — Москва, похожая ночью на множество хохочущих золотозубых ртов... Короче, там понятно, где ты: в СССР, или по-теперешнему — совке; а здесь — «Где я?!».

Леонардово государство образовалось на территории бывшего Советского Союза в начале пятидесятых годов у Арипиной горы в чаще смешанного уральского леса. Лес был чащеобразно вырублен, а по границам постепенно окаймлен гулками желобами саночных трасс — словно застывшими молниями. Тем и отделились от гиблого нутра внешнего мира, где колыхалось желе оттепелей, застоев и перестроек. Потому что настырные угланы школы олимпийского резерва, а затем спортивно-культурного центра «Огонек» стали вдруг, минуя темное экономическое пространство лампочек Ильича, вылетать с крутых уральских трамплинов то в Швецию, то в Италию, то в Австрию, то во Францию, то в Штаты, то в ФРГ. Послы Леонардова государства. Последний, Сергей Щуплецов, вернулся с титулом чемпиона мира по фристайлу.

Однако темное экономическое пространство, вкушая от щедрот постниковского посада, терпело его матерекующий суверенитет, будто камень в почках. А посему, как и в далекие Штаты, засылало к Леонарду своих плотников для объемности стука и требовало дани в виде бани с прорубью. Леонард скрежетал зубами и бросал ключи на стол перед секретарями горкома, прибывающими на помывку с заезжими найдами. Иногда, брезгуя, пил с ними, ежели приглашали, но всегда ведал: поздно или рано, а парная дипломатия вывернется партийной терпимостью к его возможным «причудам», в результате которой назойливые секретари превратятся в мальчиков на побегушках. И когда Леонард на излете застоя сделал первый шахматный ход — впечатал, как ладью, в свои школьные владения деревянную часовенку с крестами, кабинетные нехристи только ахнули, но смолчали, ибо были уже на крючке. И в моменты сужения сосудов, сиречь расставаний с истинными ценителями Музея реки Чусовой, что раскинулся вдоль хрипящей речки, Леонарду стоило снять телефонную трубку, и прирученные градоначальники мчались на его клич, аки псы на поводках запаха. Ибо поддержка у Постникова была зримой: целая стена верительных грамот — изумленных автографов в его резиденции — от пола до потолка, от Аввакума—Астафьева до Паниковского—Гердта.

Кстати, сей именной диапазон для какого-нибудь слуха покажется невероятно диким; при нынешней чересполосице коли ты за Русь, то, стало быть, непременно за «Наш современник»; Леонард, конечно же, бывает, по-беловски ворчит, как всякий отечественный отшельник, однако, будто продолжая спор с самим собой, вдруг капризно поджимает губы: «Настоящий-то еврей — это же находка!»

А ненаходок у Леонарда — 666. Однажды он проснулся и не нашел России. Не с того ли раздавил бутылку и как бы прозрел: надо спасать-собирать исподнее — рамы резные со ставнями, станки прядильные, ткацкие, чугуны, сундуки, самовары, ограды церковные, колокола, предания, цвета, запахи, тайну характера русского. Как-то приехал в Успенку, старинное прикамское селение, на дороге, в колясах глубоких, засохших — надгробия мраморные, брошенные кем-то в грязь, чтоб не буксовали колеса. Леонард смахнул слезу, велел в кузов камни с последними адресами людскими погрузить, в музей свой увезти...

Под кручей островок остался. Плюс электрификация уральский Китеж затопила — Городки Нижне-Чусовские. Спросил переселенку:

— Там ведь церква была, кладбище. Кости-то до сих пор вымывает. Родня небось похоронена? Не жалко?

— Время прошло.

— А хотите, чтоб на этом месте памятник стоял?

— Памятник?!

Леонард сговорился с учеником Эрнста Неизвестного, уроженцем Чусового, скульптором Виктором Бокаревым — установить на сиротском островке среди мертвой воды ангела с покаянными крылами. В газетку написал. Пришли письма от бывших жителей — ветеранов: «Не хотим ангела, хотим Ермака!» Хорошо еще, что не танк.

Милые, нищие духом мои земляки! Того же Василия Тимофеевича Аленина, или попросту Ермака («ермак» означает «котел»; вот уж кем назовешься, туда и попадешь), сородича давнего вашего, проторившего путь в Сибирь из Нижне-Чусовских Городков, вы рассекли и бросили в печь в 37-м году, замершего деревянным памятником на своей малой

родине. Долго горела древняя лиственница. Теперь вы взываете к Ермаку из пепелища.

Из того же купольного шара, к коему крепился крест лебединой церкви, вы, по разрушению оной, соорудили самодонный аппарат, а потом пользовали как мазутный бак. Благо сегодня этот аппарат — бак-шар мерцает в запасниках постниковского музея, но, спасенный, он не только знак испуга, а и улика.

Зыбкие, как водяные знаки, к вам возвращаются вытравленные видения прошлого, вы еще отвергаете ангелов, но уже заговариваете о Ермаке. Однако и о нем, великом завоевателе и муже, вы ведете с запинкой речь благодаря тому, что первым в Чусовском крае вспомнил о Ермаке Леонард. Вспомнил задолго до того, как держава наша начала расслаиваться, словно предчувствовал — через летописный пример русского Колумба, — что Россию вновь потребуются собирать: по земельным клочкам, по разорванной памяти. Немногословный Постников прокричал об этом двумя нишами памятника, задуманного и сотворенного по его проекту рядом с мохнущинской часовней: в одной нише — земляца с островка, оставшегося от Нижне-Чусовских Городков, откуда Ермак отчалил свои струги, в другой — привезенная из Тобольска, где произошло самое крупное сражение Ермаковой дружины с ханом Кучумом. Спешкую историю не расчленишь, она не труп, а трап. Пройдите по чусовскому кладбищу: по правую руку Кучумовы, по левую — Ермаковы.

Музей реки Чусовой начинается, как реквием. В пространстве под деревянными навесами чуть покачиваются на цепях окна: рамы с потемневшей от времени резьбой, обвисшими крыльями ставен, застекленные зимним, весенним, летним или осенним воздухом. Мне кажется этот нечаянный ход гениальным: природа сама пишет картины, причем переписывает их (или добавляет штрихи?) ежедневно, ежечасно. Пишет как бы с двух сторон — ты можешь поглядеть из струящихся окон хозяином, лишившимся крова, и бросить на них взгляд путника, ищущего и не находящего пристанища. Ветер движет качели окон, и они жалобно скулят.

Дальше — старинная кузница, которую оценил и даже сковал в ней топорик сам суздальский умелец Вячеслав Басов, разгадавший тайну древнерусского булата; сельская лавка, куда войдешь — и засосет под ложечкой: столько здесь диковинной утвари, какую русский человек и не упомнит, зато цокнет языком — жила же уральская Россия в прошлом веке и в начале нынешнего!

А вот и дсм крестьянина-промысловика с глинобитной печью, колодезным журавлем, пьющим водицу из трехсотлетней колоды, сделанной из полого ствола лиственницы. Подворье этого дома — конюшня, где пошумливает лошадка, сеновал, внизу — сани, кошечки, а внутри дома — глаза разбегутся, не уместая в орбиты раструб граммофона, ребячьей зыбку, горшки, ухваты, самовары, роскошные тулупы овчинные... Я был свидетелем, как очередные экскурсанты с криком «Ой, здесь живут!» обогнули крестьянский дом, — не это ли немудрящая похвала немудейности Музея?

Но до главного мы еще не добрались. Та самая часовня, нахожденная птица, которую подобрал Леонард у проселочной дороги, она и стала средоточием Музея реки Чусовой. Выхоженная руками реставраторов, часовня обрела голос — запереливалась гроздой колоколов на звоннице, а у самого верха, под чешуйчатой луковкой, засинела дымчатой, как глаза у щенков, прорубью эмали — это иконописно-мужичий лик Ермака явил художник пермской диаспоры Павел Шардаков.

Внутри часовня соломенно светится — то ли от теса, то ли от шардаковского иконостаса: пять высоких картин под дугою, будто пятерка норовистых лошадей, впряженных в розвальни, в которых — то Иван Грозный, то Малюта Скуратов, то Кучумово войнство, то сам Ермак Тимофеевич со дружиною. Три пушечки, как три лайки, сторожат иконостас. А по стенам — благородная ржавчина холодного оружия, извлеченного при раскопках Нижне-Чусовских Городков. Переплетенная с музыкой, раскатывается речь Шардакова о строгом строгановском времени, написанная самим художником. А потом — «ревела буря, дождь шумел», и — восхождение на звонницу, и — широко разбегающиеся круги колокольного плача, очищающего пространство и время.

Вы заметили, что имя Постникова подобно имени да Винчи, только более твердое, без удивляющего «о»? Тогда не спрашивайте про источник средств, открывший возможность для «чудачества» директора детской спортивной школы. Ныне в цене предприимчивость, а подвижничество во все

времена — на грани бессребреничества или заступа, как говорят прыгающие в длину. Сколько Леонард совершал заступов во имя того, чтобы люди, пришедшие в Музей реки Чусовой, пусть не припали к родникам духовным, но хотя бы опомнились, ведомо, наверное, лишь ему одному. Теперь, когда «Огонек» получил статус спортивно-культурного центра, многое из сделанного Постниковым обрело ореол оправдания, однако и тогда, и сегодня Леонардово государство живет вопреки существующему вокруг него режиму. Развитой социализм? Годится. Щеголеватая демократия? Тоже годится. Ни тот и ни другая не имеют никакого отношения к смыслу жизни этого человека, потому что его детищу — единственному на всю страну Музею реки — ни копейкой, ни бревнышком не помогли ни предшественники власти, ни их наследники.

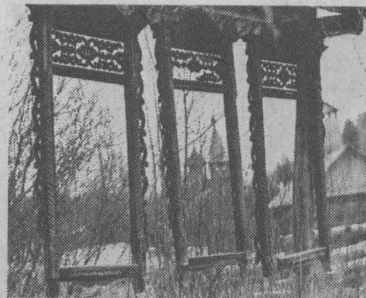
Кто же в помощниках у Леонарда? Разве что шофер Коля Шамов, удачливым медвежонком нападающий на дупла старины, или критик Валентин Курбатов, осеяющий тихим монастырским словом, или астафьевская Мария, прежняя чусовлянка Карякина, присылающая из Красноярска книги для будущей избы-библиотеки, где Леонард замыслил собрать произведения писателей, на чьих судьбах проставил отметины Урал. Грин, Мандельштам, Василий Каменский, Пастернак, Астафьев, Леонид Бородин, Василь Стус, Анатолий Марченко, Лев Тимофеев... Четыре последних связаны с новейшей историей реки Чусовой — с ее почерневшими вышками и прямыми позвоночниками лагерных барачков. Несовместимое совмещается: пусть войдет посетитель Музея реки в карцер с откровеннейшей известкой, где в 1985 году был замучен пермскими полканами лиричнейший украинский поэт Василь Стус, а затем, перешагнув через ржавую поемку колючей проволоки, облегчит душу (не сам ли полкан?) в поставленной рядом церквушке, которую Постников уже превращает в действующую, — он еще полгода назад тайно отплатил «учиться на попа» своего электрика.

У Леонарда нет и не может быть премирников. Он из породы людей, приходящих как бы ниоткуда и оставляющих после себя изваяния космической пустоты: там в сплаве сотворенного — огромная примесь несовершенного. Есть люди — протуберанцы дальнего времени: до нас-то они дотягиваются, а мы до них дотянуться не в силах. Вот почему в том, что пытается создать Леонард, сквозит какая-то обреченность: рассадил, к примеру, пару лет назад кедровник по своим уголкам, нынче зашел в кабинеты — струятся в вазах игольчатые ветви. «Вы что наделали?!» — спрашивает. «Красиво», — отвечает ему.

Иногда он бывает по-донкихотски потешен — прикипляет на стенд объявлений приказ: учредить в спортивно-культурном центре отделение краеведения, поднять его работу на мировой уровень. Но сия потешность — зеркало обычного сознания. Постников дразнит это сознание, провоцирует: рядом с фотографиями мастеров спорта, чемпионов Европы и мира, выросших в Леонардовом государстве, вывешивает портреты Достоевского, Гоголя и Чехова. Или затевает шоковый зачет среди тренерского состава — по истории края и знанию поэзии. Да и сам он, петровского роста, поджарый, сивобородый, с глубокими впадинами в подглазьях, в мятом вельветовом костюме, неизменном вязаном берете, конфискованном у супруги Зои, более похож на художника, выпешдшего из мастерской, чем на бывшего спортсмена.

«Тело еще богатое», — щупает в бане мускулы у Леонарда столичный чиновник от спорта. Леонард морщится, отстраняет от своего предплечья гадливенькую пятерню, по-воровски оценивающую, на сколько лет он еще потянет, и бросается в темную прорубь. Потом долго стоит у освещенного окна в своем жилище, как бы навалившись всем расслабленным телом на готовое брызнуть холодное стекло, одна рука его, как в рукав, заползает в распахнутую форточку, словно Леонард в который раз примеряет законное пространство, где скулят на цепях неприкаянные окна, и вдруг потерянно и необъяснимо-жестко выдыхает: «Жизнь проходит, а я еще никому морду не набил!»

г. Пермь



Юрий ГУСИНСКИЙ

НИСШЕСТВИЕ ЧЛЕНА КПСС В АД

Легенда

Согласно древнему ассиро-шумерскому мифу, богиня Иштар

спускалась в ад, чтобы вызвать своего возлюбленного. Угрюмый Дант явил нам жуткий ад. Он так и умер, не предполагая, что сущность есть у ада и другая — обыденная, серая, простая — и потому страшнее во сто крат. Жестокий Дант ни в чем не виноват, поскольку не дожид до урожая из наших душ, который грозно сжат стальным Серпом и гордо в землю вмят, где, Молотом железным добывая, нам верным быть только им велит.

Я от рождения — член КПСС. По воспитанию, не по убеждению. Не верящий в могущество небес, ни в воскресенье или всепрощенье. Какой и где меня попутал бес? Ищу ответ в начале поколенья. Три демона мне дали направление, три лучших мужика моей деревни, рекомендуя горячо и без особых размышлений и сомнений. Три демона, три славных мужика, три раненных в боях фронтовика, я верил им до умопомрачения. Начало вспоминаю, как туман. Кто вверг меня и мужиков в обман, коль грустно смотрят на меня оттуда, где их могилы обуял бурьян? И кто из трех мне выдохнет: «Иуда»? Начало вспоминаю, как в бреду, то от стыда пред будущим краснея, то в страхе перед будущим бледнея, — я потерял и боле не найду Возлюбленную в юности Идею! Мой друг меня циничней и смелее, он весело бросает на ходу: «Пустыня и глупая затея. Но если ищешь — то ищи в аду!» И ночью мне явился Сатана. Физиономия его едва видна, хотя он наклонился к изголовью и ласково мне изложил условие, с которым примет темная страна, откуда нет возврата ни хрена. Он мне сказал, как миновать семь врат, у каждого что-то страже оставляя, дабы, когда спущусь я в главный ад, где мой вопрос Властители решат, вся суть моя была уже нагая.

ПЕРВЫЕ ВРАТА

я миновал, сняв нагельный крестик

Утро красит нежным светом эти первые ворота, где, пугая всех ворон, два из гипса идиота дуют в пионерский горн. Первый лагерь, первый строй — на линейке смирно стой! А вожатый главный наш шпарит на баяне марш. Мы идем по солнцу строем — майки, рваные штаны, мы орем стране героев: «Делу партии верны!»

Для счастливых голодранцев нету в лагере простоя, каждый вечер учим танцы — до упаду, до отбоя. Кто ж придумал эти муки, чтобы мы слетали руки, изгибаясь в контрадансе? Пыль висит над серым плачем, где босые пионеры мерно ходят в па-де-грасе или в па-де-патинере. Хотя у дамы ноги в цыпках, ноги визави в порезах, мы с торжественной улыбкой выступаем в полонезах. Боже! Польки и мазурки, пытки чистого искусства применяются искусно к тем, кто в ПТУ и в урки подадутся неуклонно, чтобы гаснуть, как окурки, на заводах или в зонах. Это будет впереди, а пока отбоя жди! Мы к вожатому прижались на бревенчатом крыльце, в небе тьма, а в сердце жалость или память об отце. Все вожатый понимает, нас за плечи обнимает, ничего не говорит. А вверх звезда горит, и она пятиконечна и над родиной увечной вечно впаяна в гранит. Под покровом черной тьмы я решил, что выпал случай выпросить о том, что мучит: «Сталин плакает, как мы?» И вожатый, каменея, выдохнул: «Молчи, сынок!» Я замолк, не зная, где я — небо вздрогнуло, бледнея, и своей звездой красной вдруг приблизилось опасно, чтобы — гибельный росток — я понять отныне мог, что един и грозен бог, недоступный и прекрасный, от фуражки до сапог.

ВТОРЫЕ ВРАТА

с лозунгом «Партия велела — комсомол ответил: есть!» я преодолел, расставившись с городской пропиской

Я готов был от гордости плакать и петь, эшелоны встречая на станции пыльной, где в наложницы мне предназначена

степь, вся в кровавых тюльпанах и волнах ковыльных. Но ее нету боле — всюду черное поле! Эшелоны, воля, устремились к нему, добровольцев сгружая в линиях ковбойках, мы плевали на тех, кто остался в привычном дому, чтобы нежиться в койках, нас любила страна, самых дерзких и стойких, и мечтая ее накормить, потому — белый парус палатки вонзали во тьму. Обвинять не спешите, не гоните коня, вы опять в это время верните меня, где буран забивает все стекла трехтонки, где мы с другом не видим ни ночи, ни дня, где на тысячу верст ни жилья, ни огня — словом, в пору послать на себя похоронки.

Я ныряю за трактором в зимний Ишим, я ныряю с лопатой в горящее поле, но опять выхожу из беды невредим и пропащей своею судьбою доволен. Я — курчавый целинник девятнадцати лет, третьи сутки подряд разгружаю шеницу, в перерыве райком мне вручил партбилет, и счастливой меня на сегодня здесь нет!..

Я не знаю, что где-то живет Солженицын. Я не знаю еще, что положено мне в самой чудной и самой свободной стране быть для бочки любой самой верной затычкой и, не зная, что стал лишь песчинкой на дне, или робкой былинкой на мерзлой стерне, или даже соломинкой в общем дерьме, свою руку за все поднимать по привычке.

Обвинять не спешите, не гоните коня, коль возмездие раньше настигло меня, зачеркнув мою славу и гордую силу. Я, вспахав свою степь, ей же вырыл могилу. Пыльный смерч зародился над пашней моей, небо стало землей и обрушилось с гулом, словно шли на меня беспощадные гуны черной тучей своих азиатских коней. Пыльной бурей крутило и било меня, чтобы я не забыл до последнего дня о насилии своем и бессилье, я вцеплялся в траву, словно в гриву коня, только снова вокруг ни жилья, ни огня, только смерчи с земли уносили золотую надежду пишевичных семян, и стоял я, шатаюсь, как будто бы пьян, грешный пахарь России.

ТРЕТЬИ ВРАТА

*приняли меня, когда я отдал старшине
линялую ковбойку*

Мать меня провожала, рыдая в объятьях, словно я уходил на войну навсегда. Мать ушла в мир иной, и пора рассказать ей то, что в письмах не смел говорить никогда. Мать! Меня, словно влажную серую глину, беззаветно и яростно мяти старшины, по подобию лена своему, где уставы вросли, как в бурьян, в матерщину, превращая меня то в скота, то в машину, как я выжил — и сам не пойму. Здесь, дабы не выказывал много ума, мерзлый лом командир вручали мне в руки, я в сортирах долбил сталагмиты дерьма, я пропах высшим смыслом солдатской науки. Но страшнее другое — себя забывая, я не ведал, как в каждую клетку мою незадаром музыка вошла полковая, ненарасно муштровка легла строевая, я — очкарик и, в общем, штафирка сплошная, — ликовал, маршируя в строю. Мать! Мне вбили в башку, что желает держава и сегодня, и в дальнейшем «потом», что сверну я направо, когда грозно прикажут: «Направо!», и вперед не пойду, когда гаркнут: «Кругом!»

Страх и ложь, ложь и страх — на державных штыках.

Мы разрезали сопку под Энском пополам и скрутили дороги в портянки, чтоб над степью вставала она — цвета наших сапог, от мороза и желтого ветра мы клопами забились в землянки, чтобы только сберечь нашу тайну Устав — наш единственный бог. Обживемся потом! А покида увидим, как меркнут созвездья, когда мы по тревоге, пустынному небу на страх, из разрезанной сопки выводим внезапное чадозное возмездие — серебристое чудо в трепещущих грозно крилах. И опять сатанеет над нами от песка и мороза колючее солнце, пламенеет вдоль сопки скрипучей, неминуемый свершая полет. Наши денежки, мать, вбиты в эту проклятую сопку! Кто на долю сиротскую нашу теперь посягнет?

ЧЕТВЕРТЫЕ ВРАТА

я прошел, обменяв пиджак на бутылку водки

Ни матери, ни родины, ни веры! Опоры нет во мне или во мне, с огромным чемоданом из фанеры непризнанным мотаюсь по стране. Простор России надо мной простужен, ветра крутые властвуют трубя. Москву нашел — но я Москве не нужен, семью обрел — но не нашел себя.

Я никому не объявлял войны, но у кремлевской каменной стены я навсегда расстрелян равнодушьем, ни бог, ни черт не спас слепую душу, я стал закону волчьему послушен, где каждый за себя и без вины. Нет, я не стал протягивать

фуражку, дабы собирать монеты на обед, и чудом залетел в многотиражку, а это чудо — красный партбилет. Он много хлебной карточкой служил, но хлебом воздавали по усердию, а в нем преуспевал обычно серый, с локтями или связями, но сердце мне не давало в этой битве сил. Я был для сильных мира своего всего лишь пылью, быдлом или равню, я вяло славил соцсоревнованье, как все, о нем не зная ничего. Я место знал! И только оттого я был кому-то выгоден и ценен. Я роль свою играл — «Шаги за сценой» и «Звон посуды» — боле никого!

Послушный раб родной КПСС, с пустыми, безнадежными очами, я обладал лишь толикой небес да правом на молчанье и мычанье. Ни жалости не надо, ни ухмылки! Не каюсь, что в бутылку я не лез. Не каюсь, что не мог я без бутылки. Очнувшись ранним утром у крыльца чужого или в ямине укромной, я жадно губы обдираю с лица, давно измученного жадной темной. Потом я брел, шатаюсь, до ларька, где чья-то милосердная рука стакан похмельный мне вручала. И все — сначала.

Я снова в пьяный уходил кураж, как будто камикадзе шел в вираж за смертью верной. России нет! Она — сплошной мираж. И правды нет! Иден нет бессмертной! На что способен я? На эпатаж в пивнушке скверной? Пьет вся страна, одной виной больна, в телеэкране, будто бы в тумане, одна и та же шушера видна, друг друга одаряя орденами, от них пьяна сильнее, чем от вина.

Не мне, не мне потягивать абсент. Не КГБ приглядывать за мною, ему я не клиент, не диссидент, я люмпен, пьянь, хотя интеллигент, я руку вверх тяну в любой момент вслед за нашей партией родною. Едини мы! Я — малый элемент того, что называется странною. Душа стонала: «Больше не могу!» Но разум грозно молвил: «Ни гугу!» И небо полыхало стягом красным. И все прекрасно. Все — единогласно.

ПЯТЫЕ ВРАТА

открылись, когда я остался в одних плавках

И надо же! Однажды сдуру и я попал в номенклатуру по недосмотру МГК, дабы хотя бы год недолгий посмотреть из окон черной «Волги» на всех прохожих свысока. Всего-то с осени до лета я был редактором газеты, зато «Спортивная Москва» пайком невиданным кормила, дарила мне иную силу, вручила странные права входить теперь в такие двери, где каждый намертво проверен тяжелой пачкою анкет. Но не огромный кабинет служил мне сластью причащения к верхам стального поколенья, а только финская парная, заветная и потайная, где ни на ком одежды нет.

Распарены тела, а пасти заморской пеною пивной измазаны. Бесстыдство власти трясет не полною мошной, а волосатую мошонкой или откормленной спиной. И некто с мордой поросенка вальяжно говорит со мной, держась за бутерброд с икрой: «Вы нам «Спартак» не обижайте, мы здесь считаем, так и знайте, футбол партийною игрой!»

Здесь принимаются решения, готовятся перемещения, здесь весь ЦК и весь горком — и не смотри, что голяком! Простынки тогами патрицьев под каждой мордой продувной, пир или торжище партийцев парит над тайною парной? Вон тот, стриженный под ежик, с усмешкой барскою и быстрой, он толще всех и всех дороже, еще я встречусь с этой рожей в обличии премьер-министра. Вон тот, что в самом центре пьянки зашелся в комсомольской песне, однажды двинет к Красной Пресне могучие слепые танки... Парная — пленум, но с изнанки.

Вот кто-то темный, невидим, промолвил баритоном бравым: «Ну что, Высоцкого поставим?» — «Давай поставим, хрен бы с ним!» И вся парная наслаждалась тем, как гитара заметалась, чтоб третий одолеть венец, но сказка сказкою осталась, и металагерьный певец хрипел и мучился навивно перед парною этой дивной, дабы услышать: «Молодец!»

И понял я — всему конец! И я, прикрыв плотнее веки, стонал и плакал от стыда, я думал — недочеловеки над нами будут навсегда, а может быть, уже навеки.

ШЕСТЫЕ ВРАТА

отворились, когда я сдал страже стопку рукописей

Я, седой и одинокий, разменявший жизнь свою, все-таки попал в пророки, в неприступную семью — в их Союзе состою. Дом писательский в колоннах, два буфета, где нальют, да опять все, как в строю, все в шеренгах и колоннах,

разделенных непреклонно на «чужую» и «мою». На изломе перестройки слева — Вождь, высокий, стойкий, он в тайге восславил ГЭС; справа — Вождь, высокий, мрачный, гибель он тайги оплачет; между ними — створ небес, звездный, горестный, веселый, но не нужный никому...

Кто бежит за комсомолом, хоть и канул тот во тьму, кто стремится к загранице, кто к отеческим гробам... С кем мириться? С кем делиться? Чем кичиться по углам? С двух сторон идут полки, с двух сторон — большевики. Вслед за кем бежать гурьбою? По кому открыть пальбу? Измордованы борьбою, все опять ведут борьбу.

Я один не вижу толку в плеске криков и знамен, я наивно убежден — одиноко только волку, если вдруг не в стае он. На кого идет охота? Слева — вой, и справа — вой, падших ангелов пехота сшиблась в схватке пожевой. Слева — бес высокомерный, справа — бес, тупой и злой, ими и Христос, наверно, ныне скрыт, как солнце мглой. Нет ни лучика косого... Господи, наставь меня, как пройти мне полюсую перекрестного огня в край, где нету места сваре, в край, где нету стай и свор, где и мне, как всякой твари Божьей, отведен простор!

СЕДЬМЫЕ ВРАТА

раскрылись со скрипом, когда я положил на ступеньки свой партбилет и нагим спустился в подземелье

Я весь дрожал, когда входил в подвал смятенною походкой святотатца, а там Свободу, Равенство и Братство опять багряный лозунг возглашал. Здесь были все воистину равны, особенно под вывеской «Генсеки», все пять сидели ликами темны, мрачны, как после пьянки дровосеки. Хрущев с гармошкой, Брежнев в орденах, Черненко в синей тройке из шевьота, Андропов в модных дымчатых очках и Сталин с трубкой, в мягких сапогах.

И все смотрели, как на идиота, на голого и жалкого меня. Товарищ Сталин, пальцем помяна Лаврентия, спросил: «Что за херня? Зачем сюда ты пропустил кого-то?» И Берия пенсе своим сверкал, был, как всегда, торжественен и пылок: «Сосо, я шлепнул бы его в затылок, но Жуков пушку отобрал!» И диким смехом загребел подвал — Свердлов хихикал, Киров грохотал, с Калинин и Троцким обнимаюсь. Здесь были все, кого я изучал, на «Кратком курсе» вечно спотыкаясь, — весь пьедестал!

Но не сробел я в этот грозный час и выдохнул, от ужаса бледнее: «Я не один! Не за себя радею. Я не один! А миллионы нас желают знать, горит или погас огонь в борьбе Возлюбленной Идеи?» Спросил и замер, словно истукан. И все застыли — товарищ Сталин цыкнул, как пахан.

«Вас миллионы, — усмехнулся, — были? Так почему не присланы сюда? Наверное, борьбы вы не любите. Вы были пылью и остались пылью, и только пылью будете всегда!» Он замолчал и усмехнулся снова: «Лаврентий! Этого отправь назад. Пусть он задаст вопрос Вечно Живому, ведь тот куда не явился в ад!» И вновь, под улюлюканье и хохот над жалким мною, загребел подвал. Взметнулось пламя, и раздался грохот — ад пропал!

ЭПИЛОГ

О, как трудно теперь выбираться мне из-под обломков — то ли мертвого ада, а то ли пустых баррикад, — здесь пылала борьба за свободу для дальних потомков, я свободы не знал никогда, и не мне ее громко возглашать или требовать тотчас назад. До сих пор еще коршуны кружат над моей беззаветной столицей, до сих пор еще ворон кружит над моей предрассветной Москвой, в самом сердце ее до сих пор багровеет, как рана, гробница, где с Безумной Идеей покоится Вечно Живой.

Этим летом в больнице узнал я о горькой примете — пулей в сердце твой предок сражен, если сердце болит. Боже мой! Сколько ж предков моих полегло на рассвете — кто своими расстрелян, кто чужими убит. Сколько их извели в честь еще не зарытого Труна, сколько воздано им по Его непомерным грехам! Трансмуральный инфаркт моей родине вылечить трудно, если сердце ее развалилось почти пополам. Это сердце не выдержит боле ни пытки, ни битвы, все сосуды его темной боли и гнева полны...

Во спасенье России подбираю слова для молитвы. Если Богу они еще будут слышны и нужны.

Июль — август 1991 г.



Юрий ЗЕРЧАНИНОВ ПРОГУЛКИ С ПРИШЕЛЬЦЕМ

Вторая

Однажды утром он позвонил мне, помянул, как славно мы побеседовали в Останкинском парке, и поинтересовался — нет ли у меня намерения рассказать о нашей прогулке в своем журнале? Я признался, что имею такое намерение и только ждал его звонка, чтобы заручиться согласием.

— Мне сдается, — сказал он, — что ваши писания губительных последствий иметь не будут.

Следующий его звонок последовал одиннадцатого ноября. Он просил о незамедлительной встрече. Сказал, что будет ждать меня на том же месте — у королёвского забора.

На этот раз пришелец выглядел по-иному. Сохранил и пышные баки, и безукоризненный, по моде начала века, пробор, словно только что сделанный у Michel'я на Невском, но был при этом в кожаной куртке и джинсах. И походил на респектабельного господина, который не прочь выглядеть своим парнем. Свой же русский язык осовременить не спешил.

— Я поступил опрометчиво, но, поверьте, не из пустой прихоти, — говорил он. — И если вы не пожелаете меня выручить...

Мы шли не так долго и оказались у нового, еще не целиком заселенного дома, в котором, как мне доверительно сообщил пришелец, он безбедно жил до прошлого вечера.

А прошедшим вечером, десятого ноября, он купил билет в кинотеатр «Россия» на премьеру фильма Сергея Соловьева «Дом под звездным небом». Билет стоил 15 рублей и имел вид стодолларовой бумажки, в центре которой вместо Бенджамина Франклина красовался сам Соловьев.

— Как мне помнится, — говорил он, — в начале века, когда российский рубль действительно имел золотое обеспечение, перед долларом не работепествовали. Антон Павлович Чехов в «Острове Сахалине»

рассказывает о знакомстве со старым офицером, который произвел на него впечатление доброго человека и большого патриота, и приводит забавную историю: человек этот, оказавшись в Сингапуре, захотел купить своей жене шелковый платок, но, когда ему предложили поменять рубли на доллары, обиделся и сказал, что менять православные деньги на какие-то эфиопские не станет, и от покупки платка отказался. А ныне, как я читал в «Комсомольской правде», даже крупные ваши чиновники не стыдятся ронять себя: встречаясь с зарубежными журналистами, выманивают за интервью доллары...

Сам я не был в тот вечер в «России», а был на теннисе — шли финальные матчи «Кубка Кремля». Пришелец же не высмотрел в фильме Соловьева, как он выразился, и грошовой истины.

Его огорчило, что в то время, когда даже Верховный Разум занят спасением России, создатель этого фильма обрекает всех жителей своего Дома либо на неминуемую гибель, либо выпроваживает спасения ради в Америку, а молодую и, как положено в таком кино, влюбленную пару отправляют к звездам — полетают какое-то время, дескать, а когда в нашем Доме все образуется, возвратятся и займутся устройством собственного благополучия. Смертоубийственный фильм!

— Я бы посчитал, что этот вечер для меня непоправимо испорчен, — рассказывал он, — если бы перед началом фильма не познакомился с прелестной барышней. Я притаил дыхание, едва увидел ее, — так дивно хороша! Она спросила: откуда я пожаловал — из Америки, из Австралии? Я спросил: «Почему вы так полагаете?» Она сказала, что лишь потомуки соотечественников, которые в Америке и Австралии, еще держатся друг друга и сохранили такой чистый русский язык. Она сказала, что кайфует, слушая, как я говорю. Что мне оставалось? И я не стал упорствовать — да, сказал, приехал из Америки.

— Как зовут эту дивную барышню? — поинтересовался я.

— Ольга.

— А себе какое имя избрали?

— Виктор.

— Очень приятно, — сказал я. — По сей день вы оставались для меня безымянным пришельцем...

— Простите великодушно! — воскликнул он. — Мы познакомились, когда я только лишь вочеловечился и еще не свыкся, что зовусь Виктором Сергеевичем.

— Вы стопроцентно вочеловечились, достопочтенный Виктор Сергеевич, — сказал я, — коли небезразличны к красивым девушкам.

Он же стал говорить, что ему предназначено быть лишь наблюдателем, холодным аналитиком. Такова программа, заложенная в него. Нет сомнений, однако, что программист сработал безупречно, если оставил ему возможность предаваться горячечным мечтам, и он обязан запросить корректировку.

Мы уже поднялись к нему и пили кофий, восседавая в кожаных вольтеровских креслах.

— Вы второй вслед за Ольгой землянин, который увидел, где и как я обосновался в Москве, — говорил пришелец по имени Виктор Сергеевич. — Владелец этой квартиры — наш человек, контактёр. Я вочеловечен его двойником. Позаимствовал для удобства его имя, отчество и фамилию. А он убыл, пока я здесь, куда следует. Но для Ольги, имейте в виду, эта квартира — ваша.

Любуясь своим старинным бюро с металлическими инкрустациями, я выслушивал, что произошло предыдущим вечером по вине небезупречно сработавшего программиста.

Пришелец и Ольга не потерялись в зале — вышли из кинотеатра вместе. Он попытался поделиться с нею

своими впечатлениями о фильме, но она лишь сказала: «Взглянул и — мимо». Поигрывая ключами от машины и выяснив, что он остановился в Москве у своего друга в районе ВДНХ, предложила:

— Садитесь, мне по пути.

В дороге спросила, чем он занимается у себя в Америке? Он был наслышан, что в Америке все занимается бизнесом, но медлил с ответом, боясь сказать какую-нибудь глупость, пока не вспомнил, как в былом Петербурге его познакомили с преуспевающим коннозаводчиком, который пророчествовал, что тот, кто променяет лошадей на автомобиль и локомотив, будет всей этой техникой закрепощен, а всадник всегда вольным человеком останется. Словом, пришелец рискнул сказать Ольге, что у него небольшой конный завод, и как бы между прочим добавил, что в сегодняшней Америке надобность в верховых лошадях с каждым днем возрастает.

Он убеждал меня, что Ольга ему поверила — сказала, что не глядя променяла бы свою тачку (пришелец, как я заметил, уже сек сегодняшний сленг) на резвую кобылку. А когда они приблизились к выставке, пришелец попытался было выйти у кинотеатра «Космос», убеждая ее, что его дом в двух шагах отсюда, но она сказала: «Не комплексуйте», — и он ступешался и показал, как подъехать к дому.

Она вышла из машины, чтобы попрощаться с ним, и вдруг прижала к вискам ладони, сказала смущенно: «Голова кружится». Стояла так минуту, другую, и он повел себя как настоящий мужчина («А как бы вы поступили на моем месте?» — спрашивал) — подхватил ее на руки и взбежал по лестнице на свой (скажу лишь, что не второй) этаж. Так она оказалась в том самом вольтеровском кресле, в котором теперь восседал я, и достаточно быстро пришла в себя...

— В скором времени Ольга придет, — заволаговался пришелец. — Мне совестно, что я обманул ее — сказал, что сегодня вечером уезжаю в Санкт-Петербург. Она и тут мне поверила и обещала заехать и отвезти на вокзал. И я позвал вас в надежде, что вы придумаете, как объяснить мое внезапное исчезновение, и найдете слова, которые не причинят Ольге непоправимую боль. А как только вы все уладите, объявлюсь.

И убежал, предоставив мне улаживать эту незатейливую, как казалось, историю. Но если бы я хоть видел Ольгу... И задумал испытать ее, «признавшись», что мой друг Виктор — актер, которому предложили сняться в откровенно коммерческом фильме в роли натурального соотечественника из Штатов, которого одна за другой ловко охмуряют московские девицы, но Виктор не хочет ронять себя и уже целый месяц вживается в эту роль, попадая то и дело в двусмысленные ситуации...

Испытание не состоялось. Ольга выглядела, как надо, а нежданное отсутствие Виктора нисколько не огорчило ее. Не отказалась от чашки кофе (я, кажется, усваиваю лексику пришельца) и сразу сказала, что о лошадях говорить не будем.

— Но мой друг не едет и в Санкт-Петербург...

— Догадываюсь.

— Его на съемки вызвали...

— Не сочиняйте.

— Ему совестно...

— Это фантастика! Его ведь не женщина родила — признайтесь!

Так начался наш разговор. Стремясь изобразить неподдельное удивление, я воскликнул:

— Что вы говорите?

Но она спокойно и обстоятельно принялась мне толковать, что мой друг Виктор лишен биополя, но, чтобы скрыть это, его искусственно и притом не очень умело подзарядили. Она еще со школьных лет

занимается биоэнергетикой и в фойе кинотеатра, оказавшись рядом с Виктором, сразу ощутила, что он — биоэнергетический полуфабрикат. А когда попыталась увлечь его, он стал походить на электрическую лампочку, которая то готова перегореть, то опять ярко светит. Прикинувшись, что у нее голова закружилась, попала в эту квартиру. Виктор был предупредителен, но так неуверен в себе, что, взяв ее на руки в квартиру и опустив в кресло, уже не рисковал приблизиться к ней. Она поняла, что он опасается продолжать знакомство, и сегодня была абсолютно уверена, что к ее приезду он сбежит из дома.

— Зачем же вы приехали? — спросил я.

— Вашего Виктора следует откорректировать, — сказала она, — чтобы он успешно выполнил порученную ему миссию. Он же объявился в Москве не случайно? И ему совсем не безразлично, что происходит с нами.

Ольга внушала доверие. И, недолго думая, я рассказала ей все, что знал про своего друга Виктора.

— Судьбе угодно было это знакомство, — произнесла она. — Теперь нас трое.

Мы ждали, когда же пришелец даст знать о себе. Наконец он позвонил из автомата, что на углу улицы:

— Вы нашли такие слова?..

Я передал трубку Ольге, и она начала говорить, что присмотрела для его завода коня, который напрямую происходит от рыжего мерина Гамлета, последнего коня Николая II, но тут рассмеялась и сказала, что хватит шляться по улицам — мы соскучились.

Пришелец мгновенно явился и после недолгой растерянности, когда понял, что дивная барышня Ольга распознала его и я доверился ей, поблагодарил вслед за ней свою земную судьбу.

— Астрология, — говорил он, — в которой я кое-что смыслю, всерьез занимается числами. И число 3 символизируется треугольником, который представляет прошлое, настоящее и будущее.

Его огорчала лишь неизбежность корректировки. И полуфабрикатом, как формулировала Ольга, не мог оставаться, но и бесполым аналитиком не хотел уже быть. Причиной тому была Ольга, она создала это и неожиданно предложила, чтобы он потребовал откорректировать себя на плюс, а не на минус.

— Докажите, — сказала, — что вас не убудет, да и я не прочь, чтобы вы продолжали видеть во мне и дивную барышню.

Сообщаю, что так была окончательно сформирована, как принято говорить сегодня, команда пришельца, и первым делом мы решили отправиться в Нижегородскую область, чтобы познакомиться с человеком, который, небезосновательно утверждая, что нас спасет взаимная любовь, похваляется, что после пятнадцати лет упорного труда изготовил волшебный эликсир...

ФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

Мысли Анатолия АНТОНОВА
(Центр социально-стратегических
исследований), подслушанные на досуге
журналистом К. МИХАЙЛОВЫМ

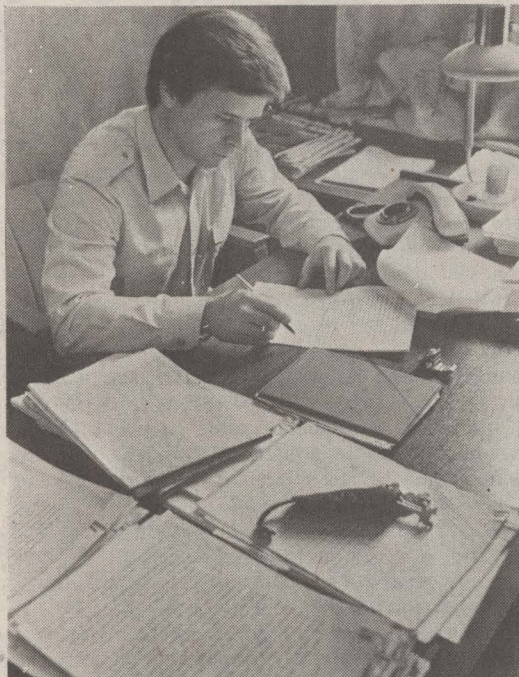


Фото Леонида Шимановича.

I. Последние стансы к Августу

То, что называют «августовским путчем», считают победой демократии. Пусть так — но не бывает абсолютных побед. «Путч» стал катализатором лавины разнообразных событий, он доконал советскую державу. Россия вынуждена теперь принимать жизненные решения совершенно самостоятельно, перед лицом опасности конфликтов с бывшими «братскими республиками».

В нашей внутривластной жизни последнего года боролось три тенденции. Приватизация — как рост частно-жизненного начала; социализация — как упорство начала коллективного; ребюрокрализация — как желание вернуться к старой системе. Последняя тенденция породила «путч», лишней раз доказавший, что эта система не может решать свои проблемы сколько-нибудь эффективно (об этом мы говорили в «Юности» № 10 за 1991 год. — К. М.).

«Путч», однако, крайне усугубил нашу военную ситуацию. Выяснилось, что бывают плохие и хорошие приказы, что преступные приказы не нужно выполнять. Но кто будет решать, преступен ли приказ? Младшие командиры? Отсюда недалеко до того, что армия распадется на группировки вооруженных людей, которые будут решать стоящие перед ними проблемы средствами, которые у них есть.

II. Развалины державы

Аналитики нашего центра считают одной из причин ускоренного развала СССР после «путча» — боязнь отдельных республиканских лидеров быть привлеченными по делу ГКЧП союзной прокуратурой. Это, конечно, не главная

причина; как и та, что после Августа все устои старой системы были либо ликвидированы (КПСС), либо размыты (КГБ, МВД, армия).

Нет — и это главное и для СССР, и для РСФСР — ни только единого экономического, но и единого идейного пространства, нет идейных ресурсов для сохранения единого государства. Страшная сила идей недооценивается, мы ведь с детства марксисты-материалисты. Одна из ключевых проблем для России и ее народов — выработать идеологию общей цели. Российская Империя базировалась на Православии — сегодня это невозможно. Идейной основой СССР был марксизм-ленинизм — нет нужды в комментариях. Трагизм в том, что, например, для Татарии нет никаких разумных аргументов — чтобы удержаться от соблазна последовать примеру Украины. Сегодня не видно идеи, способной объединить.

Когда меня спрашивают — почему нынешнее российское руководство так спокойно взирает на «парад суверенитетов» — я думаю, что дело здесь не только в том, что нужно соблюдать демократические правила игры и не отступать от провозглашенного права наций на самоопределение. Запрещена же без всякого суда КПСС в России! Мне кажется, в глубине души российские лидеры понимают, что их федеративное государство мелкими шажками продвигается к катастрофе. Но в силу того, о чем я говорил выше, они не могут действовать иначе. В старых рамках поведения политиков нет возможности сохранять державу, и Россия сжимается к границам Ивана Грозного.

III. Реформы

На осеннем съезде депутатов Ельцин обнародовал некоторые направления грядущих реформ, не вдаваясь особенно в детали. Люди напуганы «либерализацией» цен. Многие экономисты говорят, что без нее невозможен рынок. Но те же экономисты предупреждали: свобода цен без пакета других мер — чрезвычайно опасна. Наша экономика монополистична, многие товары делают одно-два-три предприятия, цены они вздуют, но выбора у потребителей так и не будет.

Предварительная приватизация, создание самостоятельных экономических субъектов — не могут служить универсальным спасительным средством. Скрытая приватизация уже давно происходит — теневые группировки перераспределяют собственность, и многие эксперты считают, что стабильность посетит нас тогда, когда закончится этот черный передел. Я, правда, думаю, что он никогда не закончится и равновесие будет неустойчивым.

Как бы то ни было, в разных отраслях хозяйства и в разных регионах различна и ситуация: универсальных решений — сначала приватизация, потом цены (или наоборот) — не может быть. В стране живы разные хозяйственные уклады; у сибиряков и казаков, северян и жителей Юга России разные представления о жизни. Рубль умирает — и в разных частях страны различны даже универсальные товарные эквиваленты: в средней полосе России — водка, за нее все купишь и продашь, на Севере — лес, в Таджикистане — ковры...

Конечно, в первую очередь должен быть приватизирован сервис, тяжелая промышленность требует более осторожного подхода, а в сельском хозяйстве монополизм слабее — есть колхозы, есть и фермеры — в Польше, например, базой для «шоковой терапии» служили частные крестьянские хозяйства.

Другая опасность в возможных (и уже явных) действиях правительства — в том, что оно попытается преодолеть монополизм государственной экономики быстро и «просто» — открыв границы для западных товаров и капиталов. Конкуренции с ними — при всей нашей разрухе — мы не выдержим, а в пересчете на доллары стоимость всего, что мы здесь имеем, очень низка. Западные миллиардеры, деловые люди, государства просто скупят нас по частям — заводы, ГЭС, недвижимость, куски территории — все, что называется национальным достоянием. Это новая, колоссальная и ключевая проблема экономической безопасности наших реформ.

IV. Цена доверия

Реформы трудно назвать систематическими. Это значит, что они непрофессиональны. К ужасу моему, мне попадались в печати статьи с программным обоснованием этого непрофессионализма — с призывами не думать о четкой глобальной стратегии реформ, а пахать, работать каждому лучше на своем месте. И все?!

Этот непрофессионализм нельзя ставить в вину только нынешним демократам, он привел уже к краху коммунистическую идеологию, которая с самого начала преследовала нереалистические цели. В развитых странах вроде бы «как у нас»: партия у власти осуществляет свою стратегию, но к власти она приходит только потому, что народ признает эту стратегию нужной и реальной.

Одна из причин осенней — вошедшей в историю! — странной, полускандалной ситуации в окружении Ельцина — тот же самый непрофессионализм, отсутствие серьезно продуманной программы реформ, затянувшаяся победная пауза после Августа. Ключевые стратегические цели должны быть открыты, цена, которую страна может заплатить за их достижение, должна быть названа. Если лидер не говорит о цене — это ослабляет доверие к нему же. Но все мы ценим откровенность.

Вот пишут о Прибалтике: что же они, не понимают, какие потери понесут, отделившись всерьез, перейдя к мировым ценам? Но там все несколько иначе: заявлена стратегическая цель — государственная независимость. И выясняется, что ради этой цели люди готовы пойти на снижение уровня жизни. Вот в чем значение идей и стратегий. Каковы же они у нас, в России?

V. Русская идея

У нас же происходит странная вещь, которая только приближает развал страны: место идейных принципов заняли экономические интересы. Это подмена цели — создание рыночной экономики не может венчать стратегию развития страны. Нельзя доказать русскому человеку, что главная цель его жизни — набивать свой карман, ни с кем и ни с чем не считаясь. Не последние семьдесят коммунистических лет, но все века русской истории учили его тому, что общие интересы преобладают над личными; и он готов был идти на жертвы ради воплощения общенациональных идей. И сейчас многие готовы, но ради чего? Теряется смысл жизни.

Для молодежи все это сейчас особенно остро: ведь если жить ради материальных благ — надо уезжать. На Западе получится больше, быстрее и лучше. К этому ли мы стремимся?

В чем же теперь русская (если угодно, российская) идея? Пытаясь ответить на этот вопрос, нужно ясно представлять себе причину нашего нынешнего положения, причину, о которой редко пишут и почти не говорят: СССР потерпел поражение в «холодной войне», в соревновании систем.

То, что следует за этим, то, что происходит сейчас, — капитуляция. Мы зависим теперь от Запада гораздо больше, нежели нам кажется. Круг политических решений сужен, возможность маневра была у СССР — сверхдержавы, теперь ее отнимают проценты по кредитам, огромный национальный долг и т. п.

Капитуляция — горькое слово, почти крах самосознания людей, считавших себя гражданами сверхдержавы, которую перестройка, разоружение и конверсия поставили в положение «Верхней Волги без ракет».

История XX века, однако, доказывает, что наиболее бурный прогресс переживали страны, потерпевшие страшные поражения не в «холодных» даже, а в настоящих разрушительных войнах — Германия, Япония, Италия. Поражение, как это ни парадоксально, помогало решить ряд проблем, с которыми мы не могли справиться в рамках старых систем.

Но граждане этих стран понимали, что потерпели поражение, поэтому возрождение страны не было для них пустым звуком. И пока граждане России не осознают, не переживут свое поражение сами, пока российские лидеры не объявят о нем со всей ответственностью, пока нас не перестанут водить от победы к победе — возрождение России останется лозунгом, а не общенациональной стратегической целью.

Мы тем временем, конечно же, продолжаем национальное самоуничтожение. Те же иностранцы с ужасом смотрят на нас, впервые сталкиваясь с людьми, которые не недостатки ругают, не правительству, не системе даже, но просто поносят собственную страну...

VI. Куда ж нам плыть?

(Экспресс-прогноз развития ситуации в России)

Кризис власти не преодолен. Пирамида власти перестает быть властной. «Белый дом» — далеко не вся власть в нынешней РСФСР. Рост капиталов, бурное развитие коммерче-

ских структур, кризис национально-государственного устройства привели к тому, что в России сложились несколько различных властных группировок, которые контролируют определенные территории или сферы деятельности, и границы влияния этих властных группировок не всегда совпадают с территориально-государственным делением Российской Федерации. Группировки эти (в силу корпоративного устройства нашего общества) могут иметь разнообразные основы: землячество, национальность, личные знакомства, родство, «общее дело» в «теневой экономике» и т. п. Группировки полулегальны, используют парламентское «лобби», имеют «своих людей» во властных структурах и средствах массовой информации. Их интересы часто не совпадают с общенациональными. У российского руководства, у Президента Ельцина есть три пути, три стратегии поведения. Выбор одной из них определяет ход грядущих событий в России.

Первая: СТРАТЕГИЯ ПОДАВЛЕНИЯ властных группировок. Предполагает «репрессии», «борьбу с коррупцией и теневой экономикой». К успеху привести не может, так как исполнительные и репрессивные структуры государства поражены тем самым пороком, которые призваны искоренять. Попытки государства уничтожить теневые властные группировки будут встречены всеми доступными тем мерами: от акций боевиков до срыва продовольственных поставок (что мы давно наблюдаем в Москве), от нарушений работы транспорта до организации забастовок и национальных волнений. Государственная экономика в этом варианте не выигрывает ничего, возможности потребителя получить хоть что-то от экономики коммерческой будут урезаны. Уровень жизни и обеспечения неминуемо снизится.

Развал федеративного государства, несомненно, ускорится — сейчас легче всего избежать властного контроля сверху, — подняв знамя национального суверенитета. На международной арене, с точки зрения иностранных наблюдателей, осуществление этой стратегии будет выглядеть как новая волна борьбы с частным предпринимательством и спекуляцией, как возвращение к лозунгам ГКЧП. Хотя бы поэтому выбор Ельциным подобной стратегии маловероятен.

Вторая: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ с властными группировками. Усиление власти президента может быть достигнуто за счет обмена властными полномочиями между реальными носителями власти. По понятным причинам, такая стратегия должна проводиться в жизнь в основном методами тайной дипломатии. Достижение желанной социально-политической стабильности общества в ходе реализации этой стратегии проблематично, так как властные группировки динамичны, их взаимоотношения и влияние быстро изменяются, их интересы не ясны и не выявлены до конца.

Стратегия предполагает безусловную легализацию «теневой экономики» в качестве платы за переход к рынку. Возможно некоторое повышение уровня жизни; сепаратистские движения не будут столь активны, как в первом варианте. Но реализация этой стратегии грозит серьезной опасностью: легализацией и усилением властных группировок, имеющих в основе своего существования «настоящий» криминал: торговля оружием, наркотики и т. п. В отдельных регионах возможно буквальное осуществление лозунга «мафия у власти».

Третья: СТРАТЕГИЯ ГИБКОГО СОЧЕТАНИЯ вышеописанных путей.

Компромиссы — там, где невозможна жесткая линия. Легализация «теневой экономики» (в советском понимании) и борьба с действительной преступностью, признанной таковой цивилизованным миром (наркомафия и т. п.).

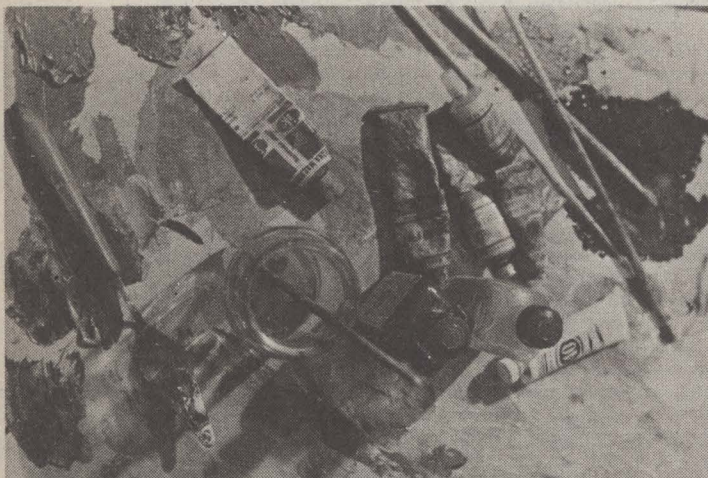
Уровень жизни при осуществлении такой стратегии поддерживается гособеспечением малоимущих и протекционистской политикой государства при создании свободного рынка. Отпуск цен на свободу сопровождается решительной демополилизацией экономики: антимонопольное законодательство о товарах и рынках сбыта, освобождение от налогов тех видов производств, развитие которых уничтожает монополизм и т. д. Только этот путь может привести к стабилизации и снижению цен.

Связи единого экономического пространства при этой стратегии несколько укрепляются, но без объединяющей идеи этого недостаточно для прочного федеративного единства России.

Сюда — цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином — туда.
«Скажи, ты счастлив?» — «Нет». — «А так?»
«Прочти». — «А так?» — «О да!»

(Александр Кушнер)

ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ АБСТРАКЦИЙ И НАТЮРМОРТОВ



В современной живописи вместо «ползучего соцреализма» стала царствовать карикатура. Раскрашенные картонки и холсты пугают «миллионы нас» нашим же собственным оскалом, становясь даже не зеркалом, а бессмысленной самоиронией. То, что раньше за версту распознавалось худсоветами и особой радостью ими «рубилось» или запрещалось, в лучшем случае — не рекомендовалось и становилось интересным именно этим — скрытыми, прорвавшимися сквозь все преграды намеками (редко чем-то большим), теперь уже своей якобы запрещенностью вовсе не прельщает. И уже, конечно, не волнует.

В работах Дмитрия Кедрина, несмотря на законченность форм и — главное — цветовую психоделику, не стоит выискивать окружающую реальность. Чувственная насыщенность определяет его живопись. Но уход человека в область неподконтрольных ассоциаций и чувств настораживает и социальные институты демократического общества. Не по тому вовсе, что эти ассоциации могут побуждать зрителя (или слушателя, читателя) к каким-то непредсказуемым поступкам, нет. Настораживает именно невозможность насыщать свое мнение, позицию, то, на чем любой социальный институт и держится.

А побег от «гневного обличения гнетущей реальности» может быть и в натюрморте — самом, пожалуй, интимном из живописных жанров, самом сокровенном (все равно что раздеться на людях), несмотря на лоснящихся рябчиков малых голландцев, могучую продуктовую плоть Машкова или шемкинские освежавшие туши.

В «Стеклянном марше» Кати Леонович какие-то рюмочки, цветные бутылочки, бокалы, светящиеся на солнце графины и графинчики... Красный, голубой, желтый цвета — как далеки они в своем звуке и чистоте от зеленого и розового цвета советской вареной колбасы, украшающей холсты иных «прогрессивных» современников. Иная реальность, иное мышление. Я бы сказал даже внутренний антагонизм, маленькая натюрмортная контрреволюция, которую на протяжении веков вынуждены совершать подлинники художники.

Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.

Не на синей, а на зеленой плоскости у Кати расположились и зажили своей тихой жизнью предметы куда более обыденные: плоская с кактусами, пипетка — да-да, самая простая — из детства, обыкновенная жестяная пробка от бутылки... но выдернутые, изъятые из привычного контекста, они как бы приобрели совершенно иную, куда более высокую ценность, установили свои — неформальные отношения друг с другом, по собственной воле передвигаясь, завораживая нас и увлекая за собой. Куда? Откуда мне знать, да и так ли уж это важно?

Живопись Кати Леонович отчетливо женская, то есть мягкая, уступчивая, почти камерная. Ее натюрморты сродни тому быстрому и доверительному уюту, который может вдруг в одночасье навести хозяйка в запущенном жилище. Все эти запыленные бутылки, продавленные чемоданы, сухие листья, объединенные неравнодушной рукой, мгновенно обретают осмысленность и значимость. В то время, когда политики борются за популярность, оперируя наличием или отсутствием колбасы, молодая художница заставляет зрителей сосредоточиться на своей жизни, быстротекущей, просто тающей на глазах в этих очередях и толкучках — иссякающей, как будто и не было ее.

«Последнее Party» — обнаженные фигуры вокруг пустого стола, не на друг друга, а друг в друга смотрящие. Люди — осколки времени нынешнего, не тела их — души устраивают свою последнюю вечеринку (какая к черту вечеринка! — просто сидение, смотрение, последнее переживание, что ли). Не о смерти идет, конечно, речь. О бытии. В это самое бытие можно силой и прикладами заталкивать, как происходило в Освенциме и Дахау, в Катюши и на Колыме. Можно в него уходить добровольно, как пан Корчак, беспокойная мать Мария или Андрей Тарковский, Сергей Параджанов, Евгений Харитонов, как многие близкие или дальние наши родственники — смирившись, отодвинувшись куда-нибудь вглубь или вовсе потерявшись из виду в родных селах и чужих государствах, в покорных очередях и среди пропыленных книжных стеллажей, не выдержав, раскинув вдруг слабо руки, в последний раз пытаясь вдохнуть морозный и холодный воздух родной страны.

Уходят в натюрморты, пейзажи, абстракции.

Именно туда, а не на баррикады зовут их Катя и Дима. Для кого-то это равнозначно преступлению, для кого-то — единственно оставшийся путь. Если представить его в виде бесконечного вектора, то где-то там, на этом пути, отмечена гибель от рук наемных убийц Митино деда — поэта Дмитрия Кедрина:

Кем я буду? Комом серой глины?
Белым камнем посреди долины?
Струйкой, что не устает катиться?
Перышком в крыле у певчей птицы?
Кем бы я ни стал и кем бы ни был —
Вечен мир под этим вечным небом:
Если стану я водой зеленой —
Зазвонит она одушевленно,
Если буду я густой травой —
Побежит она волной живою...

Где-то там, уцепившись за поэтическую строчку, затерявшись в брусничных лесах, блуждает Катин отец — Владимир Леонович: «...По Сибири, по России, память милую храня, без меня живут родные, умирают без меня».

Было бы неверным проводить взаимосвязь между художником Дмитрием Кедриним и его знаменитым дедом, между Екатериной и ее отцом. «Мы не принадлежим ни к каким группам или направлениям», — пожалуй чересчур категорично утверждают художники. Может быть, и так. Им виднее. И дед, и отец, и матери — все это просто родственники, их близкие, попавшие в очередной водоворот эпохи, и именно о них эти легкомысленные на первый взгляд Катинаты натюрморты, странные и какие-то тревожные Митины абстракции — легкий перезов подрагивающих рюмочек, одна из которых все чаще бывает прикрыта кусочком ржаного хлеба.

Так и хочется убежать от этого. Но куда бежать, да и убежишь разве?

Александр ШАТАЛОВ



Е. ЛЕОНОВИЧ. «Стеклянный марш». Холст, масло. 1991 г.



**Екатерина
ЛЕОНОВИЧ
Дмитрий
КЕДРИН
г. Москва**





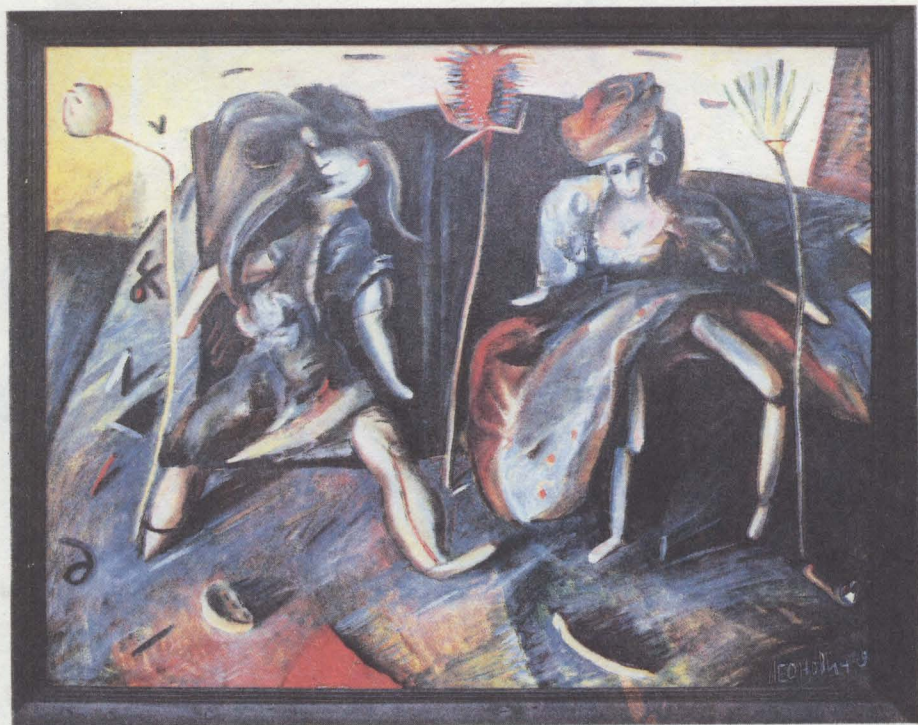
Е. ЛЕОНОВИЧ. «Натюрморт с морской солью». Холст, масло. 1990 г.
 Д. КЕДРИН. «Происшествие». Холст, масло. 1990 г.





Е. ЛЕОНОВИЧ. «Последнее PARTY». Масло, холст. 1990 г.
 Д. КЕДРИН. «Натюрморт с пиковой дамой». Холст, масло. 1990 г.





Е. ЛЕОНОВИЧ. «Последний раз». Холст, масло. 1990 г.
Д. КЕДРИН. «Синий звук». Холст, масло. 1990 г.



Эльдар
РЯЗАНОВ

Я до мелочей помню последний вечер с отцом. Он уезжал в командировку в Ленинград. Помню число — 12 февраля 1952 года. Была жуткая слякоть. Я провожал его на вокзал. Отец пребывал в замечательном настроении, его только что назначили главным инженером треста «Промстальпродукция». По этому поводу мы открыли в купе бутылочку коньяка. Я учился тогда на четвертом курсе медицинского института, но уже твердо знал, что пойду по стопам Чехова. С той разницей, что практиковать как врач не стану, а уйду в литературу немедленно. У меня уже было несколько публикаций, а Чехову в эти его годы такое и не снилось. Мы разложили на бумаге бутерброды с колбасой и с сыром, приготовленные матерью. Проводник принес стаканы и первую порцию выпил с нами, а потом ушел к дверям вагона. Отцу повезло — ему теперь по должности полагался мягкий вагон, но билет достали в крайнее купе, где было не четыре, а всего два места, одно над другим. Я подшучивал над отцом, говорил, что его соседкой наверняка окажется молодая красотка. Но я — могила и матери о его дорожном приключении не расскажу. То, что никакая женщина не сможет устоять

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Повесть

перед обаянием отца, я не сомневался. Я всегда был в него немного влюблен. Он казался мне красивым, умным, добрым, широким, ироничным. Москвошвеевские вещи на нем сидели, как заграничные.

Ему недавно исполнилось пятьдесят. Сейчас я на целых двенадцать лет старше его. Это странное чувство — ощущать себя взрослее собственного отца. И только сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, каким он был в тот вечер молодым. Особой карьеры отец не сделал. Когда-то, в середине двадцатых — меня еще не существовало, — он окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта и стал специалистом по металлическим конструкциям. Участвовал в сооружении домен в Череповце, в строительстве Крымского моста, возведении стальных каркасов высотных зданий, которые только что были закончены и вызывали восхищение москвичей и приезжих — мол, наши небоскребы не хуже американских.

Возведение наших небоскребов вела секретная строительная организация под названием «Особстрой» или что-то в этом духе — за давностью лет уж точно не припомню. «Особстрой» входил не то в НКВД, не то в МГБ, тоже не помню точно, когда эти два симпатичных, любимых народом ведомства разделились и от НКВД отпочковалось МГБ. Да это и не важно. От отца я знал, что шефом «Особстроя» был сам Лаврентий Павлович. Стройки высотных зданий были огорожены высокими заборами с колючей проволокой, за которыми эскизы гигантские котлованы для фундаментов. Бесплатная рабочая сила — вечная наша традиция. При царизме — крепостные, в сталинские времена — заключенные, а теперь — армия. Трест, в котором служил отец, не входил в секретную систему «Особстроя», он лишь выполнял заказы...

Наконец объявился попутчик отца, а вовсе не попутчица. Мои подначки относительно поездного романа оказались безосновательными. Я готовил себя к писательской деятельности и поэтому внимательно всматривался в каждое новое лицо, даже заносил в записную книжку описания внешности, особенности пейзажа, хлесткую услышанную фразу и изредка появляющиеся собственные мысли, понимая, что все это может пригодиться при сочинительстве. Сосед отца по купе не очень запомнился мне. Крепкий, спортивного вида человек, всего лет на пять старше меня. Единственной его особенностью был широкий синий рубец, идущий от виска вниз к щеке. Еще я обратил внимание, что у него не было с собой никакого багажа, кроме обычного служивого портфеля, который он не выпускал из рук. Короче, он выглядел типичным командированным.

Отец предложил ему составить нам компанию, налил полстакана коньяка и протянул попутчику. Тот вежливо отказался и произнес фразу, которая нас немного удивила:

— Спасибо. Но на работе я не пью.

— Какая же в поезде работа? — улыбнулся отец.

Рисунок
Андрея Сальникова

Окончание. Начало см. в № 1 за 1992 г.

Молодой человек на секунду замялся и потом объяснил:

— Знаете ли, я писатель. А в этой профессии человек всегда на работе.

Я посмотрел на него с уважением, потому что профессиональный писатель казался мне тогда существом высшего порядка.

— Не буду вам мешать, — любезно сказал сосед и вышел в коридор, не выпуская из рук портфеля.

Подшло время прощания. Мы обнялись с отцом, он уезжал всего-то на неделю.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Не волнуйтесь, доктор, — улыбнулся отец, намекая на мою будущую профессию. — Я в полном порядке. Поцелуй мать.

И потрепал меня по щеке. Так он часто делал в детстве. От прикосновения его руки стало приятно и тепло. Я в ответ легко ударил его кулаком в плечо и вышел на перрон. Отец встал у окна в коридоре, сменив своего соседа, который вернулся в купе. «Стрела» тронулась. Я шел за вагоном и глупо улыбался, не сводя глаз с любимого лица.

А наутро нас разбудил звонок почтальона — пришла телеграмма из Бологого, где сообщалось, что ночью отец скончался в поезде. Причина смерти — инфаркт.

Дальше были кошмарные дни: поездка в Бологое, цинковый гроб, медицинская справка с диагнозом смерти; похороны, которые начались у морга, а потом гроб установили в вестибюле «Промстальпродукции». Трест помещался на Садовом кольце недалеко от Маяковской. Речи потрясенных сотрудников, окаменевшая от горя мать. Управляющий трестом Кармазин поцеловал руку матери, обнял меня. Он два раза приходил к нам домой в гости. Этому человеку отец был очень обязан. В 1938 году Кармазин работал главным инженером треста, то есть в той должности, на которую отца назначили перед смертью, а отец был начальником технического отдела. Каким-то образом Кармазин разузнал, что отца намерены посадить, — всю эту историю мне рассказывала потом мать. И тогда Кармазин выдумал для отца командировку в Архангельск и усадил его из Москвы. Целый год провел отец в Архангельске. Все это время он не писал матери писем, не звонил домой по телефону. А когда опасность миновала и органы, наверное, вместо отца упекли в тюрьму кого-то другого, Кармазин вернул его в Москву.

Отец лежал в гробу, и выражение лица было мне незнакомо. Как будто он чего-то испугался в момент кончины. А потом Даниловское кладбище, тесные поминки в наших двух крошечных смежных комнатках в коммуналке, куда набились сослуживцы отца, родственники и соседи по квартире.

А дальше потекла уже совсем бедная жизнь. Из-за младшего брата — у нас с ним разница почти в двенадцать лет — мать нигде не служила. Она стала брать работу на дом, печатала на машинке технические тексты. Сослуживцы отца не забывали нас и регулярно подбрасывали для перепечатки какие-то инструкции, сборники и учебники.

После окончания медицинского меня распределили на «Скорую помощь», и я пошел трудиться разъездным доктором, ибо надеяться на регулярные литературные заработки было нереально...

...Тут память скакнула лет на семь-восемь вперед... Моя первая повесть о врачах, напечатанная в новом, недавно созданном журнале «Юность», заинтересовала кинематографистов, и меня пригласили на «Ленфильм» для переговоров о написании сценария. Я был очень горд и польщен этим предложением. Поэтому купил себе билет в СВ, то есть в спальный вагон. Я уже немало попутешествовал по России, будучи

корреспондентом «Комсомолки», но еще ни разу не ездил в двухместном купе. За казенный счет не было положено, а самому — дорого. Гонорар, полученный за повесть, придавал мне незнакомое доселе ощущение независимости. На перроне пассажиры, едущие в «Стреле», часто приветствовали друг друга, многие из них были знакомы между собой. В толпе мелькали лица знаменитых актеров, известных писателей. Тут были и адмиралы, крупные чиновники, сверкали золотом генеральские погоны. Я чувствовал себя приобщенным к элите страны, и хотя меня никто не знал в лицо, фамилия моя уже была на слуху. Повесть наделала порядочно шума, критики вступили в дискуссию, мордовали один другого, а заодно и меня. Благодаря их полемике я сразу стал весьма известным. Меня тут же приняли в Союз писателей. Но подходить к людям и представляться: «Я такой-то, я — автор нашумевшей повести» — было как-то глупо, хотя порой, честно говоря, очень хотелось. Потом, несколько лет спустя, тщеславие умерло во мне и казалось смешным, когда я его наблюдал у кого-то другого. Естественно, я считал себя в какой-то степени представителем богемы, и поэтому у меня в чемоданчике находилась бутылка дорогого армянского коньяка «Двин». Я не знал, кто окажется моим соседом или соседкой, но намеревался провести с ним или с ней время в задушевной беседе, хотел поделиться замыслом новой вещи, в общем, меня распирало от чувства глубокого удовлетворения и собственного величия.

Поезд тронулся, а попутчик так и не объявился. Я вынужден был ехать в одиночестве. Проводник получил с меня рубль за постель и принес чаю. Лицо проводника мне показалось знакомым, но где и когда я его видел, не припоминалось. Я пригласил его распить со мной бутылочку, потому что пить один еще не приучился. На дворе стоял не то пятьдесят девятый, не то шестидесятый год: хрущевская оттепель, знаменитый доклад вождя, утаенный от народа, но о котором все знали, возвращение узников из лагерей, развязавшиеся языки, хмельное ощущение свободы, предчувствие прекрасной жизни...

Проводник, крепко выпив, разоткровенничался и рассказал мне тогда историю, которая приоткрывала в нашем прошлом нечто неведомое.

«...Страшные вещи регулярно происходили у нас в поезде. Примерно раз в месяц возникал пассажир, довольно молодой, не старше тридцати лет, здоровый, крепкий, такой спортивный, всегда с одним и тем же портфелем в руках. Что находилось у него в портфеле, мы, разумеется, не догадывались. Тогда спальных вагонов в составе было очень мало — в пятидесятом, пятидесят первом, пятидесят втором годах, — но у него всегда оказывался билет в крайнее двухместное купе мягкого вагона. И мы знали, что другой пассажир из этого купе ночью обязательно умрет. Так бывало всегда. Незадолго до Бологого парень с портфелем вызывал начальника поезда, говорил, что соседу по купе плохо, и просил вызвать врачей из Бологого к вагону. В Бологом тут как тут оказывалась медицинская комиссия — думаю, что у них у всех под белыми халатами были гебистские погоны, — и констатировала смерть. Иногда от инсульта, иногда от инфаркта, иногда отравление. Труп сгружали в Бологом. Сходил и попутчик. Каждый раз, когда я видел, что он появляется в Москве в моем вагоне, меня охватывала дрожь. Это был палач, который приводил тайный смертный приговор в исполнение. Причем он никогда не работал вхолостую. Что он делал с жертвой — не знаю, потому что всегда было тихо: ни криков, ни стонов, ни выстрелов. И лишь один раз он не успел выполнить свою работу до Бологого. Вошла медицинская комиссия, хотя ее тогда не вызывали, но они и так знали все заранее, а сосед палача по купе был жив: сидел оде-

тый и лихо травил какую-то баланду, всякие там анекдоты. Медицинские эксперты ушли ни с чем. Но я слышал, как палач тихо сказал одному в белом халате:

— К Ленинграду управлюсь...

И действительно, когда подъехали к Ленинграду, весельчак был уже на том свете. Этот самый палач, конечно, понимал, что мы про него знаем, но он всегда делал вид, что никогда нас не встречал. И мы, проводники, тоже делали вид, что этого пассажира видим впервые. Страшно было. Помалкивали в тряпочку. Ты — первый, кому я об этом рассказал...

Я слушал рассказ проводника и трезвел от каждой его последующей фразы. Я вспомнил лицо отца в гробу, такое несвойственное ему выражение испуга. Неужели его убили? Сходилось многое: Бологое, попутчик, который не пьет на работе, медицинское заключение о причине гибели... И последняя фраза отца: «Не волнуйтесь, доктор. Я в полном порядке». Но как узнать точно? Отец не был политиком, не был членом партии и вообще «не был, не состоял, не участвовал». Технар, инженер... И карьера не Бог весть какая... За что его надо было приговаривать к смертной казни, да еще и секретной? То, что эти убийства были организованы бериевской охранкой, было ясно и бритому ежу. Может, отец знал что-то такое, чего не следовало ему знать? Может, он ненароком прикоснулся к какой-нибудь подлой государственной тайне?... Как теперь это обнаружить?

Ну, раньше, в 38-м, хватали всех подряд, у них план был по арестам, который следовало выполнять и переполнять. А тут-то за что?

Проводник ушел, а я метался всю ночь в полупьяном и полусонном кошмаре, пытаюсь ухватить какую-то нить, найти что-то существенное, что поможет свести все воедино, но это нечто ускользало, логика не слушалась, мысли путались. Кажется, я во сне плакал пьяными слезами и от горя, и от собственной тупости, и от бездонного бессилия. И вдруг меня осенило, о чем я должен спросить проводника. Уже под утро я заснул каким-то хриплым, отчаянным сном. А когда меня разбудил стук в дверь — поезд подходил к Ленинграду, — я вдруг осознал, что забыл то важное, что пришло ко мне во сне. Состояние и душевное, и физическое было во всех смыслах рвотным. Меня мутило, и не знаю, от чего больше. Я уныло побрел к выходу, проследовал мимо проводника, который сделал вид, что не узнает меня, и поплелся по перрону, обгоняемый бодрой и деловой элитой. И вдруг я вспомнил. Мне показалось, что я побежал обратно к своему вагону, но, вероятно, слово «побежал» было преувеличением. Проводника около дверей уже не было, так как все пассажиры покинули вагон. Я нашел его в одном купе, где он сдирал с полок грязное постельное белье.

— Слушай, а как он выглядел, этот самый палач? — хрипло спросил я.

— О чем вы? — Проводник встал ко мне спиной, продолжая выдергивать одеяло из пододеяльника. Ночью мы с ним разговаривали на «ты».

— Ну, ночью ты мне рассказывал о человеке, который убивал...

— Слушай, ты, — он повернул ко мне оскаленное лицо, — запомни: я тебе ничего не рассказывал, понял?

Я взбесился и перестал что-либо соображать. Защелкнув дверь купе, я схватил проводника за горло.

— Говно, трус, подонок, — цедил я, — если ты не скажешь мне, как он выглядел, я тебя придушу, суку...

Больше я не успел ничего сказать. Проводник, хотя ему было уже с полсотни, оказался парень не промах и нанес мне точный удар в челюсть, от которого я свалился на пол. Потом он перешагнул через меня,

открыл дверь купе и с ворохом белья вышел в коридор. Через некоторое время я очухался.

Проводник собирал белье в другом купе. Он почувствовал, что я остановился в проходе, но даже не обернулся.

— Мне это важно знать, — тихо сказал я. — У меня отец умер в пятьдесят втором году в поезде Москва — Ленинград. И его тело выгрузили в Бологом.

Проводник продолжал свою работу, не обращая на меня никакого внимания. Потом с очередной порцией простынь, наволочек и полотенец прошагал мимо меня, как мимо пустоты.

Я двинулся к выходу, и уже на площадке вагона проводник окликнул меня.

— Эй ты, подожди...

Я повернул к нему свое помтое лицо. Он испытующе посмотрел мне в глаза и произнес:

— Только меня ты в это дело не путай.

Я согласно кивнул.

— Была у него одна особенность... У него от виска вниз шел такой рубец, шрам... синий... Как будто кусок кожи выдрали...

Тут память опять скакнула на год или два вперед.

В 1961 году я впервые поехал за рубеж, во Францию. Это называлось «специализированный туризм». В иностранной комиссии писательского союза сколотили группку из сочинителей. Мы сами, разумеется, оплачивали и проезд, и пребывание. Но программа поездки предполагала не только знакомство с музеями, достопримечательностями и, само собой, магазинами, но и общение с французскими писателями. Наша группа (в отличие от делегаций, которые ездят за государственный счет) состояла из двух литературных мастодонтов, трех прозаиков военного поколения и меня, молодой поросли и надежды советской литературы. Встречи с французскими писателями оставили унижительное впечатление. Наши заграничные братья отнюдь не были высокомерными, наоборот, — люди воспитанные, они держались любезно и даже приветливо. Но было ясно, что они не только не читали никого из нас, но и никогда не слышали наших фамилий. Не исключено, что в глубине души они считали кое-кого из нас, если не всех, агентами КГБ, посланными за рубеж под писательской крышей. Рассказывали, что драматург Н. Ф. Погодин, который был убежден в своей всемирной известности, после подобной поездки в Америку от огорчения и обиды умер.

Вернувшись из Франции, я неожиданно получил повестку: мне предлагалось явиться на 1-ю Мещанскую (она же проспект Мира), в городскую ГАИ в определенный день и час. У меня уже около года была машина, новенький «Москвич». Я судорожно стал рыться в памяти — что, где и когда я нарушил, но никаких автомобильных грехов за собой не нашел. Советский человек привык слушаться официальных бумажек, и я не составлял исключения. В положенное время я подрул к месту и направился искать комнату, номер которой был обозначен в повестке. В унылом казенном помещении два гаишника играли в домино. Я предъявил им повестку, и они показали мне рукой на дверь в смежную комнату, куда мне следовало идти. Я зашел в такой же безликий кабинет, как и предыдущий. За столом сидел безликий человек в штатском. Он встал из-за стола, протянул мне руку и неразборчиво произнес свою фамилию. Мы сели, и мой собеседник сразу же открыл карты. Оказывается, я не нарушил никаких автомобильных правил, а сам он вовсе не инспектор ГАИ, а работник органов. Он показал мне издали какое-то удостоверение, которое должно было убедить меня в том, что он говорит правду. Но этого он мог и не делать. Я как-то сразу поверил, что он действительно оттуда. Этот серый

человек для начала отпустил несколько комплиментов по поводу моего дарования, сказал, что не сомневается в моем патриотизме, что он надеется на мое согласие помогать их организации... Застигнутый врасплох, не ожидавший ничего подобного, я промычал в ответ нечто невразумительное, что при желании можно было трактовать и как согласие, и как отказ. Дальше начался конкретный разговор. Он расспрашивал меня о поездке во Францию. Его интересовало все. Не отлучался ли кто из писателей? Может, кто-то не ночевал в отеле? Кто с кем встречался? Не вел ли себя кто-то из группы странно? Может, у кого-то было много валюты... Я не понимал, под кого он рыл, что именно хотел выудить из меня, но твердо знал — надо быть осторожным. Я обо всех своих попутчиках говорил в превосходной степени, рассказывал о патриотизме каждого члена нашей группы, хвалил талант и классовое чутье. Я видел, что каждая моя последующая фраза огорчает кагэбэшника. Я ускользал, как угорь. Вот уж к чему у меня никогда не было никакой склонности, так это к доночеству. Бесплодно промучившись со мной более часа, он сказал:

— Вы все-таки, Олег Владимирович, подумайте как следует. Я уверен, что вы наверняка вспомните кое-что. Вы произвели на меня очень благоприятное впечатление.

И сексот назначил мне новое свидание — на этот раз в гостинице «Киевская» около вокзала в одном из номеров. Встреча наша должна была произойти через двое суток где-то в середине дня. Какими отвратительными казались эти двое суток! Не скрою, я боялся! Слишком еще свежи были в памяти ужасы, связанные с Лубянкой. Я понимал — не расколуюсь ни за что, но от этого у меня толком портилось настроение. Я знал, насколько мстительна организация, и ожидал для себя неприятностей. А их у меня лично, во всяком случае серьезных, пока еще не было. Я шел на второе свидание, как на пытку. Главное, я ни с кем не мог поделиться тем, что со мной происходит, — чекист потребовал, чтобы я хранил в тайне наши с ним randevu. В гостинице дежурная по этажу, указав назначенную мне комнату, недобро усмехнулась. Я понял, за кого она приняла меня, — за стукача. Номер был двухкомнатный, у нас их называют полулюксами («осетрина второй свежести»), нежилой. Я сообразил, что КГБ специально снимает эти апартаменты для разных своих дел. Может, там была установлена и подслушивающая аппаратура. Я попытался представить, что происходило в этих комнатах за многие годы, и мне стало не по себе. Вообще богатое воображение скорее недостаток, чем достоинство. Вербовщик уже ждал меня. Опять началось мытье да катанье. Он снова собрался выпытать у меня какие-то компрометирующие подробности о моих попутчиках, но я твердо стоял на позициях соцреализма, говорил обо всех только хорошее и отличное. На самом деле у нас была общая тайна, но мы поклялись друг другу там, на пляс Пигаль, никому об этом не рассказывать. Мы коллективно побывали в одном подвальчике на стриптизе, что ни в коем случае не рекомендовалось, вернее, запрещалось и даже считалось чем-то аморальным, пачкающим советского человека. Но, думаю, не это интересовало куратора писательской организации. То, что он работал «опекуном» писателей, я понял уже в следующей беседе. Осознав тщетность своих усилий в случае с французской поездкой, он стал вести светскую беседу о редколлегии «Юности», где я публиковался, спрашивал о тех, с кем я общаюсь в Малеевке (это наш Дом творчества), что я думаю о том или другом писателе, как оцениваю их взгляды. Знали бы те литераторы, о которых он меня расспрашивал, какие лестные эпитеты я им отбавлял, как восхищенно говорил о тех, кого недолюбливал или считал бездар-

ным, как высоко ценил гражданские, патриотические качества всех писателей поголовно. Но — увя! — никто из них не ведал и не догадывался о том, как замечательно я думаю о всей нашей писательской братии. Мой собеседник оказался весьма сведущим человеком, в особенности в личной жизни многих. Он знал, кто с кем дружит, живет, враждует. Наконец, устав от однообразия моих ответов, он снова назначил мне свидание, на этот раз через неделю в этом же номере гостиницы. На третью встречу я шел с тем же ощущением гадливости и, пожалуй, с тем же испугом. Ибо не знал, куда и как повернет этот мерзкий, вежливый субъект, ощущавший за собой огромную силу мощного аппарата тайной полиции. Но третья попытка завербовать меня оказалась, по счастью, и последней. Еще раз намаявшись с моим безупречным отношением ко всем без исключения, агент, вероятно, махнул на меня рукой.

Прощаясь, он предупредил меня:

— Если вы увидите меня в Доме литераторов, или на каком-нибудь писательском собрании, или в Доме творчества, делайте вид, что вы со мной не знакомы, и не здоровайтесь со мной.

Я с радостью обещал ему это. Тут-то я и понял, что он откомандирован своим ведомством следить за писателями. Я бы не рассказывал о попытке сделать меня стукачом, если бы знакомство с филером не продвинуло меня в истории со смертью отца. Через месяц или два я оказался на премьере в Доме кино. Там в толпе увидел какую-то знакомую физиономию. Я, конечно, поздоровался и, только пройдя мимо, уже спиной понял, кого я поприветствовал. Это был тот самый тип, который соблазнил меня работать в охранке. Я обернулся. Он не обращал на меня никакого внимания и с кем-то беседовал. Я перевел взгляд на человека, с которым разговаривал мой знакомый незнакомец, и обмер. На лице его собеседника от виска к щеке шел широкий синий рубец. Как будто в этом месте у него была вырвана кожа. Мне почудилось, что я узнал попутчика отца, но с таким же успехом мог и ошибиться. Надо было невзначай познакомиться с ним, выведать, кто он. Но я не понимал, как к этому подступиться.

...Дойдя до этого места своего повествования, я вдруг ощутил, что в истории, которую рассказываю, появился эдакий монте-крстовский налет. Надо же — загадочный убийца со шрамом! В этом, конечно же, есть нечто дьявообразное. Если следовать правде двадцатого века, то могучий фискальный спрут, запустивший щупальца в каждую клетку страны, несомненно, маскировал своих агентов, гримировал их под типичное, незаметное, избегал ярких опознаваемых примет. И тем не менее человек с синим рубцом, идущим от виска к щеке, стоял передо мною...

И еще одна невеселая мысль посетила меня, когда я окидывал взглядом написанное. Мало того, что я традиционалист, с этим как-то можно было бы и примириться. К несчастью, я еще и беллетрист. Беллетристика, судя по общественному мнению, созданному критиками, — это нечто второсортное, некая потребительская или, если хотите, коммерческая литература для быдла. Постепенно возникло общественное мнение о такого рода кинематографе, драматургии, прозе и живописи. Общественное мнение, кстати, сейчас стало играть у нас первостепенную роль. И это просто замечательно! Раньше считались лишь с мнением начальства, а сейчас только с общественным. Правда, диктат общественного мнения оказался, как ни странно, куда сильнее, нежели в тоталитарную эпоху партийный диктат, именовавшийся почему-то диктатурой пролетариата. Раньше похвалить отлученного, крамольного Солженицына было опасно, могли последовать оргвыводы. Зато в наши дни сказать

о Солженицыне недоброе слово вовсе уж невозможно. Могут не подать руки. По мне и тот, и другой экстремизм одинаково неприемлем. А что касается беллетристов, то их, думаю, принижают именно те писатели, которые сами не в состоянии сочинять занимательно, кто не владеет сюжетом и интригой. Но поскольку история, которую я описываю, не имеет отношения к литературоведению, продолжу рассказ...

Итак, следовало познакомиться с человеком, который беседовал с агентом. Через пятнадцать минут должен был начаться показ нового итальянского фильма, кажется, феллиниевской «Сладкой жизни». Я осознавал, что упустить шанс не имею права. И тут я решился. Я вообще обратил внимание — когда меня загоняют в безвыходное положение, припирают к стенке, я частенько оказываюсь способен на нечто непредвиденное, в том числе и для самого себя. Я подошел сзади к человеку со шрамом и сильно хлопнул его по плечу:

— Здорово, Боб! Сколько лет, сколько зим! Совсем скрылся с моего горизонта! — Я и сам не знал, что произойдет дальше.

Боковым зрением я отметил удивленные глаза писательского куратора. «Боб» повернулся ко мне и смерил меня взглядом.

— Извините, но вы ошиблись! Я не Боб!

Честно говоря, я не знал, настаивать ли мне на том, что он Боб, или признать свою ошибку и попросить прощения. Времени для размышлений практически не было.

— Вы так похожи на Боба, это мой школьный товарищ. Ради всего, извините. У меня неважная память на лица. — И я протянул ему руку. — Горюнов Олег Владимирович. Слышу писателем.

Человек со шрамом пожал мою руку и взглянул на агента.

— Кстати, вас, — обратился я к вербовщику, — я тоже где-то видел. Но не могу припомнить где. Вы не подскажете?

— Я вас вижу впервые, — не моргнув глазом, соврал чекист.

— Вы с «Мосфильма»? — спросил я их, понимая, что отступать мне некуда.

— Нас пригласили, — уклончиво сказал зарубцованный. — Мы не из кино.

— Есть еще четверть часа... Может, хлопнем по рюмашке по поводу знакомства? — Я чувствовал, что остаюсь с носом. — Я угощаю...

Они обменялись взглядами. Они явно не понимали мотивов моей настырности.

— Вы, по-моему, уже хлопнули, — улыбнулся кагэбист.

— Самую малость, — согласился я. — Но не вредно добавить! Кстати, ваш приятель из вашего ведомства? А то у меня есть что вам сообщить.

— Нет, нет, — вдруг быстро сказал тот, ради которого я и затеял весь спектакль. — Я врач. Доктор наук Поплавский Игорь Петрович. Читал ваши повесть и рассказы... Примите мое восхищение...

— Спасибо. Тогда тем более это надо отметить.

Они нехотя подошли вслед за мной к стойке. Я заказал три коньяка и пару плиток шоколада.

— Игорь Петрович и...

— Сергей Иванович, — подсказал свои то ли подлинный, то ли вымышленный имя и отчество недоумевающий шпик. Он пытался понять, ради чего я затеял эскападу, но было видно, что он терялся в догадках.

— Поскольку вы, Игорь Петрович, как я понял, знаете, где служит Сергей Иванович, поэтому я признаюсь при вас. Мне очень стыдно, что я не открыл этого вам при первой нашей встрече. Во Франции, — я понизил голос, — мы всей группой совершили недостойный поступок. Мы коллективно сходили на стриптиз.

Жаль, не было кинокамеры, чтобы передать всю гамму чувств, которые пробежали по лицу моего вербовщика.

— А вы, оказывается, шутник, — проскрипел он.

— А вы не знали? — фамильярно засмеялся я. — Будем знакомы! Ваше здоровье!

Я опрокинул в себя рюмку. Те выпили медленно. Они нутром чувствовали неестественность ситуации, но не могли уразуметь, что мне от них надо.

А у меня в мозгу стучало: врач Поплавский Игорь Петрович, доктор наук. Доктор наук Игорь Петрович Поплавский. Игорь Петрович, врач, Поплавский, доктор наук. Только правда ли все это? Не псевдоним ли? Но большего от моего кавалерийского наскока добиться было невозможно.

— Предлагаю после просмотра пойти в ресторан поужинать, — пригласил я как радушный хозяин. — Угощаю. Гонорар получил.

— Спасибо... Может быть... Увидимся после фильма...

Но после картины я их, конечно, не нашел.

На следующее утро я бросился к ближайшему справочному киоску. Оказалось, что Игорь Петрович Поплавский существует и проживает в Москве. По 09 я узнал и номер его домашнего телефона. Как поступать дальше, я сориентировался не сразу. Потом сообразил. Выяснилось, что я зря не согласился на сотрудничество с органами — во мне погиб сыщик. Я организовал телефонный звонок к нему домой днем, когда скорей всего Поплавский должен был быть на службе. Звонила моя первая жена. Я проинструктировал ее: если подойдет мужчина, то надо положить трубку. Если же в трубке раздастся женский голос, то следует представиться, сказать, что Поплавским интересуются из «Медицинской газеты», и, если ответят, что Игорь Петрович на работе, попросить номер служебного телефона. Так я получил рабочий телефон человека со шрамом. Следующий шаг — предстояло узнать по номеру, в каком же именно учреждении работает Поплавский. Филер я был доморощенный, и этот, казалось бы, несложный поиск поставил меня в тупик. Ну, не листать же телефонный справочник, сверяя цифры, как в займе. В общем, не стану утомлять подробностями, но в конце концов справился я и с этой задачей. Оказалось, что Игорь Петрович заведует лабораторией в Институте вирусологии Академии медицинских наук, что он действительно доктор медицинских наук и, больше того, лауреат Государственной премии СССР. Я узнал, что у него немало научных трудов, что он преподает в 1-м медицинском и намерен баллотироваться в члены-корреспонденты медицинской академии...

Так рухнула моя гипотеза, подозрение, версия, называйте, как хотите. Тогда соседом отца по купе был другой человек с широким синим рубцом на щеке, а не врач, ученый, доктор наук, лауреат, почти академик. Но как найти ТОГО среди двухсот пятидесяти миллионов, признаюсь, не представлял. Да и, честно говоря, я не жил только этой проблемой. Это сейчас кажется, что я был поглощен исключительно розыском предполагаемого убийцы. Я ведь тогда и не был до конца уверен в том, что отца уничтожили. Колебался и туда, и сюда... Жизнь неслась... Я много работал... Почти по каждой моей повести, практически по каждому рассказу снимался фильм или для кино, или для телевидения. Именно благодаря кинематографу я смог, поднатужившись, купить пришедшую в упадок дачу в писательском поселке у пришедшей в упадок вдовы классика социалистического реализма. Но поскольку речь идет о судьбе отца, перенесем еще годика на два-три вперед. По моему рассказу «Уроки немецкого» на Валдае снимали фильм для телевидения. Режиссер пригласил меня на недельку посидеть на съемках,

помочь найти стилистику картины, переписать заново одну из ключевых сцен, к которой у него были претензии. Я охотно согласился, тем более что актриса, которую выбрали на героиню, мне очень нравилась, и у меня мелькали по этому поводу весьма радужные мысли. Надо было ехать поездом до Бологого, а там меня встречал микроавтобус съемочной группы. Я много раз проезжал мимо этой станции во сне — поезда в Ленинград и обратно останавливались здесь около четырех утра. И лишь раз я приезжал сюда специально, за телом отца. Обычно в таких случаях мыкаются — надо раздобыть цинковый гроб, преодолеть немислимые сложности с отправкой гроба, организовать оформление всяческих документов, но в тот раз меня поразила высокая организованность дела. Просто я тогда не подозревал, что конвейер транспортных покойников был привычен и отлажен...

Я провел несколько дней на съемках, помог режиссеру. Жили мы в Доме колхозника в райцентре, где для меня, постановщика и исполнителей главных ролей организовали по отдельной комнате, естественно, без удобств. Кое-кто поселился в частных избах. Со жратвой тоже обстояло неважно, хотя администрация группы билась изо всех сил. После каждого обеда, напоминавшего войну и эвакуацию, режиссер говорил одну и ту же фразу:

— ОНИ утверждают, что бытие определяет сознание. Так вот, как ОНИ нас кормят, так мы им и снимаем...

Через несколько дней я отправился восвояси. С актрисой ничего не вышло. Место, на которое я целил, было уже занято оператором фильма. Роман с оператором, впрочем, не мешал исполнительнице играть хорошо. А, может, наоборот, помогал. Ибо рассказ был написан именно о любви.

Меня снова привезли в Бологое. И я снова погрузился в воспоминания. Вдруг я подумал — в нашей бумажной стране, где документ важнее человека, не может быть такого, чтобы не осталось какой-нибудь записи в каком-нибудь гроссбухе. Я решил дожидаться утра, сдал билет и прокемарил в зале ожидания. Впервые я видел, как спнут поезд между Москвой и Ленинградом, не из окна вагона.

Утром я пошел к начальнику станции. Я поинтересовался, не ведут ли они ежедневный журнал, служебный дневник того, что происходит на станции. Оказалось — ведут, и дежурный, сменяясь, передает его следующему дежурному. Но события, происшедшие с пассажирами, — заболел, обворовали, отстал от поезда, потерял багаж, умер, если только не попал под поезд, — не заносятся. Надо идти в железнодорожную милицию или больницу. Милицкий капитан, когда я объяснил ему свою просьбу, отнесся ко мне, как водится, недоверчиво. Я показал ему членский билет Союза писателей, водительские права, паспорт, удостоверение, разрешающее мне входить на киностудию, и еще что-то. И только тогда, крайне неохотно, он допустил меня в чулан, где валялись старые амбарные книги, в которых записывались милицмейские протоколы и прочие сведения. Для порядка он приставил ко мне милиционера. Предстояла еще та работка. От пыли, грязи и паутины я регулярно чихал. Я листал пожелтевшие, местами некогда подмокшие и кое-где обгрызенные крысами страницы. Передо мной предстал чудовищный парад русской безграмотности, такой, что порой невозможно было докопаться до смысла. Разумеется, амбарные фолианты не были разложены по годам, иногда трудно было различить дату. То, что я читал, оказалось, по сути, своеобразной фотографией, достоверной фиксацией последних лет сталинского режима. Это был слепок, сделанный с реальной жизни провинциальной железнодорожной станции тех лет. Редкий день проходил без происшествий.

Убийства, несчастные случаи, пьянки, поножовщина, изнасилования, драки, воровство, растраты, грабежи. Но я искал регистрацию смертей в поездах. Их тоже оказалось немало — выбросили на ходу из поезда, зарезали по пьянке, самоубийства. Но я искал другое. Мы сделали с моим охранником перерыв на обед, я покормил его и себя какой-то необъяснимой бурдой в пристанционной столовке. А потом мы снова вернулись в чулан. Я устал, но чувствовал себя как ищейка, когда след становится все более и более свежим. Наконец я наткнулся на запись, которую жаждал найти. Запись была от 13 февраля 1952 года. «Пасс-р ск. поезд № 2 Горюнов Вл. Ив., 1902 г. р. Смерть в поезде. Мед. закл.: инфаркт миокарды. 15 февр. труп отпр. Моск.». Ничего нового, кроме того, как пишется слово «миокарды», найти не удалось. Правда, за 52-й год я обнаружил еще 9 смертей с аналогичными записями, а за 51-й год — 19. Предположить, что все эти смерти оказались ненасильственными, было трудновато. На всякий случай я переписал все фамилии и имена-отчества погибших в записную книжку. Кто-то из родных настаивал тогда на проведении вскрытия, но мать категорически отказалась. Она, да и я, безоговорочно верили медицинской справке. Делать вскрытие казалось нам в те горькие дни бессмысленным издевательством над близким человеком...

В общем, я примирился с тем, что так и не узнаю тайны. Прошло еще много лет, наверное, около двадцати, пока я снова не проявил детективного интереса к этой загадочной истории. Недавно, уже в горбачевское время, в газете «Московские новости» появился материал — документы из следственного дела Берии. Вот несколько цитат:

«Лист 69»

«...Изыскивая способы применения различных ядов для совершения тайных убийств, Берия издал распоряжение об организации совершенно секретной лаборатории, в которой действия ядов изучались на осужденных к высшей мере уголовного наказания...»

«...Майрановский вместе с работавшими у него врачами и лаборантами производили умерщвления арестованных путем введения в организм различных ядов... через пищу, путем укола тростью или шприцем...»

(Особая папка)

«Лист 70»

«...При производстве таких опытов в секретной лаборатории было умерщвлено не менее 150 осужденных...»

(Особая папка)

«Лист 71»

«...Майрановский показал: «...Кто были эти лица, я не могу назвать, так как мне не называли их, а разъясняли, что это враги и подлежат уничтожению. Задания об этом я получал от Л. П. Берии, В. Н. Меркулова и Судоплатова... Мне никогда не говорилось, за что то или иное лицо должно быть умерщвлено, и даже не называлась фамилия... Я не могу точно назвать, сколько лиц мною было умерщвлено, но это несколько десятков человек... Да, для меня достаточно было указания Берии, Меркулова. Я не входил в обсуждение этих указаний и безоговорочно выполнял их...»

(Особая папка)

«Лист 72»

«...Майрановскому была присвоена ученая степень доктора медицинских наук...»

(Особая папка)

Можно представить, с каким интересом я все это прочитал. Егор Яковлев, редактор «Московских ново-

стей», был моим старинным приятелем. Лет двадцать назад, когда он придумал и начал издавать журнал «Журналист», он сделал попытку опубликовать еще одну мою «нежелательную» повесть, которую отвергло несколько периодических изданий. Были уже гранки, верстка, но до публикации не дошло. Цензура не дремала и выдрала повесть на последнем этапе. Тот номер «Журналиста» был очень худеньким. Гранки где-то лежат у меня в архиве, но сам я уже их никогда не найду. В том, где что лежит, разбиралась только Оксана. В наше смутное время я регулярно печатался у Егора в его по-настоящему превосходной газете. К сожалению, больше того, что содержалось в публикации, в редакции никто не знал. У Егора была вертушка, и он помог мне, как говорили бюрократы, «выйти» на генерала КГБ, в ведении которого находились архив и реабилитационные дела. На следующий день, обехав по площади вокруг обгаженного птицами зловещего монумента «железного Феликса», я припарковался на Пушечной, между «Детским миром» и Центральным Домом работников искусств. Отсюда было недалеко. Не скрою, хотя времена стояли другие, но все равно я ощутил легкий трепет, когда прошел через подъезд, ведущий в «святая святых» грозной, кровавой мясорубки.

Генерал — он был, разумеется, в штатском — оказался не только моим поклонником, но и демократом. Он ратовал за деполитизацию органов, за открытие всех секретных архивов и спецхранов, за публичное покаяние своего ведомства. Был улыбочив, внимателен, угощал чаем и рассказывал антисоветские анекдоты. Я изложил свою просьбу: узнать, не работал ли Игорь Петрович Поплавский, доктор медицинских наук, в секретной лаборатории Майрановского или в каком другом тайном медицинском учреждении их ведомства. Он обещал узнать, записал номер моего домашнего телефона, хотя, думаю, в моем досье он фигурировал. Под конец беседы генерал вытащил из ящика стола две моих книжки — роман и сборник повестей — и попросил сделать дарственные надписи. Я надписал. У меня было две дежурных формулы, впрочем, достаточно сердечных, к которым я прибегал, когда давал автографы незнакомым людям. Почему-то — инстинкт, что ли? — я не очень верил, что генерал сообщит мне правду, и на следующий день, не дожидаясь сведений с Лубянки, отправился в Институт вирусологии, где член-корр. Академии медицинских наук Поплавский по-прежнему заведовал лабораторией. Я заглянул в отдел кадров, но не к начальнику, а в комнату, где сидели две барышни. Отмычкой для меня служило то, что благодаря телевидению население страны знало меня в лицо. Недаром Оксана, когда возникала какая-нибудь щекотливая ситуация, говорила мне:

— Иди, покажи личико!

Я шел и показывал. И сразу же начинались приветствия, похлопыванье по плечу, всякие лестные слова, и все частенько оборачивалось к лучшему. У нас очень добрые люди. При этом они крайне неравнодушны к известности...

Для начала я подарил кадровичкам по небольшой книжке собственных стихов, вышедших в приложении к «Огоньку». Вообще со стихами у меня получилось не так, как у всех. Обычно поэт с возрастом приходит к прозе. Я же начал с прозы и только в пятьдесят лет написал свое первое стихотворение. Потом оно стало песней в картине, которую снимал известнейший режиссер по моему сценарию. А дальше время от времени меня, выражусь-ка я высокопарно, посещала муза Поэзии. К моему стыду, я не помню, как ее зовут. Муза оказалась очень капризной. Иногда она навещала меня часто, порою даже дважды в день, а временами исчезала на два-три месяца, а то и на

полгода. Так что стихи сочинялись нерегулярно, да я и не придавал им значения, — долгое время не публиковал. А потом вдруг набралось их около сотни и в разных журналах появились подборки. Но хотя время было не для стихов, некоторые композиторы сочиняли на них музыку. В результате недавно, к моему изумлению, «Мелодия» выпустила пластинку: я читаю там разные собственные стихи, а разные певцы и артисты поют мои вирши на музыку разных композиторов. Некоторые песни были вполне популярны. Как говорят в Одессе, у меня вышло сразу две пластинки: первая и последняя...

Я пудрил мозги барышням из кадрового отдела, врал, что сочиняю книгу о вирусологах, и поэтому мне надо знать биографии некоторых ученых: мол, как они дошли до жизни такой. Барышни охотно вытаскивали с полок личные дела. Сначала я записал анкетные данные директора института, потом назвал одну известную фамилию и ознакомился с его прошлым, потом настала очередь Поплавского. Девушки его очень хвалили, говорили о внимательности, интеллигентности, мягкости. Я тем временем читал анкету, которую вообще-то они не имели права мне показывать. Год рождения — 1921-й, во время войны — в 1944 году — окончил медицинский институт в Саратове, окончил с отличием и сразу попал на работу в спецполиклинику НКВД, потом МГБ, потом КГБ, откуда перешел в 1954 году в НИИ вирусологии АМН СССР. Докторскую диссертацию защитил совсем молодым, еще в 1952 году, работая в загадочной спецполиклинике. Тогда же был награжден двумя орденами. Интересно, за что? Остальные награды, звания, должности, степени были получены уже на гражданке. Девчата хотели ознакомить меня еще с личными досье молодых ученых, но я неожиданно потерял интерес. Поблагодарив нарушительниц кадровой дисциплины, я смылся, сказав, что говорить о моем визите никому не стоит. Но и сами барышни, как-то отрезвев от эйфории, вызванной встречей с популярной персоной, обещали мне полную тайну. Впрочем, это было в первую очередь в их интересах.

А к вечеру позвонил генерал с Лубянки. Сокрушенным тоном он поведал мне, что Поплавский Игорь Петрович никогда не работал в медицинских организациях правоохранительных органов. Я поблагодарил, извинился, что доставил ему лишние хлопоты, и повесил трубку. Про КГБ мне стало понятно все — своих они не выдавали.

Теперь у меня не было сомнений, кто именно убил отца. Но что я мог сделать? И что я должен был сделать? Пойти и убить Поплавского? Но я не умею. Никогда не пробовал. Да и учиться поздновато. И ненависти за давностью лет не хватало. Подать в суд? Но неясно, примет ли суд такое дело. И потом, ничего не докажешь. Где этот самый проводник? Неизвестно, какие он даст показания, если его удастся разыскать. А КГБ представит официальный ответ — мол, Поплавский у них не работал. Поехать самому и поговорить, пригрозить? Во-первых, противно, да убивец ни в чем и не признается, отопрется. И я буду выглядеть законченным чудаком на букву «м». А тут как раз и подоспела последняя поездка в Ленинград...

Все, столь долго и подробно рассказанное, пролетело в моем сознании за несколько мгновений. Ведь я вспоминал не фразами, следующими друг за другом, не временными периодами, не логическими построениями, а сумбурно и притом символами, знаками, ощущениями, отдельными репликами, вспыхивающими зрительными картинками — все это каруселью крутилось в мозгу. Обрывки, фрагменты, кусочки, лица, времена года переплелись, образуя странный калейдоскоп, где только я один мог воссоздать целое.

— Я бы хотел, чтобы ты поехал со мной, — сказал я.

Олег отодвинул недочитанный журнал:

— Я готов!

Я отыскал свои записи, сделанные в милицейском чулане Бологого, сунул их в карман, и мы вышли на лестничную площадку.

— Рассказать тебе, куда мы едем? — спросил я.

— Я в общих чертах догадываюсь...

Мы потопали вниз. Милиция уехала. Я открыл дверцу «Волги», надел «дворники» — день был пасмурный, промозглый, — и оба Горюновых уселись в автомобиль.

— Карательная экспедиция началась! — весело сказал младший Олег.

Я косо посмотрел на него, не понимая его радости. Я попытался завести двигатель, он проворачивался, но не заводился.

— Что за черт?

Я увидел, что стрелка, показывающая наличие бензина, находится — аж! — за нулем.

— Нет бензина, — сказал молодой двойник.

— Я же перед отъездом залил полный бак, отстоял два часа в очереди...

— У тебя есть замок на бензобаке?

— Нет.

— Ну, и лопух. Значит, отсосали, выкачали. С бензином, как и со всем остальным...

Я выругался, и мы оба вылезли из «Волги». У меня в багажнике была двадцатилитровая канистра с бензином, предусмотрительно наполненная на колонке. Олег перелил горячее в бензобак, и мы выехали со двора. Я включил радио. Последние годы радио в машине и телевизор в квартире работали у меня беспрерывно. Политическая ситуация менялась ежедневно. Пахло военным заговором, переворотом, братоубийственной войной. На глазах наглед бандитизм. Цены взлетали вверх. Жители вооружались, кто чем мог. Злую агрессию излучали глаза каждого. Непрочное балансирование на грани взрыва — такое ощущение не покидало меня последние месяцы. Все это сопровождалось безостановочной говорильней. Депутаты и делегаты всевозможных съездов, конгрессов, конференций соревновались в красноречии, предлагая рецепты вывода страны из хаоса, а страна тем временем катилась к такой-то матери.

— ...Правительство подало в отставку, продержавшись всего неделю... Число забастовщиков в столице перевалило за семьсот тысяч... Правые силы консолидируются: российские коммунисты, КГБ, милиция, армия, общество «Память», патриоты, депутаты из группы «Союз» намерены дать бой демократам, которые все время выясняют, кто именно из них левей и прогрессивней. Самая богатая партия — коммунистическая — прочно удерживает позиции в армии и в войсках госбезопасности... — тараторил комментатор. — Ни один из указов Президента не выполняется. Такое впечатление, что их даже не читают.

Я переключил станцию и услышал знакомый голос одного кинорежиссера, который ставил когда-то фильм по моему пьесе.

— Главное сейчас — сберечь Советский Союз от распада, — говорил талантливый в далеком прошлом постановщик. — Я родился в Советском Союзе и хочу в нем умереть...

— Тогда тебе придется поторопиться, — пробормотал я.

Олег прыснул. Я переключил радио на другую волну. Там вещал командующий крупным военным округом генерал Хромушин, вышедший на политическую авансцену. Генерал говорил темпераментно:

— Нельзя больше допускать анархии — грабежей, забастовок, политической безответственности. Стране

нужен твердый порядок. Время болтовни и пустого прожектерства кончилось. Россия не может копировать Запад. У нее свой исторически предначертанный путь.

— Хромушин — кандидат в диктаторы номер один, — пояснил я.

— Это ты мне говоришь! Я же был под его началом в Афганистане, — сказал Олег. — Напился он там кровушки! И нашей, и афганской.

Голос генерала продолжал:

— Люди должны жить в безопасности, ходить на работу, иметь возможность покупать любые продукты. Страна дошла до точки. Больше терпеть невозможно. Соотечественники! Я призываю вас давать отпор политическим болтунам. Россия для русских! Демократизацию надо вводить силой, и такая сила у нас есть... Да здравствуют Родина, держава, коммунизм!..

Мы проехали мимо колонны штатских, вооруженных топорами. Они шли строем, ими командовал сугубо гражданский человек в очках. На рукаве каждого была повязана черная полоска.

— А это кто такие? — спросил я.

— По-моему, дружина анархо-синдикалистов, — неуверенно ответил младший Олег. — Я начинаю запутываться в этом засратом плюрализме.

Мы проехали мимо митинга правых, где какой-то горлопан орал в мегафон:

— Иностранцы должны жить на специально отведенных для них территориях под контролем вооруженных сил...

— Национал-патриоты — это одни из тех, кто может попытаться свести с тобой счеты, — предположил младший Олег. — Они не любят, когда их обзывают фашистами...

— Давай не будем говорить на эту тему, — попросил я его.

— Прости...

Тут мы врезались в дорожную пробку. Сначала сидели внутри машины, а потом последовали примеру других водителей, которые выползли из автомобилей и, встав на цыпочки, смотрели вперед, пытаясь понять, в чем же заговоздка. Когда мы, двое Горюновых, тоже оседлали с двух сторон мою «Волгу», то сначала услышали приближающийся неистовый рев множества автомобильных клаксонов, сливающихся в могучий звук, а потом увидели, как несколько сот такси медленно и внушительно пересекали поперечную магистраль.

— Вчера милиционер застрелил таксиста, — сказал кто-то из зевак-шоферов. — Просто так. Беспочинно.

— Это демонстрация! Таксисты требуют суда над ментом, боятся, что органы его прикроют, — пояснил другой водитель.

Колонна такси проехала, все разбежалось по машинам, и вскоре пробка рассосалась...

Наконец мы подъехали к НИИ вирусологии. Это было недавно построенное семиэтажное здание — типичный безликий архитектурный убоюдок из бетона и стекла.

— У тебя есть какой-нибудь план? — спросил младший Олег.

Я пожал плечами, ибо и сам не совсем понимал, зачем мы едем и что будем делать с этим самым Поплавским.

Заперев машину, мы вошли в вестибюль. Вахтерша объяснила, что кабинет Поплавского находится на пятом этаже и что — она взглянула на доску с номерами и крючками, куда вешались ключи, — он в институте. Мы ехали в лифте одни, и Олег сказал:

— Ничего там не трогай. Не оставляй отпечатков пальцев.

— А ты? — спросил я.

Он вынул руки из карманов и показал, что он в перчатках. Когда он их успел надеть, я не видел. Мы подошли к комнате 513, и Олег постучал в дверь. Из кабинета раздался мужской голос:

— Одну минуту!

Мы стояли в коридоре и ждали какое-то время. Иногда мимо скользили люди в белых халатах, но они не обращали на нас никакого внимания. Я не знаю, нервничал ли я. Меня как бы вообще не было. Наконец из кабинета выскочила молоденькая сотрудница, тоже в белом халате, и сказала, обращаясь к нам:

— Пожалуйста, Игорь Петрович готов вас принять.

Младший Олег подождал несколько секунд, пока она не отошла, потом ловко вытащил из замочной скважины ключ с биркой и открыл дверь. Я следовал его указанию и ни к чему не прикасался.

Поплавский что-то писал. Не отрываясь от работы, он кивнул нам и, показав на стулья, пригласил:

— Присаживайтесь. Слушаю вас.

Младший Олег тем временем вставил ключ в дверь и запер кабинет изнутри. На щелчок замка Поплавский повернул лицо. Я не видел его около двадцати лет. Передо мной в белом халате за столом сидел крепкий седой старик, лет ему должно было быть, по моим расчетам, около семидесяти. Вся его фигура излучала уверенность в себе, здоровье и привычку к власти. Я увидел синюю отметину на его щеке.

— В чем дело? — сказал Поплавский. — Отоприте дверь! Кто вы такие?

Вместо ответа младший Олег сунул ключ от кабинета к себе в карман. У Поплавского была мгновенная реакция, недаром же его молодость прошла в рядах славной организации, всегда стоящей на страже. Он быстро схватил телефонную трубку и начал четко набирать какой-то номер, но и мой новоявленный дружок, видно, тоже прошел неплохую школу в Афганистане. Сильным движением он дернул телефонный шнур и выдрал его из гнезда. Поплавский рванулся к стеклянному шкафчику с пузырьками и колбами.

— Руки на стол! — приказал младший Олег и вытащил из кармана револьвер.

Я не был уверен — либо это мой газовый, а может, учитывая боевое прошлое Олега, о котором я только что узнал, он сохранил со времен войны настоящее оружие. Игорь Петрович после секундного колебания положил руки ладонями вниз. Мне стало казаться, что я смотрю американский детектив, причем ниже среднего качества. В очень уж несвойственной роли я здесь находился...

— Кто вы? Что случилось? Предъявите документы... неожиданно сорванным фальцетом произнес Поплавский. — Что вы от меня хотите?

— Говори, — кивнул в мою сторону Олег.

— Вы обвиняетесь в том, — преодолевая дурноту, усталым голосом начал я, — что в конце сороковых — начале пятидесятых годов убили несколько десятков человек.

— Вы... Горюнов Олег... — он на секунду замаялся, — ...Владимирович... Кажется, вы писатель?... Что за чушь вы несете?

— Вы под видом пассажира приходили в поезд Москва—Ленинград, и у вас всегда оказывался билет в двухместное купе, — нудно продолжал я. — Каждый раз в Бологом из вашего купе выносили покойника. У меня есть показания проводников и список ваших жертв. Кроме того, известно, что до пятидесят четвертого года вы работали в органах...

— Эта штука посильнее, чем фаллос у Гете, — насмешливо перефразировал известную сталинскую фразу Игорь Петрович. — Какая ерунда! Вы что же, подозреваете, что я их убивал?

— Я могу это доказать! — бесцветно сказал я.

— Ой, не можете, — весело парировал Игорь Петрович.

В это время из коридора кто-то дернул дверь, а потом постучал в нее. Поплавский открыл было рот, но Олег тихо скомандовал:

— Молчать. Если крикнете, убью. Револьвер стреляет бесшумно.

Думаю, насчет бесшумности Олег блефовал, а, впрочем, кто его знает. Поплавский поперхнулся, но не издал ни звука. В дверь постучали еще раз, потом мужской голос сказал:

— Наверное, домой уехал...

В тишине были слышны удаляющиеся шаги.

— Продолжай! — кивнул в мою сторону Олег.

— Я требую, чтобы вы сознались в совершенных вами преступлениях!

Каким-то вторым своим существованием я отметил, что недоволен собой. Профессия, наверное, наложила отпечаток — мне казалось, что я изъясняюсь штампованно и литературно. И как-то неэмоционально.

— Это вам нужно для нового романа? — иронично поинтересовался седой человек со шрамом.

— Не тяните время! — оборвал его Олег. — Признавайтесь. Знаете эту формулировку? Чистосердечное признание...

— Это становится смехотворным. Я ученый... Я не понимаю, что вам от меня надо... Все это какой-то идиотизм! Откройте немедленно дверь. И убирайтесь отсюда!

— Не кричите! — лениво процедил Олег. — Мы все равно вам не верим!

Я показал Поплавскому фотографию отца.

— Эта фотография ничего вам не говорит? 12 февраля 1952 года — в этот день где вы были?

— Ну, это уже анекдот! Откуда я могу помнить, где я был почти сорок лет назад!

Фраза прозвучала убедительно. Я чувствовал, что нахожусь в тупике.

— Я думаю, с ним разговаривать — зря время тратить! — вмешался Олег. — Ты был прав, этот орешек не расколется. Ну, поскольку он убивал без суда и следствия, мы поступим с ним так же.

Я оторопело взглянул на Олега. В его интонации я ощутил определенный профессионализм. В свои молодые годы я, разумеется, не был способен ни на такой тон, ни на нешуточные угрозы. Если он и моя младшая копия, то, конечно, только в физиологическом плане. Психологически мы совсем разные. Конечно, Олег воевал, видел смерть и, может, сам убивал. А я типичный штатский, гражданский, штафирка, как говорили раньше. Мне повезло, я ни одного дня не служил в армии. Но, главное, умудрился родиться в такое время, что проскочил между двумя эпохами — кровавой сталинской и нынешней, которая предвещала недоброе. Пожалуй, кроме мух да комаров, на моей совести нет ни одной жертвы... Однако надо было как-то кончать мучительную для меня встречу с Поплавским. Я не сомневался в собственной правоте, но не мог уловить, что же делать? У меня не существовало никакого опыта в подобных делах.

— Вы работали в лаборатории Майрановского... — Теперь я попытался взять Поплавского на пушку, ибо полной уверенности у меня не было.

— Это вранье! — вдруг вспыхнул Игорь Петрович, как будто я прикоснулся к больному месту. — Ко мне уже приходили по этому поводу. Еще в 1962 году. И я доказал, что не имею отношения к тем убийствам. У меня была своя лаборатория. Мы занимались другими проблемами... Можете проверить, все запротоколировано... И вообще — все это травой поросло... Вы все равно ничего не сможете доказать!

Фраза «Вы все равно ничего не сможете доказать» оказалась явно лишней. Она подтверждала то, что

рыло у него в пуху, вернее, в крови. Произнеся эти слова, Поплавский явно потерял самоконтроль, дал маху... Я бесстрастно — чувства мои находились в каком-то задвленном состоянии, — даже, пожалуй, нудно произнес:

— Хочу предъявить вам несколько десятков фамилий. Это фамилии людей, которых вы уничтожили.

И я принялся зачитывать скорбный список умерщвленных.

— Эти фамилии мне ничего не говорят, — перебил он меня, но я упорно продолжал чтение.

Когда я наконец произнес фамилию отца, он хлопнул себя по лбу:

— Теперь я, наконец, понял. В поезде умер ваш отец. И вы считаете, что я...

— Да, да... Именно так мы и считаем, — подтвердил Олег.

— Дорогой мой, это недоказуемо, — пожал плечами Поплавский.

— А вы, вероятно, сын Олега Владимировича, судя по сходству, и, стало быть, внук...

— Я тебе, падла, сейчас покажу «дорогого», — взбесился Олег.

— Слушай, по-моему, хватит, — обратился он ко мне.

— Неужели ты способен его убить? — изумленно спросил я.

— Да. И буду даже спать лучше обычного. Потому что избавлю мир от гниды.

— У тебя что, действительно бесшумный пистолет? — Этими вопросами я тянул время.

— Не беспокойся. Я сделаю так, что выстрела никто не услышит. Но приговор должен объявить ты. Я лишь исполнитель.

Я отвернулся к балконной двери.

— Ты уверен, что это тот самый? — спросил младший.

Я помедлил с ответом. На душе было тоскливо.

— Да, уверен. Я же его видел тогда.

Я хотел было открыть балконную дверь, но Олег остановил меня:

— Не прикасайся ни к чему.

Внизу среди других машин белела моя «Волга».

— Ну? — поторопил Олег.

— Я никогда никого не убивал, — ответил я.

— Как хочешь, — сказал Олег. — Я знал, что ваше поколение ни на что не способно. Только болтать можете. Мне эта работа тоже не доставляет удовольствия. Предлагаю извиниться и уйти...

Я не видел лица Поплавского, слышал только его шумное, неровное дыхание. Олег ждал от меня одного только слова, но, как выяснилось, произнести его очень трудно.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты его убивал, — медленно обронил я. — Ты — это все равно что я. Но и безнаказанным его оставить невозможно. Я себе этого потом никогда не прощу.

Поплавский молчал. Я по-прежнему смотрел в окно.

— Слушай, писатель, — съехидничал младший Олег, — тогда придумай что-нибудь. Фантазия входит в твое ремесло.

— Пусть он умрет такой же смертью, как и отец, как и другие. От яда... — И хотя эту фразу сказал я, мне почудилось, будто она произнесена кем-то другим.

— Недурная мысль! — ерническим тоном подхватил Олег. — Ты действительно замечательный выдумщик, мастер своего дела! Только придется об этой услуге попросить самого Игоря Петровича. Ему, как говорится, по этой части и карты в руки. Дорогой палач! Окажите, пожалуйста, услугу моему слабонервному партнеру, а заодно и мне. Сделайте одолжение, примите, пожалуйста, сами, без нашей помощи, ка-

кой-нибудь цианистый калий или что-нибудь эдакое, не менее слабое, чтобы результат был летальный...

Тут я не выдержал и повернулся к Поплавскому. По лицу его от страха крупными каплями тек пот. Он, не отрываясь, смотрел мне в глаза.

— Ну, ладно, я устал. Давай закругляйся или я тебя заставлю выпрыгнуть с балкона. Все равно придут к выводу, что ты покончил с собой, — грубо сказал убийце в белом халате Олег.

Сначала меня резануло это фамильярное «ты». Но потом вдруг, без перехода, в глубине души во мне оскалилось что-то хищное. Мне захотелось своими руками задушить эту гадину. Я захрипел, затрясся, изо рта потекла слюна. Я сделал шаг к Поплавскому. Жажда отмщения захлестнула меня. Это был, несомненно, припадок. Я впервые в жизни почувствовал себя готовым к тому, чтобы уничтожить человека, затоптать его ногами. Это был какой-то невероятный всплеск жестокости, насилия, желания убивать.

— Я тебя сам уничтожу! — прошевелил я губами. И с трясущимся от ярости лицом пошел на Поплавского.

И тут произошло неожиданное. Видно, под влиянием моего ненавидящего взгляда, убежденный, что я примусь его душить, приговоренный, поняв, что пощады не будет, вынул из стеклянного шкафа какой-то пузырек, поднес к губам и сказал:

— Единственное, о чем я жалею, — что мало вас истребил!

Затем последовали матерные слова, которые незачем приводить, ибо их и так все знают.

И Поплавский залпом выпил содержимое. На губах смертника показалась пена, черты лица его исказились, и он медленно сполз на пол. Несколько судорог тела, и все было кончено. На лице появилась легкая синюшность. У меня опять возникло ощущение, что я не только участник, но и зритель посредственного зарубежного детектива.

Я на ватных ногах направился к двери. Олег на секунду склонился над мертвецом и последовал за мной. Мы вышли в коридор. По счастью, никто нас не видел. Олег — его хладнокровие потрясло меня — запер дверь снаружи на ключ и забрал ключ с собой. Когда спускались на лифте, я прятал от Олега свое лицо.

Я видел смерть много раз. На моих руках умерла мать. Я вынимал из петли труп своего приятеля — поэта и сценариста, покончившего с собой в Доме творчества в Переделкино. Больше того, я почти три года работал на «Скорой помощи» и насмотрелся мертвецов предостаточно: и убитых, и самоубийц, и умерших от болезни, и задавленных машиной. Но все это было что-то другое. Там я всегда пытался спасти человека, а тут... А я ведь по первой своей профессии все-таки врач, клятва Гиппократ и всякие прочие заповеди...

— Слушай, я не понимаю, почему он не закричал? — спросил я вдруг у соучастника. — Ведь сейчас день, институт набит сотруidниками...

— Он ведь профессиональный убийца. Он понимал, что я его прищиплю, прежде чем он закончит орать первое слово.

— А ты бы действительно это сделал?

— Господи, какой ты хлюпик!.. А насчет яда — это ты лихо придумал...

Я долго не мог открыть дверь «Волги», автомобильный ключ не попадал в прорезь. Меня колотил озноб.

— Убивать человека, даже мразь, преступника, сволочь, особенно с не привычки, — тяжеленное дело, — усмехнулся Олег. — Во второй раз небось будет полегче... — Он увидел, как меня трясло. — Давай, я пове-
ду...

Я согласно кивнул и передал ему автомобильные

ключи. Олег сел на водительское место. И вдруг меня начало рвать. Я зашел за багажник машины, склонился и блевал. Меня выворачивало наизнанку. Олег терпеливо ждал. Потом я упал на пассажирское сиденье, и мы помчались домой. По дороге Олег выбросил ключ от кабинета Поплавского в Москву-реку. Во мне была какая-то разрушительная пустота, как в прямом, так и в переносном смысле. Не помню, как я взобрался к себе, на седьмой этаж... Не помню, что было потом. Кажется, я повалился на тахту. Олег давал мне что-то успокоительное. Я послушно пил капли, но лучше мне не становилось. Вдруг раздался телефонный звонок. Трубку снял Олег.

— Тебя...

Я слабой рукой поднес телефонную трубку к уху и услышал следующее:

— Добрый день, Олег Владимирович, было очень приятно познакомиться. Это Поплавский. Да-да, Игорь Петрович. Он самый. Воскрес из мертвых, как Христос. Я принял безвреднейший препарат, остальное, как говорится, было делом техники. Знаете, в любой специальности нужно владеть профессией, а вы и ваш отпрыск оказались дилетантами. Эта любительщина вам дорого обойдется. В общем, теперь я ваш должник. Ждите, должок возвращу в самом скором времени... — И Поплавский повесил трубку.

Когда-то, не помню уж точно когда, на свет я родился зачем-то...
Ответить не смог, хоть промчались года, на уйму вопросов заветных.

Зачем-то на землю ложится туман — все зыбко, размыто, нечетко...
Неверные тени, какой-то обман, и дождик бормочет о чем-то.

О чем он хлопочет? Что хочет сказать?
Иль в страшных грехах повиниться?
Боюсь, не придется об этом узнать, придется с незнанием смириться...

От звука, который никто не издал, доходит какое-то эхо...

О чем-то скрипит и старуха изба, ровесница страшного века.

И ночь для чего-то сменяется днем, куда-то несутся минуты.
Зачем-то разрушен родительский дом, и сердце болит почему-то.

О чем-то кричат меж собою грачи, земля проливает под ними...
А я все пытаюсь припомнить в ночи какое-то женское имя.

Зачем-то бежит по течению вода, зачем-то листва опадает...
И жизнь утекает куда-то... Куда?
Куда и зачем утекает?

Кончается всё. Видно, я не пойму загадок, что мучают с детства...
И эти «куда-то», «о чем-то», «к чему» я вам оставляю в наследство.

Глава третья

Плата за жизнь — это факт самой жизни, то, что ты возник в природе и существуешь. И как бы ни была непомерна цена, жизнь все равно дороже. Обидным было не то, что я должен умереть, не успев еще чего-то написать. Это муча! Все, созданное писателем, не отражает и сотой доли прожитого им. Но со смертью исчезает существо, которое уносит с собой все то единственное, уникальное, присущее только ему. Первый поцелуй был у каждого, но у каждого по-разному. Девушка становилась женщиной, а мальчик мужчиной, но у всех это происходило не так, как у другого

или другой и не с тем или не с той. Да, конечно, никому из живущих не избежать одинакового, похожего, из чего, собственно, и состоит человеческое житие: и любовь, и потеря близких, и дружба, и измена, и работа, и предательство, и карьера, и постыдные тайны, и грешные мысли, и знания, и невежество, и нежность, и агрессия, но у каждого экземпляра все это сочетается в разных мере и степени, в иных обстоятельствах и условиях. Ты никогда не сможешь возникнуть снова в тех же пропорциях добра и зла, с идентичной внешностью, с таким же характером, аналогичным мышлением и адекватными привычками. Отдельные качества могут совпасть, но точно такой же особи появиться не может. Кто сказал — «незаменимых нет»? Незаменим всякий человек, ибо он неподражаем...

Вот уж не думал, что в таком состоянии я смогу уснуть. Однако стресс, вызванный убийством, вернее, по счастью, неудачной попыткой убийства, образовал в организме какой-то физиологический вакуум. Полузабытые, разброд мысли постепенно перешли в сон, и я отключился минут на сорок — пятьдесят. Когда я открыл глаза, то почувствовал себя освеженным. После сна сознание постепенно возвращалось ко мне, и идиотский детектив с Поплавским, а главное, его бессмысленный результат, казалось, случились давным-давно, в какой-то иной, бывшей ранее жизни. Или скорей всего этого и не происходило вовсе. Видно, померещилась, приснилась эдакая нечисть. Но тут мой взгляд уперся в спину двойника. Он не знал, что я проснулся. Со страшной скоростью все сегодняшние события открутились обратно, и я осознал, что встреча с Поплавским не мираж, не кошмарное сновидение, а кошмарная реальность. Пусть странная, пусть необычная для меня, но была! Я лежал тихо и не подавал признаков жизни. Олег смотрел по «видяшнику» касету, которую я снимал в Париже два года назад.

Мы с Оксаной приехали по приглашению знакомых французов, которые предоставили нам свою квартиру. Француз — корреспондент агентства «Франс Пресс» — в это время жил с семьей в Москве, и его трехкомнатные апартаменты на бульваре Тамплъ пустовали. Мне приходилось и раньше бывать в этом городишке, а Оксана приехала в Париж впервые. Честно говоря, я поездку затеял из-за нее — хотелось показать ей умопомрачительную красоту. Мы шатались по улицам, бульварам, музеям, магазинам. Не обошлось, разумеется, и без подъема на Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Мы катались на пароходике по Сене. Знакомые эмигранты, наши из по-сольской колонии и приятели-французы возили нас в Версаль, Довиль и Руан, на русское кладбище Сен-Женевьев де Буа. С большим трудом мы отыскивали два дома в Ментоне, столичном пригороде, где жила в эмиграции Марина Цветаева. Денег практически не было, и мы исколесили весь Париж на метро, купив месячные абонементы — «карт д'оранж», — вроде наших единых билетов. Стыдно признаться, но парижское метро я знаю лучше московского: дома езжу на автомобиле. Вообще это была студенческая, нищенская, беспечная, счастливая жизнь в сказочном городе, который каждый русский любит еще до того, как увидит его наяву. Мы изрядно ходили пешком. Непривычные к ходьбе ноги гудели и ныли. Ели мы что-то самое дешевое с уличных лотков или в плебейских забегаловках. Из привезенных консервов (один чемадан состоял только из консервных банок!) Оксана готовила обед, а я бегал с авоськой в демократический супермаркет, где, пересчитывая каждый сантиметр, покупал овощи, йогурт, минералку и прочее, что тяжело было волоочь из России. Я пер авоську из супермаркета и наслаждался ощущением, что тебя в этом городе никто не знает. Это была восхитительная ано-

нимность! Днем мы делали антракт, валялись, давая отдых натруженным ногам, читали всякую антисоветчину, которую теперь печатают все наши журналы. И, главное, каждый день любили друг друга. Это был какой-то прощальный медовый месяц. То ли очарование города действовало на нас, то ли отсутствие дел, забот и хлопот, то ли инстинкт — какое-то подсудное чутье, предсказывавшее, что скоро всему конец! Через полгода после возвращения из Франции Оксаны не стало.

Я лежал на диване и смотрел на телевизионный экран, где мелькало любимое лицо. В моих дилетантских съемках участвовала одна главная героиня — моя жена, которую я обожаю. А декорацией служил неповторимый Парижск, как называл его Высоцкий. В это время я увлекся очередной игрушкой для взрослых — видеокамерой. Я таскал ее повсюду и снимал все без разбору, по известному принципу: «Что вижу, то пою!» Если вдуматься, мы были самыми ordinарными, можно даже сказать, вульгарными туристами, каких до нас в бессмертном городе побывало сотни миллионов. Просто для нас, вероятно, Париж был более сильным впечатлением, нежели для свободных западных обитателей, ибо мы приехали из огромного, нищего и бесправного концлагеря, где ничего нет и где живет около трехсот миллионов заключенных.

В поле зрения моей любительской камеры попали, конечно, и Люксембургский сад, и Монмартр, и лавки букинистов на Сене, и центр Помпиду с представлениями на площади перед зданием, и музей Родена, и Собор Парижской богородицы, и статуя Свободы, увеличенную копию которой Франция подарила Америке, — в общем, весь туристский набор. Но, главное, почти в каждом кадре присутствовала Оксана. Когда она видела, что объектив нацелен на нее, она тут же, глядя в камеру, начинала прихорашиваться и спрашивала с кокетливой улыбкой:

— Это ты меня снимаешь?

А я нежно грубил ей:

— Дура, кто же зырит в объектив. Ты же все-таки жена сценариста. Да и грим поправляют перед съемкой, а не тогда, когда крутится пленка.

В этой безденежной, но замечательной жизни случались у нас и материальные взлеты. Например, издатель моей книги устроил в нашу честь роскошный обед в дорогом корабле-ресторане, плавающем по Сене. Как говорил в таких случаях один мой приятель, француз гулял нас под «большое декольте». К сожалению, книжку издатель выпустил несколько лет назад, и от тех денег давно ничего не осталось. Когда в посольстве узнали, что я приехал с частным визитом, то попросили выступить перед советской колонией. Я, разумеется, выступил и, конечно, как всегда, «намолол» немало лишнего. Но в свое время, лет, наверное, двадцать пять назад, я сказал себе, что если вылезает на сцену, трибуну или телевизионный экран, то буду говорить только то, что думаю. От этой собственной установки я перенес немало неприятностей, но меняться было поздно. После так называемой творческой встречи в резиденции посла — роскошном, в позолоте дворце XVIII века, принадлежавшем когда-то знаменитой герцогской фамилии, — состоялся ужин. Посол с женой пригласили, помимо нас, еще и советника по культуре, тоже с супругой. Во время ужина я сцепился с хозяином, руки которого были исколоты низкопробными татуировками, но не это послужило причиной конфликта. Не помню точно, как возник спор с послом, скорее всего во время встречи я бабахнул что-то неслестное о Павлике Морозове и о том, что предателя собственного отца сделали примером для подражания и на его доблестном поступке воспитывали не одно поколение иуд. Во время ужина посол, бывший секретарь уральского обкома, — а Павлик оказался родом

из тех мест — вступился за честь земляка-пионера, пел дифирамбы его героизму и что-то рассказывал о музее юного ленинца, который посол в свое время не то открывал, не то организовывал. Я взбесился и понес такое, чего коммунистические уши посла в прямой беседе никогда не слыхивали. Оксана с трудом погасила начавшийся скандал. Ужин закончился в молчании.

На экране телевизора появился «Улей» — дом-ротонда в Монпарнасе, состоящий из мастерских художников. Построенный в начале века, он давал пристанище многим нищим живописцам, которых иногда там и подкармливали. Здесь жила и Шагал, и Леже, и Сутин, и Цадкин, часто бывал Модильяни. Мы постучали тогда наобум в какую-то мастерскую и провели полчаса у симпатичного художника. Всю нашу болтовню, его полотна, детали быта, вид из окна я снял на пленку. Он показал нам приглашение на выставку русского лубка, и потом мы встретились с этим гостеприимным французом на русском вернисаже.

В «Улей» нас привезли художники-эмигранты, участники знаменитой бульдозерной выставки. Они отнесли к нам с нежностью и даже дарили свои работы. Жаль, что уже не было в живых трогательного Вики Некрасова, с которым я был до его изгнания знаком только шапочно и хотел сблизиться покрепче. Но опоздал. Некрасов — лауреат Сталинской премии за книгу «В окопах Сталинграда» — лежал на русской части кладбища Сен-Женевьев де Буа в какой-то коммунальной могиле вместе с не ведомым никому и, вероятнее всего, ему в том числе, эмигрантом. Я постоял у могилы Бунина и наведалься к надгробию своего друга Александра Галича.

Кстати, наш роман с Оксаной начался зимой в Малеевке, когда там жил и Галич. Каждый вечер после ужина мы собирались вместе, обычно у него в номере. Он многу пел и не меньше пил, мы трепались о том о сем, а потом Оксана и я уходили либо в ее комнату, либо в мою, и ничего прекраснее, чем те ночи, не было в моей жизни. На телевизионном экране Оксана наклонилась над роскошной черной мраморной плитой и положила несколько цветочков. Таких пышных надгробий у нас в Союзе достаиваются обычно генералы и маршалы. Рядом с простым скромным крестом на могиле великого Бунина памятник Галичу огорчал неуместным отечественным размахом. И действительно, масштабная плита была делом рук редактора «Континента», который, выпуская антикоммунистический журнал, не мог тем не менее отрешиться от всего того, что его воспитало. И единственное, что отличало Сашину могилу от советской, — текст из Библии: «Блажени изгнани правды ради».

Мы прошли по тихому кладбищу, где у входа белела маленькая, уютная русская церковь. Под крестами, плитами и памятниками лежали есаулы и бароны, поручики и графы, ротмистры и потомственные дворяне. Были и коллективные памятники — врангелям, дроздовцам, денкиным. Я подумал, что все эти люди не ведомы никому на Родине, забыты, выброшены из нашей истории. И еще я с болью в сердце отметил, что более злопамятного и бесчеловечного строя, чем наш, в котором мне довелось прожить все свои годы, наверное, не было никогда в истории. Даже через семьдесят лет после братоубийственной войны наше общество оказалось не в состоянии простить тех, которые тоже любили Отечество, но не так, как большевики. Кстати, большевики-то разорили страну, нанесли ей урон, с которым не может сравниться никакая чужеземная оккупация. А эти самые белогвардейцы, что лежат под Парижем, оказались наказаны самым страшным образом — потерей Родины, смертью на чужбине и полным забвением со стороны соотечественников...

Глядя на снятые мною кадры, я еще раз проживал нашу чудесную поездку, все те мысли, настроения, чувства, к которым примешивались сейчас отчаяние и горечь оттого, что некому было сказать: «А помнишь?..»

Тут я заставил себя отвлечься от экрана и постарался вернуться в сегодняшний невеселый день. Двойник продолжал смотреть видеопленку, не подозревая о моем пробуждении. Я потянулся, намереваясь подняться с дивана, и вдруг почувствовал в себе... даже не знаю, как выразиться... определенные мужские амбиции. Хотя сейчас принято выражаться грубо, точно и называть вещи своими именами, мне кажется, в этом есть что-то недостойное русской литературы. Может, я консерватор, пуританин, старомодный обыватель, но отнюдь не ханжа. Кроме того, отношусь к себе, естественно, с достаточным уважением, поэтому, думаю, лучше недосказать, чем впасть в пошлость...

Признаться, такие мужские ощущения, не спровоцированные женским присутствием, посещали меня в последние месяцы не так уж часто, не то что в прежние годы. Этому, наверное, было немало причин: и возраст, и смерть жены, и «первый звонок», случившийся три года назад, когда в результате высокого давления прекратилась подача крови к ушному нерву, и я оглох на одно ухо. Это был своего рода микроинсульт, поразивший, по счастью, не мозг, а ухо. Поэтому, когда в организме призывно звучали — выразимся красиво — эротические трубы, я воспринимал это с чувством глубокого удовлетворения. Значит, еще не все потеряно! Значит, я, черт подери, еще мужчина! Значит, я еще, опять-таки черт подери, живу! Я еще способен, трижды черт подери, на это самое! И тут я вспомнил строчки Пастернака, которые только сейчас осмыслил во всей их глубине:

Смягчи последней лаской женскою

Мне горечь рокового часа!..

Роковой час, между прочим, был на подходе. А с женской лаской дело обстояло далеко не лучшим образом... Я оборвал свой внутренний монолог и сел на тахте.

Олег повернулся ко мне:

— Ну, ты как?

— Для умирающего — замечательно! — сказал я, подошел к столу и взял лист со списком.

У меня была привычка — накануне вечером составлять список дел на завтра. Обычно дел бывало очень много, и я боялся что-нибудь позабыть или упустить. В этих списках соседствовали важные вещи с пустяковыми, но благодаря «поминальнику» я успевал многое сделать.

Например, записи могли чередоваться в такой последовательности:

- 1) Зубной врач в 9 часов.
 - 2) Съемка на телевидении. 10 часов 30 минут. Студия № 6.
 - 3) Купить творог, кефир и хлеб.
 - 4) Взять костюм из чистки.
 - 5) «Мосфильм» — посмотреть материал. Зал № 10.
 - 3 часа.
 - 6) Аптека — купить снотворное.
 - 7) Заехать в гастроном на «Восстания» за заказом после 5 часов.
 - 8) Лекция на литературных курсах. В 1 час дня.
 - 9) Интервью американцу в 17 часов, в Союзе.
 - 10) Подкачать колеса у машины.
 - 11) Встреча с читателями в 20 час.
 - 12) День рождения Васи — купить подарок и цветы.
- (После встречи.)

Случались и иные сочетания. Скажем, починка автомобиля на станции технического обслуживания, визит в Моссовет или на телефонную станцию — выбивать кому-то из писателей, артистов, кинорботников

квартиру или телефон. После того как я стал вести телевизионную передачу и меня знала в лицо каждая собака, в том числе и руководящая, количество просьб такого рода — достать лекарство, положить в больницу, похоронить на близком кладбище — увеличилось. И собственных дел хватало. Скажем, нужно было встретиться с директором издательства, которого требовалось убедить в необходимости публикации моей книги; или же забрать белье из прачечной, а ботинки — из ремонта; могла состояться встреча с писателем из провинции, который настырно сумел мне всучить свою рукопись, а теперь ждал отзыва, или же свидание с сантехником, ибо потекла труба, заливая нижних соседей. Могли пригласить на заседание какой-нибудь бесполезной писательской комиссии, на премьеру в театр, на юбилей, где предстояло выступить с поздравлениями, или же на прием в посольство. А еще родственники, которым все время от меня было что-то нужно. И так далее и тому подобное. Когда я думал о том, сколько километров я наезжал в день по городу, то сам не понимал, когда же успеваю писать...

Так вот на листочке, который я взял со стола, было написано:

ДЕЛА ПОСЛЕ ЛЕНИНГРАДА

1. СДЕЛАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ «ВОЛГЕ».

Ну, это пусть теперь дочь делает, поскольку машина отказана ей.

2. В ПОНЕДЕЛЬНИК В 4 ЧАСА СУД С ГЕНЕРАЛОМ.

Хрен с ним, со старым маразматиком. Доверенность адвокату отдана, могу и не приходить. Хотя, честно говоря, я был бы не прочь обзреть это военное мурло, обвинившее меня в дезертирстве с фронта, и выслушать его извинения. А в том, что старый пердила извинится, у меня сомнений не было. Ибо когда кончилась война, мне еще не стукнуло семнадцати.

3. ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ В ЛОНДОН.

Перебьется, у меня уважительная причина — помер. Жаль, конечно, что не увижу английского издания. Впрочем, я много чего не увижу.

4. ДОГОВОРИТЬСЯ С КРОВЕЛЬЩИКАМИ О РЕМОНТЕ КРЫШИ НА ДАЧЕ, А ТО ВО ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ ПРОТЕКАЕТ.

Пусть договаривается Детский фонд. Я не хотел, чтобы в нашем с Оксаной доме жил кто-нибудь, поэтому завещал дачу детскому дому. Тем более что и у дочери, и у пасынка имелись загородные строения.

5. СЪЕЗДИТЬ В ЛАВКУ ПИСАТЕЛЕЙ.

Я вон какое огромное количество книг не успел прочитать, на фиг мне еще новые, которые я даже не перелистаю...

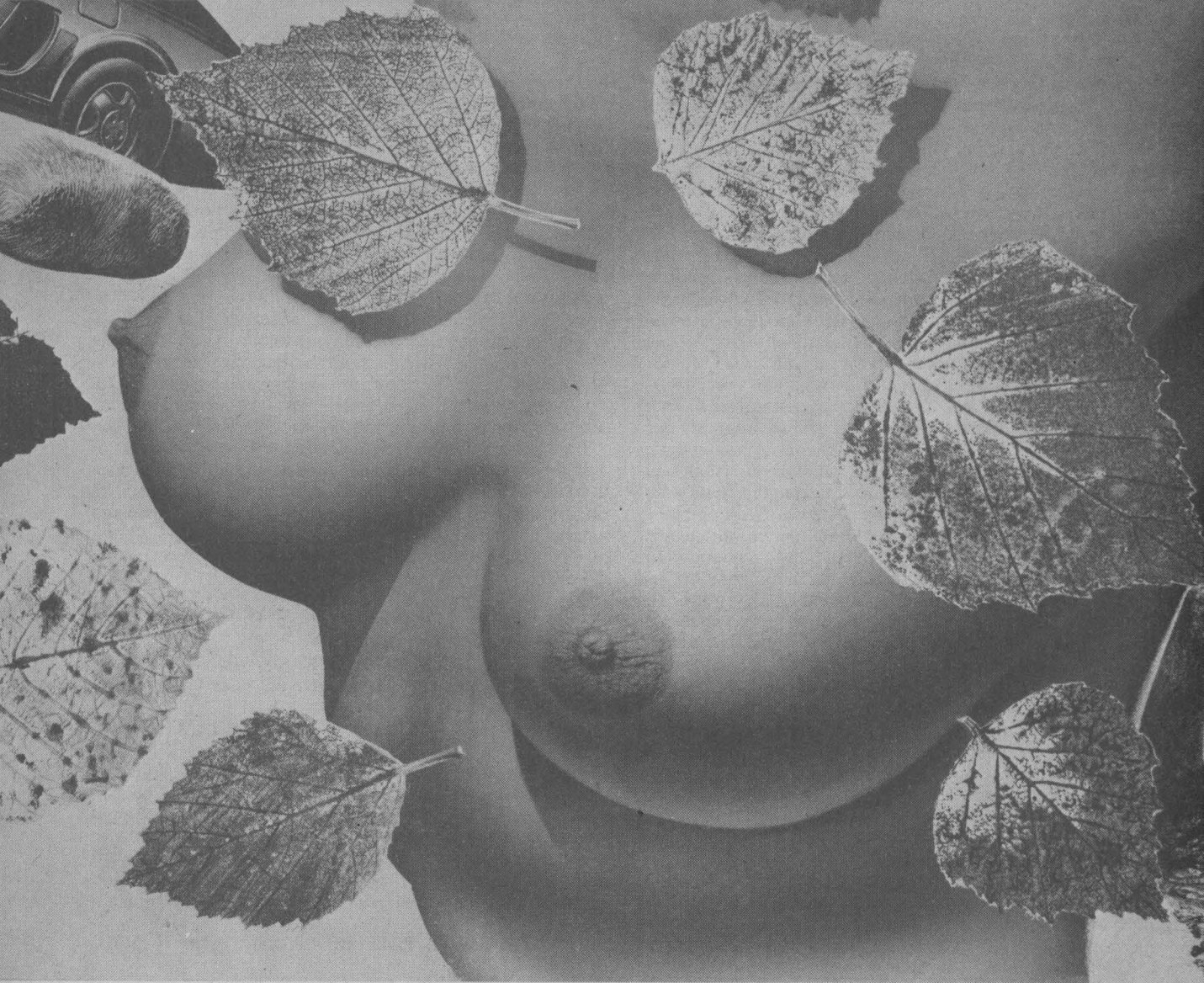
6. КУПИТЬ ЖРАТВУ.

Тут я задумался. Вообще-то последний пункт в наши дни осуществить совсем не просто. Но если я намереваюсь устроить собственные поминки, то, пожалуй, его надо выполнить. Негоже звать гостей на прощальную пирушку и не угостить их до отвалу. Кстати, надо обзвонить, пригласить...

В списке имелись еще кое-какие пункты. Но все остальные отмеченные мной дела и события, предполагалось, произойдут в середине недели и, следовательно, меня уже не касались. Хотя, не скрою, на некоторых мероприятиях я хотел бы побывать.

— Я изучил список твоих дел, — сказал младший Горюнов, выключая видеоманитофон. — Чем займешься сейчас?

— Думаю, надо пригласить друзей на ужин, — отве-



тил я. — А потом я хочу заехать на кладбище. После поедем за продуктами.

— У тебя есть какой-нибудь блат? — поинтересовался Олег. — А то ведь ни черта не купишь.

— Обижаешь, начальник, — сказал я. — Как же у нас можно прожить без блата? У меня есть больше, чем блат. У меня имеется меценат — директор «Гастронома». Раньше меценаты посылали на свои деньги художников и певцов в Италию учиться, а сейчас меценатство приняло иные формы. Если вдуматься, довольно-таки уродливые. Ради того, чтобы сказать своим друзьям, к примеру: «Ко мне вчера Мишка Ульянов приходил или Генка Хазанов», директор снабжает кое-кого из популярной братии дефицитом. И при этом ничего лишнего сверх цены не требует. — Сверх он берет с других, непопулярных.

— А тебе не стыдно этим пользоваться? — ехидно спросил двойник. — Ты же у нас прогрессивный. Слышь вещь совестью.

— Очень стыдно, — покладисто согласился я. — Но хочется кушать. Я только вид напускаю, что принципиальный. А вообще-то только и делаю, что поступаюсь принципами.

— А что это за суд с генералом? — спросил Олег.

— Пока я буду обзванивать друзей, ты можешь познакомиться с кипой доносов от наших славных вояк... Слушай, а ты только мои мысли можешь читать? Что было в башке у Поплавского, ты не догадывался?

Я порывлся в письменном столе и достал большой

конверт, на котором почерком Оксаны было написано:

«ПЕНТАГОН ПРОТИВ ОЛЕГА».

— У меня было какое-то сомнение: слишком легко он согласился принять яд, — сказал младший. — Но читать мысли я умею только твои. Так что извини...

— Вся эта хренобень с военными началась после моего юбилейного вечера, показанного по «ящику».

— Я видел... и одобрил...

— А министр обороны, в отличие от тебя, очень не одобрил. Силы, как сам понимаешь, неравные — у него бомбы, ракеты, танки, пушки и высокие коммунистические идеалы. А у меня шшик...

В это время в дверь позвонили. Я с изумлением уставился на Олега, тот дернул плечами, и я отправился открывать.

А Олег погрузился в газетные статьи, письма и доносы, которые появились в результате моего телевизионного вечера.

— Вы мне назначили сегодня на три часа, — сказал посетитель, когда я распахнул дверь.

Я с трудом узнал его — это был старик актер из Театра имени Маяковского. Он раза два играл небольшие эпизоды в картинах по моим сценариям, а в театре его фамилия обычно замыкала театральную программку — третий слуга, второй убийца или четвертый горожанин. Он действительно настойчиво домогался свидания со мной, замучил звонками и, отказы-



ваясь объяснить, зачем я ему понадобился, каждый раз говорил, что это очень важно, и не для него, а для меня. И что я буду ему очень благодарен за встречу. Наконец я сдался, кляня себя за бесхребетность, и назначил ему встречу. И, конечно, забыл. Я с отвращением смотрел на явившегося сейчас так некстати человека.

Первым порывом было немедленно захлопнуть дверь перед его носом, но вместо этого я выдавил из себя нечто вроде улыбки и сказал:

— Заходите, я вас жду.

Старик, увидев младшего Олега, произнес:

— У меня конфиденциальный разговор!

Я провел его в кабинет, предложил стул и сказал умоляюще:

— Только прошу вас, у меня плохо со временем... Так что вспомним чеховскую сестру таланта, а именно краткость...

Глаза старика лихорадочно блеснули:

— Олег Владимирович, дорогой! Вы знаете, страна на грани краха! Всюду развал! Надо призвать правительство к решительным мерам и действиям. И я приду, как это сделать!

— Но я-то при чем?... — начал было я, но он вскочил со стула и вдохновенно зашептал:

— Именно вы можете спасти страну! Именно вы в состоянии повернуть курс правительства! С социалистическим путем пора кончать!

Я понял, что имею дело либо с безумцем, либо с фанатом.

— Что я могу сделать? — протянул я, думая о том, как избавиться от посетителя.

И тут он выпалил:

— Вы должны совершить самосожжение на Красной площади! Под плакатом, призывающим правительство к объявлению свободы, демократии и частной собственности!

И старик победоносно глянул на меня, ожидая ответного восхищения.

— Идея действительно интересная... — задумчиво процедил я, но мой собеседник не уловил иронии.

— Я так и знал, что вам понравится. Поэтому я обратился именно к вам.

— Но у меня есть кое-какие планы, которые...

— Никакие личные планы не могут сравниться с интересами страдающего Отечества, — продекламировал гость. Видно, служение музе театра наложило отпечаток на его манеру выражаться.

— Слушайте, друг мой! Мне пришла в голову прекрасная мысль, а почему бы вам самому не совершить этот героический акт?

Ответ у него был готов:

— Потому что будет совсем не тот резонанс! Одно дело, если сжигает себя никому не известный артист, и совсем другое, если эту акцию совершит крупный, известный в нашей стране и за рубежом писатель. Практически классик! Книжки которого читали все. Человек, своими телевизионными программами заслуживший любовь народа.

Чем беззащитней он льстил, тем больше меня

охватывало чувство отчаяния. Оксана все время пила меня за мягкотелость, за неумение отказывать, за то, что я давал возможность отнимать свое время каждому встречному и поперечному.

— Я помогу вам! — продолжал старик. — Я донесу вам до Спасских ворот канистру с бензином. Пока вы будете гореть, я не отойду от вас ни на шаг и подхватываю плакат, выпавший из ваших слабых, обожженных рук! О, страна оценит вашу доблестную жертву. Вы войдете в Историю с большой буквы...

— Олег! — беспомощно позвал я свое второе «я». — Помоги мне. Выстави из квартиры этого ненормального.

— А... а... — завопил старик. — Вот где ваше подлинное лицо! Я знал, что вы ничтожество!.. Я всегда подозревал это!..

Олег молча взял за шиворот старика и поволок его прочь из квартиры. Тот упирался и продолжал орать:

— Шкурные интересы вам дороже несчастий Отечества!.. Трус! Эгоист!.. Я этого так не оставлю! Я буду жаловаться!..

Это была последняя фраза, за которой последовал щелчок захлопнувшейся двери. А я подумал: куда же этот психопат станет жаловаться? Когда в кабинет вернулся Олег, я рассказал ему о соблазнительном предложении посетителя и добавил:

— А вообще-то мысль недурна! Если все равно помирать, так уж лучше с музыкой.

— Ты хорошо держишься, — одобрил мое поведение Олег. — Я бы на твоём месте, пожалуй, психовал. Мне было бы не до шуточек.

— Это потому, что ты молодой. А в мои годы нервничать по поводу смерти?.. Но вообще-то, если честно, я тоже психую. Только где-то там, глубоко... Ты в Афганистане служил доктором?

— Кончил медицинский, как и ты. Но тебе повезло, войны не было. Да... работу на «Скорой помощи» не сравнить с той, что досталась мне. После Афгана мне не страшно ничего и никого не жалко. Во мне нет сострадания, сочувствия, доброты. Не верю ни во что. А это скверно! Я, если мне надо, не остановлюсь ни перед чем. Слюней и соплей во мне не отыщешь.

— Одна ненависть в душе? — спросил я.

— И ненависти не осталось. Выжженная афганская пустыня, сухая, знойная, мертвая. Пустота. И какая-то задушенная боль... За что это мне?..

— Тебе приходилось убивать?

— Не смеши меня! Убивать!.. Я видел и испытал такое, что тебе и не снилось. Иногда мне кажется, что старик — я, а ты — двадцатипятилетний сопляк. Я глушил совесть алкоголем, бабами, стал наркоманом, меня подбирали черт-те где, в вонючих притонах. Но не очень наказывали — врачей не хватало. Я зашивал обрубки ног и рук нашим ребятам — ты, наверно, слышал, как моджахеды расправлялись с оккупантами. А я это не только видел: те, от кого оставалось одно лишь туловище, валялись на моем операционном столе. Я оперировал и афганских душманов, с которыми наши поступали так же. Мне теперь никогда не избавиться от кошмаров, от человеческого мяса, — оно снится по ночам. И за это никто не ответил... Нас не только послали на войну, — оставшихся в живых эта война разрушила... Мы — оккупанты, от нас даже Отечество отвернулось... чудовищная страна... Я еду в Израиль по приглашению, на месяц, но я не вернусь в вонючую помойку под названием СССР. Не понимаю, как ты можешь здесь жить. У тебя мать — еврейка, тебе же раз плюнуть организовать вызов, приглашение, командировку. Убегай отсюда! У этой страны нет будущего. Скоро здесь все потонет в крови, неужели ты не понимаешь? Ты видел очереди у посольств? Пойми, это не эмиграция, это — эвакуация!

— Но я уже не успею, — сочувственно сказал я, пытаюсь погасить истерическую вспышку Олега. — За полдня не оформишь документы, не купишь билет, не соберешь вещи...

— К черту вещи! — заорал собеседник. — Когда речь идет о спасении шкуры, вещи бросают. Я почитал всю эту вонь, которую обрушили на тебя армейские дуболомы. Может, тебя завтра пришлет кто-нибудь из этих солдатушек, бравых ребятушек... Слушай, тут среди всей дононительной пакости меня заинтересовало то, что настроил Л. Л. Николаенко генеральному прокурору. Кстати, как к тебе это попало? Написано твоим почерком.

— Меня вызывал московский военный прокурор. Очень извинялся. Говорил, что раз сигнал не анонимный, то они обязаны ответить. Письмо этой мрази было направлено Генеральному прокурору СССР, тот переадресовал донос Главному военному прокурору с резолюцией «Разобраться», а тот, в свою очередь, уже переадресовал московскому. И они, согласно прокурорским правилам, должны вникнуть и ответить доносителю. Прокурор очень извинялся, ибо знал дату моего рождения, но задал мне несколько вопросов. Записывал все, что я говорю. Потом попросил автограф на моем сборнике. Я в ответ попросил дать мне возможность переписать кляузу. Он разрешил, но предупредил, чтобы я не упоминал, откуда у меня текст. Я обещал. Потом прилежно, в его присутствии, я переписал все слово в слово. Военный прокурор очень извинялся, жал на прощание руку, вышел провожать на улицу. Была ранняя весна, кажется, март, гигантские лужи окружали это заведение, расположенное на задворках Хорошевского шоссе. Я вышел оттуда, как обесправный. И это все в период гласности, перестройки и прочих якобы свобод. А через два-три дня мне домой позвонила заведующая архивом нашего медицинского института и тоже по секрету сообщила, что приехали люди в военном, подымали документы и зачетки нашего курса за сорок пятый год, интересовались моей персоной. Изучали... Видно, хотели найти компромат...

— Ты зачем переписал ябеду этого Николаенко?

— Ну, на всякий случай. Может, думал, как-нибудь сквитаяюсь... Потом махнул рукой... Ну-ка, дай-ка мне...

Я погрузился в чтение доноса:

«...Все, что говорил О. Горюнов, следует назвать клеветой на нашу Советскую Армию и ее славный офицерский корпус. Надо разобраться, почему он не был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы?! Считаю, что это еще не поздно сделать! Да и привлечь к партийной ответственности...» Тут я отвлекся и сказал:

— Я потому и не состоял в этой партии, что в ней такое количество подонков! В наши молодые годы бытовала шутка про человека, вступившего в КПСС: «Наконец-то он очистил наши ряды беспартийных».

Я снова впился в текст.

«Все, что пишет Горюнов, — это насмешка над советским общественным строем, — продекламировал я полюболюбившиеся мне строки, сочиненные Николаенко. — Как и многие его книги — это сплошное критиканство! Кстати, у него нет ни одной книги о положительном в нашей жизни, ни одной патриотической книги, зато грязь раздувается, облачается в красивые одежды...»

Я прервал цитату и сказал:

— Такой отзыв от болвана дороже иной рецензии, где тебя хвалят... Впрочем, на что я трачу свой последний день?.. Боже мой!..

Я швырнул клеветническое письмо на стол. Олег подобрал бумагу.

— Тут адрес есть: Сиреневый бульвар, 46/35,

корп. 2, кв. 39. — И Олег вопросительно посмотрел на меня. — Николаенко Л. Л., член КПСС с апреля 1971 года.

Я засмеялся:

— С меня хватит визита к Поплавскому. Знаешь, одесский парикмахер покончил с собой и оставил записку: «Причина моей смерти в том, что всех не переберешь!»

— Как хочешь! А я его навещу. Проверю, тот ли это ублюдок, который служил у нас в Афгане. Ему парень один, приятель мой, в строю сказал в лицо, что он трус. А тот послал его на верную смерть. Кусочки этого парня принесли ко мне в операционную, я его сшивал восемь часов.

— Ну? — спросил я. — Удалось спасти?

— Парень жив... да так... получеловек... Ты мне дашь машину? А то ехать далеко.

— Хорошо. Только ты меня по дороге подбросишь на кладбище, а вернусь я сам...

— Я донос возьму?

— Как хочешь... Подожди немного, я сделаю несколько звонков.

Однако, никто из тех, кого я намеревался позвать на собственные поминки, не смог принять мое приглашение. Кто был занят, кто болен, у кого спектакль или еще что-нибудь. Разумеется, я не сообщал причины столь скоропалительного сборища. Если бы объяснил, друзья, наверное, отменили бы свои дела, да как-то язык не поворачивался брякнуть эдакое. Все, будто сговорившись, просили перенести встречу на другой день, скажем, в субботу. И обещали с удовольствием прийти. И я всех пригласил на субботу! Какая разница! Тем более, по идее, как раз где-то в субботу состоятся мои похороны. Последний вечер моей жизни у меня оказался свободным...

Я отдал документы на машину Олегу.

— А ты не боишься отдавать мне «Волгу», да еще с документами? — спросил Олег Второй. — Учти, что на черном рынке я за нее могу получить больше ста пятидесяти тысяч!

— Очень боюсь, что ты продешевишь! — отбрил я его.

Пока мы ехали в машине, радио сообщало новости. Они стали грозowymi. На Дальнем Востоке войска стреляли в демонстрантов. Кровь пересекла границы России.

— Ты писать-то собираешься? — спросил я.

— А как же? Это у меня в генах заложено. Пойду по твоим стопам. Только ты три года на «Скорой» работал, а я три года был оккупантом. Так что опыт у нас разный.

— Доктор не оккупант!

— Слабое утешение. Если уж я и буду писать, то что-то вроде Шаламова. Без украшательств. А не будь Афгана, тоже, наверное, стал бы беллетристом. Хочу, как Конрад и Набоков, так знать английский, чтобы можно было писать на нем. Но пока буду пытаться на русском.

— Значит, хочешь отказаться не только от родины, но и от родного языка?

— Сидит во всех вас этот вшивый патриотизм! Пойми, я не хочу быть гражданином проклятой страны. И не желаю писать на провинциальном, выродившемся языке!

— Это ты круто заворачиваешь, — опешил я. — Ну, знаешь, ты даешь...

— Я человек Земли. С большой буквы, понимаешь? Да где тебе... Умом Россию не понять, аршином общим не измерить... — издевательски процитировал он Тютчева.

— Стихи-то сами по себе ни в чем не виноваты. Другое дело, что их использовали, чтобы оправдать чудовищные вещи...

— Давно пора, ядрена мать, умом Россию понимать... Да только уж разбейтесь во всем этом без меня, а я вашу страну из своей жизни вычеркнул...

— Понять тебя могу... — задумчиво сказал я. — Если бы был помоложе, может, тоже подался бы в дальние страны. А теперь уж поздно...

— А это кто написал? «Пусть в голове мелькает проседь — не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое — зачеркнуть!»

— Мало ли чего я написал...

— А я думал, ты веришь в то, что пишешь...

— Верю.

— Ни хрена. Ты — литературное трепло. А ты еще из лучших. Что же про остальных говорить.

— Слушай, ты бы мог быть повежливее в мой последний день.

— Прости. Я беру свои слова обратно. Это я так, в полемике...

— Да нет уж. Слово — не воробей. Только мы не на равных. Я-то твоей ни одной строчки не читал. Может, ты вообще бездарь, а судишь...

— Может быть, — погрузнел Олег. — Я пока знаю, как не надо писать. А вот как надо — чувствую, но не умею... Пробую и рву... Пробую и рву...

Машина остановилась у Даниловского кладбища.

В течение многих лет я приезжал сюда четыре раза в год — в дни рождений отца и матери и в годовщины их смерти. А последнее время, когда здесь появилась третья могила, стал бывать часто. Я купил цветов у бабок, торгующих у входа, и углубился в осенние аллеи. Сначала я пришел к ограде, за которой рядом лежали две мраморные плиты. Отпер замочек, вошел внутрь ограды и наклонился, чтобы взять банки, в которых торчали сухие стебли. Последний раз я был здесь месяца два назад. Я хотел вынуть из банок увядшие цветы и пойти за водой, как вдруг увидел, что на могильной плите матери была начертана фашистская свастика. Сначала я не поверил. Потом наклонился и провел рукой, чтобы стереть. Но свастика была выбита резцом. Я оглянулся во круг, перевел взгляд на отцовское надгробие. Оно было не тронут. Я оглядел соседние памятники — на некоторых красовался паучий фашистский знак. Прочитав фамилии, я понял, что так были помечены только еврейские могилы. Про осквернение могил черносотенцами из «Памяти» я уже читал в газетах. Но одно дело, когда речь идет не о тебе, — ты возмущаешься, негодуешь, пишешь статью. Когда же касается тебя, то как передать ту степень бешенства, ярости, неистового отчаяния! Во мне все заколотилось от ненависти! И от бессилия! Я не знал, что это сделал, и понимал, что милицию подобные проблемы попросту не интересуют, что никто не станет искать сволочей. Мать носила отцовскую фамилию, но имени и отчества — Белла Моисеевна — оказалось для антисемитов недостаточным. Мать, работавшая во время войны в санитарном поезде, а после контузии — в тыловом госпитале, была награждена после смерти свастикой. Впрочем, что за идиотское, чисто советское оправдание всплыло в моем мозгу? А те, кто не воевал, те, чьи памятники испоганены только потому, что на них написаны такие фамилии, как Эпштейн, Коган, Рабинович, в чем они виноваты? Я вспомнил определение Олега: «Проклятая страна». Вместо того чтобы посидеть на скамеечке, вспомнить родителей, попрощаться с ними, побыть в грустном покое, я испытал боль, гнев и отвращение к жизни. Боже, как я ненавидел этих подонков! У меня болело сердце от остервенения и обиды. Раздавленный и убитый, я припелся к могиле Оксаны. Памятника пока еще не было. Только цветы и застекленная фотография. Я хотел, чтобы на этом месте находился камень-метеорит, прилетевший из космоса. Добрые люди по-

могли мне найти каменного космического посланца. Я летал недавно в Якутск. Там странный камень одели в огромный деревянный ящик, и я отвез его на железнодорожную станцию. Скоро метеорит должен был прибыть в Москву. Надо написать пасынку специальное письмо, чтобы он довел дело до конца. Я поставил в банки с водой свежие астры и попытался успокоиться. Но куда там! Внутри все дрожало. Постепенно, глядя на фотографию улыбающейся Оксаны, я постарался забыть и стал вспоминать... Но все равно воспоминания получались какие-то равные, горькие, беспокойные...

Первые дни после похорон Оксаны — а она погибла в результате лобового удара такси с самосвалом, водитель которого заснул за рулем, — я уехал на дачу и заперся ото всех. Это была не та, пришедшая в упадок дача, купленная у пришедшей в упадок вдовы. Тот дом, после того как я его отремонтировал, я оставил своей первой жене и дочери. Впрочем, оставил не только дачу, но и вообще все, что к тому времени нажил. Я стал не просто беден, стал нищ, но зато хорошо себя чувствовал.

Мы с Оксаной начали совместную жизнь с нуля. В это же самое время, когда я решил сделать себе подарок к собственному пятидесятилетию — уйти к Оксане, ее сын как раз задумал жениться. И все имущество, которое было у Оксаны, она отдала сыну. Когда мы после десятилетнего романа (о, я тщательно проверял свое чувство!), наконец соединились, у нас не было ничего. Это не преувеличение. «Ничего» обозначает: ничего. Мой самый старинный друг Вася сказал мне тогда:

— Тебе уже пора снова писать свою первую повесть.

В те десять лет, которые предшествовали разводу и моему уходу к Оксане, у меня полностью атрофировалось чувство дома. Я, например, никогда не купал то, что можно повесить на стену квартиры, или то, что как-то украсит интерьер. Просто не приходило в голову. Наверное, потому что не знал, где я буду жить завтра и с кем. Десять лет сумасшедшего бега между двумя женщинами, жизнь на две семьи, на два дома — я даже не знаю, с чем это можно сравнить! Могу сказать только, что для такого образа жизни требовалось лошадиное здоровье!

Когда я переехал к Оксане, чувство собственного дома ожгло сразу же. Его — это чувство — подхлестывало еще, конечно, полное отсутствие всего. Должен поделиться, что начинать жизнь сначала в пятьдесят лет — замечательно, особенно если рядом любимая женщина.

Постепенно появлялось все — и ножи с вилками, и простыни со скатертями, и телевизор с магнитофоном, и даже картинки на стенах.

Я много работал, писал запойно. И хотя не все проходило — некоторые рассказы и повести оседали в столе, — что-то тем не менее прорывалось на страницы журналов, правда, с потерями и купюрами. Видно, я работал более интенсивно, чем цензура, — вообще у меня несколько лет был очень «писучий» период. Кроме того, я преподавал в Литературном институте. А тут еще пригласили вести ежемесячную литературную программу «Волшебство изящной словесности» по телевидению. К тому же я занялся и рифмоплетством — это после пятидесяти-то. Если поговорка «работа дураков любит» справедлива, то я, несомненно, принадлежу к этой породе. Я работал не для того, чтобы зарабатывать, но деньги стали появляться. Кое-что экранизировалось, а две комедии для театра пошли очень широко — одна в ста десяти театрах, а другая в ста тридцати четырех. Поскольку я считался писателем не совсем советским, что мне неустанно давали почувствовать доброхоты из Союза писателей,

меня усиленно издавали на Западе. Опала здесь была лучшей рекомендацией там.

«Кирпичи», которые лудили литературные генералы, воспевающие прелести социализма, почему-то не котируются за рубежом. Это бесило секретарей, они в очередной раз напускали на меня преданных опричников от критики. И очередной погром моей книги дома вызывал у заграничных издателей очередной взрыв интереса...

Итак, после похорон я заперся на даче, не отвечал на телефонные звонки, не открывал калитку на звонки с улицы. А потом вообще оборвал провод. Насколько дней спрессовались, и сейчас кажется, что это был какой-то один страшный, сумбурный час. Я плохо помню, что делал, как жил, когда спал, а когда не спал, ел или не ел, выходил в лес или, одетый, валялся в кровати. Невнятные обрывки воспоминаний в тумане забвения. Я никого не хотел видеть, даже самых близких друзей, меня отталкивали участливые лица, сочувствующие взгляды, утешительные слова. Боялся, что начну при всех рыдать, а здесь меня никто не видел — немытого, небритого, заросшего, зарванного, полуодетого, полупьяного, похожего на дикого, раненого зверя. Гибель Оксаны — это был крах, крушение всего, конец жизни. То, что мне предстояло дальше, можно назвать доживанием, ожиданием смерти.

Когда я вышел из состояния шока и рискнул вернуться к людям, я ощущал себя, будто был стеклянным, очень хрупким. Я был насторожен и готов в любую секунду снова спрятаться в логово. Контакт со мной не получался, я обрывал выражения соболезнования, потому что был покрыт еще слишком непрочной, очень тонкой коркой самообороны, за которой копошилось горькое горе. Посторонние, вероятно, считали меня сухарем, но мне на это было наплевать. Я старался жить не в городе, а на даче, пытался писать, но не получалось. Я вспоминал, как мы с Оксаной мечтали о собственном доме, в котором можно будет отгородиться от огромного количества городских никчемностей, бессмысленно отнимающих и пожирающих время. В последние годы никто не хотел ничего продавать, люди не верили в ценность советских денег, но нам повезло — счастливый случай, мы купили дом недалеко от Москвы, со всеми удобствами, да еще на границе с лесом. Задняя калитка выходила в настоящий дикий лес, который тянулся вперемежку с полями на много километров. Когда мы услышали, сколько запросила хозяйка за дом, мы пошатнулись, закачались и обалдели. Сначала мы откашались от покупки, понимая, что не потянем. Но потом вовремя одумались. Мы залезли в долги, продали видеокамеру и последние драгоценности Оксаны, которые ей достались от матери, умершей за год до этого. В общем, поднатужились и купили дом. Мы принялись приводить в порядок наше новое, но очень запущенное жилище. Дом раньше принадлежал хорошему композитору, но его наследники довели прошлые хоромы до состояния горьковской ночлежки: здесь до нас жили какие-то приживалки, жильцы с собаками, старухи с кошками, бесконечная череда гостей, дачников, друзей и, по-моему, людей, с которыми хозяева не были знакомы. Достаточно сказать, что в момент покупки в пяти комнатах насчитывалось семнадцать спальных мест, по три-четыре в каждой комнате. Оксана вышла на пенсию. Она проработала последние двадцать лет в Гослитиздате, где, кстати, меня никогда не издавали. Из живых там публиковали только правительственных писателей. Я не мог отложить работу, ибо надо было возвращать долги и зарабатывать на кровосос-ремонт. В это время стали хорошо платить за выступления, за так называемые творческие вечера, и я оказался персоной, с которой пуб-

лика почему-то хотела встречаться. Я регулярно выезжал в разные города на два-три дня, и деньги, которые я привозил, тут же переходили из моих рук в руки маляров, сантехников и плотников. А тем временем два хищника — инфляция и дефицит — опустошали страну. Наступило время, когда долги стало иметь лучше, чем деньги. Я со смущением возвращал друзьям одолженные суммы. Со смущением и чувством стыда, так как полгода назад, когда я занимал деньги, они стоили значительно больше, чем сейчас, когда я их возвращал. Как мы с Оксаной радовались, когда удавалось раздобыть красивый кафель или симпатичные обои. Западный человек лишен таких радостей. Если ему что-то надо, он идет и покупает. Это так просто и так неинтересно. У нас другое дело. Набегаясь, намучаясь, наунижаясь вконец, прежде чем достанешь то, что нужно. Зато потом испытываешь победное чувство, вовсе не доступное несчастным жителям западной цивилизации...

Немногим более года удалось Оксане пожить в уютном доме, в уютном потому, что у нее было врожденное чувство делать жилье теплым, человеческим, удобным. А нынче я слонялся как потерянный по двум этажам пустынного дома, из которого ушла душа... Она и из меня ушла...

Я возвращался с кладбища, но воспоминания по-прежнему цепко держали меня. Я вышел за ворота и направился к стоянке такси. Машин, конечно, не было, и я вдруг поймал себя на мысли, что уже много месяцев не видел такой картины: пять-шесть автомобилей-такси с горящими зелеными огоньками дежурят на стоянке в ожидании пассажиров. Раньше в дневные часы подобное можно было увидеть весьма часто. Сейчас я осознал, что эта картинка из прошлого, как бы из мирной жизни. Я стоял и ждал, что, может, подвернется какой-нибудь левак — или частник, или подхалтуривающий государственный водитель. И снова моя память понесла меня в недавнее прошлое...

Постепенно я как-то наладил свою холостяцкую жизнь. Помогала Тереза. Я пытался писать, но ничего путного из-под пера (я сочиняю вручную, а не на машинке) не выходило. Какие-то мертвые, корявые фразы, деревянные сочетания слов, лишённые одухотворенности, в общем, получалось что-то ублюдочное, неуклюжее. Недописав, я отбрасывал то одно, то другое. Вдруг я впервые осознал на собственном примере, что означает слово «бесплодие». Никто еще не знал, что я, как писатель, умер. А я это открытие, естественно, не рекламировал. Я принимал участие в литературной и политической жизни, больше в политической... Выступал, печатал хлесткую публицистику (на это еще хватало!), подписывал всякие радикальные обращения, ибо ненавидел систему, в которой рос и с которой боролся в первую очередь в самом себе. Среди военных, партийцев и ребят с Лубянки нашёл немало врагов. Но это меня радовало, хоть как-то горячило подостывшую кровь...

Недостатка в женском внимании я не испытывал никогда, а после смерти жены — особенно.

Еще бы, по нашим понятиям, богатый: дача, квартира, машина, деньги (но тут имелось заблуждение!), известный, можно сказать, популярный, да к тому же холостой. Конечно, не молоденький, но ведь это, если вдуматься, тоже было скорее достоинством. Редакторши издательств и журналов, корреспондентки, телевизионные дамочки, артистки, барышни из писательского и киношного союзов смотрели на меня особым взглядом, не то чтобы откровенным, но во всяком случае обещающим. Я этот взгляд угадывал сразу же. На встречах с читателями я сплошь и рядом получал записки такого рода: «Если вам требуется молодая помощница или секретарша, позвоните по телефону...»

Эти записки я сразу рвал. Не потому, чтобы соблазна не было, — я опасался женской назойливости. Вообще мне свойственна определенная боязливость в отношениях с женским полом. Я, например, никогда не имел дела с проституткой, не был в публичном доме, не участвовал в коллективных сексуальных собраниях. Мне мешало какое-то врожденное чувство чистоплотности, а кроме того, я не сомневался, что у меня от испуга ничего не получится. Я с детства знал, что женщины надо добиваться, хотя и знал также, что эта точка зрения крайне архаична. Поэтому, когда я видел, что некое женское существо проявляет инициативу и настырно лезет в койку, я постыдно удирал.

И тем не менее, как говорится, жизнь есть жизнь. Через несколько месяцев после того, как не стало Оксаны, у меня случились две встречи... Мое внимание привлекла симпатичная докторша из нашей литфондовской поликлиники, но это оказалось неинтересно. Может, виноват был я, не знаю, но я больше ей не звонил. А второй раз, где-то через месяц после врачихи, я попытался переспать с одной иностранкой. Но тут и вовсе вышел конфуз. Интересная молодая славистка из Швеции — жена какого-то миллионера-фабриканта — положила на меня глаз. Она была избалована и невероятно богата — дом в Стокгольме, квартира в Париже, вилла под Сорренто, мастерская в Нью-Йорке. Она могла ни черта не делать, но была трудолюбива, энергична и предприимчива. К нам в страну она приезжала часто. Появились ее книги о взаимоотношениях Пастернака и Цветаевой, Ахматовой и Мандельштама, серия интервью в модных журналах со звездами перестройки (в том числе и со мной), документальное исследование об убийстве семьи Романовых, обзор кинокартин в эпоху гласности.

Ингрид была стремительна, весела, шумна, громко ржала и, по-моему, успела перетрахать с немалым количеством левых русских деятелей культуры. Очевидно, наступила и моя очередь... А я попросту дискредитировал Отечество. Нет, конечно, в те минуты, когда я беспомощно потел, пытаясь выполнить то, что обычно у меня получалось само собой, я не думал о престиже нашей страны. Стыд, отвращение к себе, боязнь, что такое теперь будет всегда, парализовали меня. И как ни билась многоопытная шведка, она так и не смогла добиться ничего путного. Может, меня заклинило оттого, что она иностранка? — пытался я оправдать себя потом. Но думаю все-таки, что сробел я от ее наступательной активности и нетерпения... Поскольку Ингрид была хороша собой и молода по моим нынешним меркам — ей было около сорока, — то оправдания мне не было никакого. И страх, что так может повториться, затаился где-то в глубине.

Однако цыганка — а я теперь верил тому, что она нагадала, — напроорочила мне встречу с молодой прекрасной женщиной. Кого же она имела в виду? Я стал перебирать в памяти разных знакомых женщин, на которых хоть как-то, хоть когда-то фокусировалось мое внимание. Но никто из них не вызывал намерения перейти к активным действиям, особенно в моей ситуации. И я решил не утруждать себя. Его Величество Случай организует встречу, раз уж так предписано судьбой. В тот момент, когда я окончательно решил стать фаталистом, перед моими глазами возникло женское лицо. Лицо кассирши из нашей районной сберкассы. Ее звали Люда. Я даже хотел написать о ней и наших отношениях небольшой рассказ в бунинском роде, но не стал этого делать потому, что лучше Ивана Алексеевича написать бы не смог, а хуже — зачем? Каждый месяц я два, а то и три раза бывал в сберкассе. То клал какие-то деньги, то, наоборот, брал, то платил за квартиру, то штраф за автомобильное нарушение, то еще что-нибудь. Я знал всех сотруд-

ниц по имени-отчеству, дарил им свои книги, и они тоже знали меня, и, если я напарывался на большую очередь, барышни норовили пропустить мою персону побыстрее. Годы три назад в сберкассе появилась новая кассирша — Люда. Описывать женщину дело не то, что трудное, а бесполезное. В мировой литературе создано столько прекрасных женских портретов, куда уж мне. Но все равно надо дать о ней хоть какое-нибудь представление. Люда выглядела лет на тридцать. В лице ее было что-то беспомощно-детское. Голову она всегда держала чуть наклонив, а когда смотрела на тебя, то в ее глазах, не хочется писать «огромных», но они такими и были, казалось, прятались то ли горе, то ли боль, то ли какая-то грустная, шемящая тайна. Даже когда она улыбалась, выражение страдания не исчезало с лица. При первом же знакомстве, когда она мне вручала пачку купюр, чувство безотчетной жалости захлестнуло меня, возникло желание сделать для нее что-то хорошее, чем-то помочь, как-то защитить, хотя я не знал о ней ровным счетом ничего.

Несколько раз в месяц я общался с ней через окошечко кассы, и с каждой встречей она привлекала к себе все больше и больше. Я чувствовал, что и я ей нравился. Между нашими взглядами и улыбками пробегало что-то большее и значительное, нежели наши слова. В ней не было ничего ломаного, деланного, искусственного, ненатурального. Я не знаю, можно ли назвать ее красивой, скорее, она была миловидна. Я видел, что всякий раз она радовалась моему приходу, и с ее лица, когда она разговаривала со мной, исчезало то затаенное чувство горечи, которое так меня поразило с самого начала. Мы говорили обо всяких пустяках, но я стал замечать в себе какое-то смущение, стал ловить себя на том, что иногда вспоминаю о ней перед сном и каждый раз со смутной нежностью. Я никогда не изменял Оксане, это могло случиться только, если бы я полюбил другую женщину. Нет, конечно, я не думал о Люде. Жизнь, работа, книги, Оксана, бесчисленное количество дел, всяческая суета несли меня по течению, или, можно сказать, я сам мчался против течения с бешеной скоростью среди людей, дел, поступков, ситуаций. Нет, конечно, я не вспоминал о Люде. Разве что изредка ее наклоненное лицо, печальные глаза и приветливая улыбка возникали на миг в моем сознании и исчезали, заслоненные нескончаемым потоком разных разностей. Как-то, когда я брал полновесную сумму на ремонт дачи, у нее в кассе не хватило наличных денег, и она ушла в заднюю комнату, где, наверное, находился сейф. И тут я понял, что видел ее до сих пор только по пояс. Я впервые рассмотрел ее фигуру, так и хочется написать стройную, ибо так и было, но это же литературный штамп. В словаре синонимов я нашел другие слова, которые тоже подходили к ее фигуре: статная, складная, хорошо сложенная. Когда она вернулась, я на нее посмотрел чуть-чуть по-иному. К моему восприятию Люды добавилось нечто новое, и она почувствовала эту перемену сразу. Уже прошло несколько месяцев нашего знакомства. За это время я дарил ей свои книги, впрочем, так же, как и другим женщинам из сбербанка — так теперь назывались сберкассы. Я пригласил ее на свой творческий вечер в Останкино, и операторы разглядели ее и оценили — сняли крупно...

Однажды я брал деньги перед самым закрытием сберкасс.

— Хотите, я вас подожду и отвезу домой? — спросил я тихо, чтобы не слышала контролерша, сидевшая в двух шагах.

— Спасибо, — с улыбкой поблагодарила Люда.

Я сидел в машине и ждал ее. Честно говоря, я не знал, что делать дальше. У меня не было никаких

серьезных намерений по отношению к Люде, а не серьезно вести себя с ней не хотелось. Она как-то не подходила для этого. В ней угадывались и чистота, и глубина чувств, и детская доверчивость. Да и сам я вышел из возраста легких походов. Об Оксане, которая ждала меня дома, я уж и не говорю. Люда села ко мне в машину.

— Куда? — спросил я. — Где вы живете?

Она назвала адрес. Я вел автомобиль и искоса поглядывал на нее. Одета она была во что-то очень обычное, недорогое и скромное. И это ей тоже шло. Нет, конечно, я был в нее немножечко влюблен, или она мне нравилась, или меня тянуло к ней — выбирайте любой вариант. Я расспрашивал ее. Она обо мне все-таки кое-что знала, а я о ней ничего. Жила Люда с мамой в однокомнатной квартире, отец умер, когда Люда была маленькой. Мама — сердечница, регулярно лежит в больнице. На пенсии. Раньше мама работала в Третьяковке, служительницей в картинном зале. Люда окончила финансовый техникум. Много читает, это ее увлечение. О личной жизни сказала немного. Сказала только, что ее настойчиво атакует продавец из мебельного магазина, хочет жениться. Но ей он не нравится. Почему? Просто так, не нравится. Продавец богатый, у него машина и отдельная квартира. Он разведен и все время приглашает Люду в театры и рестораны. Иногда она ходит с ним, и он рассказывает о том, сколько он зарабатывает, стараясь подействовать на Люду. А ей все равно. Она каждый день столько чужих денег пропускает через свои руки, что полностью к ним равнодушна.

Мы давно уже стояли около ее дома. Я чувствовал, что если я скажу ей сейчас: «Поехали!», — то она после небольшой паузы ответит: «Поехали!»

Я думаю, она ждала, хотела, чтобы я сказал это, но ничем не показывала. И тут я, чувствуя себя одновременно и ничтожеством, и страшно благородным человеком, поцеловал ей руку и промямлил, что мне пора ехать. Она ничем не выразила своего огорчения, разве глаза ее чуть погасли. Я спросил номер ее домашнего телефона, но оказалось, что у них с мамой телефона нет, они вот уже пять лет стоят на очереди. Она вышла из машины и перед тем, как открыть парадную дверь, оглянулась. Она посмотрела на меня и вдруг послала воздушный поцелуй. И тут же исчезла. Я несколько минут не трогался с места, думая о себе весьма нелестно, а потом включил стартер и поехал домой. Уже через несколько минут я забыл о Люде, поглощенный повседневыми мыслями... И еще как-то раз я подвозил ее. Мама находилась в больнице, и в квартире никого не было. Все дальнейшее зависело только от меня. Думаю, она действительно была влюблена. Наверное, к этому примешивалась и моя известность, а может, для нее роман со мной стал бы каким-то выстрелом из обыденности или еще было что-то — кто ее разберет, загадочную женскую душу. Она ждала, как я поступлю. Я бормотал слова, которые мне стыдно вспоминать. По жалким обрывкам моих фраз она могла уразуметь, что она прекрасна, что очень мне нравится, что я был бы счастлив подняться к ней, но что она должна меня простить, ибо я должен немедленно ехать. Причину, по которой я должен был тут же испариться, я, конечно, наврал, не мог же я сказать ей, что уезжаю из-за того, что женат. Честно признаюсь, мне очень хотелось подняться к ней, но я удержался... На этот раз она ушла, повесив голову, не оглядываясь. Ушла так, как уходят совсем.

А еще через две недели меня снова занесло в сберкасса, простите, в сбербанк. На месте Люды сидела толстая незнакомая женщина лет пятидесяти. Небрежным тоном я поинтересовался, где Люда — в отпуске или больна? А в ответ услышал, что она вышла замуж

и уволилась. И тут у меня защемило сердце. Вспомнил ее глаза, подернутые тоской, и подумал, что мне было по силам согнать это выражение, но я испугался и не сделал этого. Неуютное ощущение потери чего-то прекрасного, чувство, что я сам проворонил, упустил такую женщину, охватило меня. Я уехал в дурном настроении, но, подумав, что напишу о Люде рассказ, довольно быстро этим утешился. Потом я отказался и от намерения написать рассказ. И тем не менее иногда лицо Люды как бы наплывало из глубины, на мгновение перекрывая реальность, и снова растворялось в небытии. Поразительно было то, что после гибели Оксаны я вспомнил о ней сегодня впервые. Все это нахлынуло на меня, когда я на «леваке» возвращался с кладбища. Частник узнал меня и был преисполнен почтительности. Я попросил его остановиться на минуту у телефона-автомата. Мне повезло: у аппарата не была срезана трубка. Я набрал номер сбербанка и попросил позвать заведующую.

— Анна Васильевна, это Горюнов. Как самочувствие? У меня? Живу, как и все, то есть в бардаке и ужасе... Анна Васильевна, помните, у вас работала кассирша Люда?... Такая симпатичная... Потом замуж вышла и уволилась... — Я старался говорить беспечно и небрежно. — Вы не подскажете, как ее найти? Да? Спасибо огромное. Пока. Передавайте всем привет...

Я повесил трубку. Здесь мне тоже повезло. Оказывается, Люда после замужества перешла работать в другую сберкасса — на улице Медведева, ближе к ее новому дому. Я вернулся в машину и попросил частного подвезти на улицу Медведева. Мне очень хотелось, чтобы повезло и в третий раз, чтобы я застал Люду на рабочем месте.

У сбербанка я еще раз попросил водителя подождать меня несколько минут. Тот согласился. Я сказал, что «за мной не заржавеет», но хозяин автомобиля ответил, что, мол, я его обижаю...

Я вошел внутрь и сразу увидел ее. Она сидела в окошечке кассы и, как всегда, пересчитывала чужие деньги. Стояла очередь — человек пять или шесть. Я смотрел на нее издали. Она не изменилась, была так же тиха и беззащитна. Голова ее, как всегда, чуть склонилась набок, а огромные глаза, когда она их поднимала, вручая посетителю купюры или получая их, казалось, прятали какое-то горе. Я любовался ею, и меня охватило волнение при мысли, что сейчас произойдет что-то очень значительное и важное. Сердце вдруг начало барабанить так, как бывало сорок лет назад. Она меня не замечала и работала. Движения ее рук были изящны и безупречны. Я немного подумал, как же поступить, и в конце концов встал в очередь к ее окошечку. И тут она неожиданно увидела меня. Я улыбнулся ей и поздоровался наклоном головы. Она покраснела и тоже улыбнулась. Некоторое время мы не сводили друг с друга глаз, а потом она снова принялась за работу. Но теперь, под моим взглядом, она делала все свои операции напряженно, часто сбивалась и начинала пересчитывать деньги снова. Сзади меня встали еще два человека, и я понял, что поговорить наедине не удастся. Время, с одной стороны, еле тащилось, а с другой — несло, как какими-то скачками. Наконец подошла моя очередь.

— Здравствуйте, Олег Владимирович. Рада вам. Вы теперь будете держать деньги у нас?

— Я хочу вас видеть, — еле слышно выдохнул я. Звук голоса практически не было, но по артикуляции губ она поняла.

Она смешалась и не знала, что сказать. Слишком много посторонних было вокруг. Пауза становилась необъяснимой. Тогда я нашел выход из положения:

— Вы не продадите три билета денежно-вещевой лотереи?

— Конечно, — сказала она с робкой улыбкой и протянула мне веером с десяток облигаций.

— Дайте мне своей рукой, я верю: она у вас счастливая, — сказал я дежурно-любезную фразу.

Я просунул в окошечко деньги, а она передала мне билеты. Я постарался коснуться ее руки своей.

— Спасибо, Олег Владимирович. Заходите.

— Это вам спасибо, Люда. Но я еще не уйду.

Я отошел в сторонку и на прилавке стал писать ей записку, прямо на лотерейном билете.

«Люда, милая! Я завтра утром улетаю. Может, навсегда. Прошу Вас провести со мной сегодняшний вечер. Я этого очень хочу! Если Вы согласны, просто кивните мне. Я буду ждать Вас здесь у входа в машине в 8 часов. Прошу Вас. Очень прошу».

Я с трудом разместил этот текст на обеих сторонах лотерейного билета.

— Извините, — сказал я молодому человеку, ожидающему денег, и протиснул записку в щель под стекло.

Люда взяла ее, отдала деньги и сберкнижку клиенту, а потом стала читать мое послание. Лицо ее опять вспыхнуло, она подняла глаза и взглянула на меня. И вдруг боль, которая, казалось, навечно поселилась в ее зрачках, куда-то испарилась, и она утвердительно кивнула мне.

Я приложил руку к губам, что могло означать и воздушный поцелуй, и обещание молчать, и жест, означающий «до встречи». Перед выходом я еще раз посмотрел на нее, и она еще раз кивком подтвердила свое согласие.

Хочется легкого, светлого, нежного,
раннего, хрупкого и пустопорожного,
и безрассудного, и безмятежного,
напрочь забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,
в небо уставить глаза завидующие,
и окунуться в цветочные запахи,
и без конца обожать все живущее.

Хочется видеть изгиб и течение
синей реки среди курчавых кустарников,
впитывать кожей солнца свечение,
в воду бросаться с мостков без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,
воздух глотать, словно ягоды спелые,
чтоб сумасбродно душа колобродила
и чтобы сердце несло, ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,
хоть на мгновение упасть в это дальнее...
Только за все, что промчалось, заплачено,
и остается расплата прощальная.

Глава четвертая

Время было мутное, скользкое, невнятное. Старая власть выпустила вожжи, постромки ослабели. Притаилась, затихла Лубянка — там то ли уничтожали архивы, то ли укрепляли оборонные сооружения на случай народного штурма. Может быть, делали и то, и другое. По окраинам валили монументы Ильича, но на железного Феликса покушаться боялись. Только поляки подняли руку на рыцаря чрезвычайки и снесли к чертовой бабушке монумент своего соотечественника. Новая власть никак не могла ухватить бразды правления в свои неопытные руки. Партия, накопившая за семьдесят лет неслыханные богатства, по-прежнему была самой сильной организацией. Где деньги, там и власть. Страна разваливалась. Эпидемия провозглашения суверенитетов заразила все республики — от больших до малых. Глобальная говорильня

захлестнула страну. Болтуны всех цветов и мастей рассуждали о том, как спасти страну, а на окраинах стреляли, лилась кровь. Сотни тысяч беженцев перемещались по стране, оставляя разгромленные жилища и трупы родных. И это в мирное время. А тем временем из всех щелей повылезали полчища проныр, пролаз и прохиндеев. Заеложили, забегали ловкачи, стараясь не упустить момент. Пришло время циников, блядей, аферистов. Ежедневно открывались, а на следующий день рушились невероятные, фантастические совместные предприятия. Зарубежная шушера объединялась с отечественной. Вчерашние эмигранты становились боссами, эфемерными калифами на час. Главное было — нахапать скорей, пока муть и неразбериха. Надувательства, обманы, мошенничества обрушились на не готовый ко всему этому доверчивый народ. Нация раскололась на тех, кто стриг, и на тех, кого стригли. Идеалисты, люди идеи и веры, гибли, не в силах приспособиться. Господи! Почему в нашей несчастной стране все, даже хорошее, приобретает карикатурные формы? И свобода, которая наконец-то пришла, какая-то у нас уродливая! И частная инициатива, которая наконец-то вроде бы разрешена, непременно замешана на жульничестве и предательстве. И демократия, которую наконец-то провозгласили, щедро полита кровью.

Я чувствовал себя в этом времени зыбко и неудобно, хотя употребил немало сил, чтобы приблизить его приход. Меня, как некоторых, время не отодвинуло в сторону, не выбросило на помойку, но все равно я ощущал под ногами какую-то неверную, колеблющуюся поверхность. Некоторые из моих приятелей делали головокружительные карьеры. Писатели, актеры, режиссеры, журналисты бросали свои профессии и окунались с головой в политику. Они становились депутатами, мэрами, советниками, министрами. Я тоже этому поддавался и чуть было не стал депутатом. Но вовремя одумался и дал задний ход. Другие мои дружки быстро сориентировались и начали вовсю сочинять нечто совместное с иностранью, в предвкушении валютных гонораров, и посему не вылезали из-за границы. «Сейчас только ленивый не ездит в Америку», — сказал мне один предприимчивый деятель от культуры. Иной раз я завидовал таким энергичным, жалел, что мне не сорок и что я лишен коммерческой жилки. А иногда философски смотрел на суету вокруг себя.

Жизнь уходит вдаль и вбок,
покидает твой порог.
И не надо догонять,
если вам не тридцать пять.
Пусть бегут, кто помоложе...
Но они устанут тоже —
годы быстро просвистят,
станет им за шестьдесят,
и от них — и вдаль, и вбок —
жизнь поскочит со всех ног...

Конечно, я был выбит из колеи, в душе господствовали сумятица и хаос. Я ощущал себя обломком прошлого, как говорят в кино, «уходящей натурой», а главное, я был бесплоден.

Я жил по инерции, стараясь не поддаваться. Каждое утро я через силу заставлял себя делать пятнадцатиминутную зарядку, брился, чистил башмаки, пришивал оторванные пуговицы. Но если бы кто знал, какого напряжения мне это стоило! Частенько, по привычке, я садился за письменный стол и мытарил изношенные мозги в надежде придумать сюжет. Ибо мне для того, чтобы начать писать, надо найти, сочинить, изобрести фабулу, сюжетный ход, историю, анекдот. Я делю сюжеты на накатывающиеся и на тормозящиеся. Те, что накатываются, пишутся легко, вольно, приятно.

Фантазия буйствует, и рука еле поспевает за ней. А если сюжет не накатывается, то есть одно не подталкивает другое, то я редко довожу дело до конца. Не хватает терпения. От переделок, исправлений, от недовольства написанным я так устаю, что начинаю ненавидеть собственное сочинение и испытываю к нему отвращение и брезгливость...

Я позвонил Володе, сыну Оксаны от первого брака. Первый муж Оксаны, театральный режиссер, которого считали очень одаренным, умер молодым от неизлечимой болезни. Я познакомился с Оксаной года через три после смерти мужа. У нее еще тогда были очень мощные, совсем не женские бицепсы рук оттого, что она несколько лет ухаживала за неподвижным, лежащим больным, которого приходилось регулярно приподымать, переворачивать, когда требовалось переодеть, или сменить белье, или сделать укол. Я на всякий случай поведал Володе все, что связано с метеоритом, где его надо получить, как водрузить на могилу, что написать на камне. Сказал, что время беспокойное, мало ли что может случиться, а я хочу быть уверенным, что дело будет доведено до конца. Володя был хорошим, надежным парнем, он обожал мать и тоже очень тяжело переживал ее смерть. Он работал актером в незначительном театре, жил трудно, а по нынешним временам просто бедно. Я иногда помогал ему, стараясь не задеть его мужского самолюбия...

Я сидел дома и поджидал Олега. Уже было семь вечера. Через полчаса мне понадобится машина, чтобы ехать за Людой. Я беспокоился, не ввязался ли он в какую-нибудь дурацкую катавасию с доносчиком. Наконец входная дверь отворилась, и младший Горюнов появился в квартире.

— Что так долго?

— Табачный бунт. Курильщики, человек триста, наверное, перегородили улицу. Всюду пробки. Пришлось добираться в обезд.

— Давай ключи. Я опаздываю.

— А что у меня было, не интересуешься?

— Интересуюсь. Только времени нет. Давай коротко.

— Ну, это был не тот, о котором я думал, но тоже дерьмо. Я заставил его по кусочкам сожрать собственный донос.

— И он сделал это? — Я надевал плащ.

— Не добровольно, конечно. Но после некоторых мер, предпринятых мною, жевал и глотал бумагу добросовестно. Потом я заставил его выпить слабительное. Причем много. Очень много. А после вывел на лестницу и — мне друг привез из Америки сувенир, наручники, — и приковал офицера Советской Армии к дверной ручке лифта его собственного подъезда. И ушел. Он вслед мне орал, что этого так не оставит, что ты пожалеешь... Угрожал, матерился...

— Ты, смотрю, тоже выдумщик!

— Одна кровь! — улыбнулся мститель. — Я еще не успел удалиться, как слабительное начало оказывать действие...

— Проводи меня, — попросил я, и мы стали быстро спускаться вниз.

— Слушай, у тебя в Москве есть где жить?

— А что такое? А-а, понял... Едешь за женщиной... У тебя роман начинается... Правильно?

— Если ты читаешь мои мысли, то должен понять: твое присутствие здесь, мягко говоря, вовсе не обязательно...

— Ах ты, старый селадон. Но, послушай, в квартире три комнаты...

— Нет, ты все равно будешь мне мешать!.. Так что валий отсюда.

— Ладно, не сердись! Я сейчас что-нибудь перекушу, ты не возражаешь?

— О чем ты говоришь? Не совестно? — обиделся я.
— Черт тебя знает... Шучу, шучу... Поем и исчезну до утра...

— Есть где переночевать?

— За меня не беспокойся, у меня много друзей...
Найдется место...

— А утром приходи. Вместе позавтракаем, и я отвезу тебя на аэродром. Если еще буду жив...

— Слушай, а может, тебе с этой... бабой уехать сейчас из Москвы? На дачу... или куда-то...

— Если это судьба, так она все равно настигнет...
Не важно где...

— Верно. Если только это судьба... Что ж, желаю успеха...

Я сел в машину и рванул с места. Без десяти восемь я подъехал к сбербанку на улице Медведева. Поставил машину на другой стороне. В освещенные окна я видел, что внутри оставались всего два клиента — мужчина в куртке и женщина в плаще. Вот они один за другим вышли на улицу. Часть света в операционном зале погасла. Одна из сотрудниц сбербанка выскочила на осеннюю улицу, раскрыла зонт и заспешила к Тверской. В темноте я не разобрал ее лица. Потом в зале остался гореть только дежурный свет, и две фигуры скрылись за задней дверью. Над входом зажглась лампочка, означающая, что сбербанк взят на охрану. А через несколько секунд в проеме ворот, соединяющих двор с улицей, показались два женских силуэта. Они постояли рядом некоторое время, а потом разошлись. Одна из женщин направилась через дорогу к машине. В этот момент я с бьющимся сердцем распахнул дверцу и ступил на мостовую. Я подбежал к Люде, взял ее за руку, втянул на тротуар и обнял. Моя щека прижималась к ее щеке. Я гладил ее волосы и бормотал что-то нежное, невнятное, хорошее. Было темно. Никто не видел моего лица, не знал, сколько мне лет, да я, пожалуй, и не думал о таких пустяках. Я целовал ее шею, волосы, лицо, ладошки. Она молча принимала мой порыв, а потом ее губы встретились с моими... Наверное, это продолжалось очень долго. А потом — второй поцелуй... и третий... Какие-то взбудораженные мурашки носились по спине и поясице. Ее руки гладили мое лицо, на котором годы пробуравили немало морщин, теребили волосы, вернее, их жалкие остатки. Она прижималась ко мне и тоже шептала что-то любовное, ласковое, неразборчивое. А потом я открыл дверь и усадил ее в машину.

— Поехали? — хрипло спросил я с опозданием на два года.

— Поехали, — ответила она, не спросив меня ни о чем.

Мы ехали молча. Начать разговор было нелегко. Я боялся неверной ноты, опасался неловким вопросом спугнуть ее. Если вдуматься, я ее совсем не знал, но почему-то был уверен, что она замечательная. Я верил своему ощущению. Как, оказывается, непросто вступить в разговор, если женщина тебе нравится. Я уж, честно говоря, и подзабыл, как это делается. Последняя женщина, от которой у меня кружилась голова, была Оксана, и происходило это более двадцати лет назад. Смешно, но не хватало опыта и уверенности. Следя за дорогой, я время от времени поглядывал на Люду. Она смотрела вперед и тоже молчала. Меня подмывало спросить ее о муже: она ведь так легко и сразу приняла мое приглашение. Но я понимал, что это будет не самое удачное начало беседы. Объяснять, почему я вдруг очутился и пригласил ее именно сегодня, тоже было не с руки. О том, что наша с ней встреча была мне предсказана цыганкой, лучше помолчать. И потом я не знал, как к ней обращаться: на «ты» или на «вы»?

Извечное мужское желание показать себя перед женщиной во всем блеске ума и обаяния, как выясни-

лось, сидело во мне крепко, несмотря на изрядный возраст.

Наше молчание затягивалось. От этого мое смущение увеличивалось. Я существовал сейчас как бы в двух пластах. Несмотря на мое беспокойство, я бы даже сказал, внутреннюю суетливость, в кабине машины висело какое-то электричество, которое излучали мы оба. Взаимная душевная тяга друг к другу поглощала, подминала под себя и малое наше знакомство, и щекотливость ситуации, и кажущуюся беспричинность встречи.

И вдруг, внезапно, пришло какое-то освобождение, ибо мы, по сути, объяснялись на ином языке, более высоком, нежели разговорный. Я посмотрел на Люду и убедился, что она испытывает то же самое. Не могу растолковать, почему я это понял. Я улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ.

— Если бы ты знала, как я рад.

— Я это чувствую. И я рада.

— Я хочу делать глупости.

— Я тоже, — сказала она. — Первую глупость я уже сделала: прибежала к тебе по первому знаку:

— Будем глупить дальше? — с улыбкой идиота спросил я.

— Еще как! — подхватила она. — Я очень устала жить по-умному.

— И я столько лет не валял дурака, — признался я.

Незначительные слова, идущие как бы по обочине, только подтвердили тот душевный поток, в котором плыли мы оба. Напряжение исчезло совсем, я забыл о разнице в годах, появилось ощущение равенства, которого у меня, признаюсь, не было. Страх, оставшийся от неудачи со шведкой, комплекс возраста — все это улетучилось. В душе царили естественность и свобода.

Мы въехали во двор. С трудом я втиснул «Волгу» в узкое пространство между двумя машинами, потом вышел, открыл дверь со стороны, где сидела Люда, и подал ей руку. Она оперлась на мою ладонь, но, выбираясь из машины, случайно уронила свою сумочку. Я нагнулся, чтобы поднять ее. В это время раздался резкий щелчок выстрела, и от стены сзади меня отлетел кусок штукатурки. Если бы Люда не уронила сумку, меня бы уже не было. Я выпрямился и увидел, как легковой автомобиль, какая-то иномарка, с погашенными фарами, без света задних фонарей и, кажется, без номера выскользнул в арку на Тверскую улицу. Стреляли, вероятно, из автомобиля.

— Что это? — спросила Люда. — Стреляли?

Я вытирал ее сумку, которая упала на мокрый асфальт, носовым платком и медлил с ответом.

— Если и стреляли, то мимо, — улыбнулся я.

Хорошо, что было темно, а то она наверняка заметила бы мою бледность и испуг в глазах. Я огляделся. Во дворе было тихо и пустынно. Да, видно, цыганка крепко знала свое дело. Пуля, конечно, предназначалась мне. Не в Люду же они целились. Мы направились к подъезду. Перед тем, как войти, я еще раз оглянулся, но ничего, что бы бросилось в глаза, не увидел. Ощущать себя мишенью было неуютно, тошнотно. Лифт, слава Богу, починили. Мне не улыбалось, поднимаясь пешком на седьмой этаж, пыхтеть рядом с Людой.

В кабине лифта я не терял времени. Я снова обнял Люду. Не только потому, что меня влекло к ней. Это было и желание спрятаться, укрыться, успокоиться. Я испытывал чувство, похожее на детское, когда прячешься в подол матери в поисках утешения.

Лифт остановился, но я еще некоторое время продолжал обнимать Люду.

— Ты меня пригласил в лифт? — чуть улыбнувшись, спросила она.

Я отстранился, пропустил ее вперед и стал ключом

отпирать дверь квартиры. Я открыл первый замок и хотел было вставить ключ в замочную скважину второго, как дверное полотно распахнулось изнутри. Нервы мои были на пределе, и я невольно отпрянул в сторону.

Квартира должна была быть пуста. Однако в двери стоял мой двойник и радушно улыбался.

— Добро пожаловать. Чувствуйте себя, как дома. — Он протянул руку Люде и представился: — Меня тоже зовут Олег. — Потом он обратился ко мне: — Я слышал выстрел, но, видя тебя в целостности и сохранности, понимаю: эти суки промазали!

— Что ты здесь делаешь? — спросил я, разозленный его присутствием и развязностью. — Я же тебя просил уйти.

— Я помню. — Он кивнул. — Но я еще не допил бутылку.

Тут я сообразил, что он попросту пьян. Этого только не хватало! Тем временем он галантно помог Люде снять плащ и оценивающим взглядом бесцеремонно окинул ее с ног до головы.

— Старик, у тебя хороший вкус! — одобрил он. — Идемте, выпьем за знакомство, — обратился он к Люде.

Та посмотрела на меня. Я понимал, что должен представить Олега и объяснить его присутствие здесь, но не мог уразуметь, как это сделать.

— Люда, я тебе потом объясню, кто это, — загадочно сказал я и обратился к Олегу: — Давай пошел отсюда. Мы же договорились.

— Сначала я выпью с Людой на брудершафт! — заупрямился пьяный двойник, разлил водку в фужеры и протянул один из них Люде.

— Спасибо, я не пью, — жестко отказалась она и отвела его руку от своего лица.

— Слушай, ты, алкоголическое рыло, — свирепо прошипел я и взял его за шиворот, — чеши отсюда. Немедленно.

— Сейчас, — покорно согласился он. — Отпусти меня. Я только допью и уползу...

Я его отпустил.

— Люда, — сказал младший Олег. — Я хочу выпить этот бокал за вас. Потому что вы мировая баба. Вы мне понравились. А мне не все нравятся.

— Спасибо, — сдержанно поблагодарила Люда, не ожидавшая, вероятно, такого приема.

Олег вышел фужер до дна и, обмякнув, опустился в прихожей на стул. Он попытался погладить Люду по коленке, но она оттолкнула его руку.

— Напрасно, — с укором молвил распоясавшийся афганец. — Ошибку делаете. Зачем вам эта старая рухлядь? — и он небрежным жестом показал на меня.

— Рухлядь не может быть молодой. — Я был в отчаянии. Этот пьяный кретин испортил мне первый вечер с Людой и последний вечер в жизни.

— Что у него не отнимешь — умен! — кивнул младший Олег и стал настырно уговаривать Люду: — Люда, пойдете со мной. Что он вам может дать? Пожилое, пожившее тело? Вялую любовь? Это не жизнь, а так... литературщина. Вы же молодая женщина. Вам мужик нужен. Пойдете со мной. Не пожалеете!..

И он попытался схватить Люду за руку. Люда толкнула его, и он снова плюхнулся на стул. Вдруг, цепenea, я вспомнил, что такие или очень похожие слова много лет назад произносил и я. Мерзко было в пьяном хаме узнавать себя. Разница, конечно, была: я говорил что-то в этом же роде женщине, которую очень желал, но в отсутствие соперника, тогда как Олег выражался при мне. Не знаю, впрочем, что лучше. Кроме того, я говорил, будучи трезвым, а этот мерзавец себя не контролировал. Тоже не знаю, кто вел себя порядочнее. Тогда та женщина меня отвергла, выбрала старика.

— Посмотрите на меня, — икнул младший Горюнов. — Я точно такой же, у нас одно лицо. Только я молодой, а он — дедушка. Ну, решайте!.. А пока выпьем! — И он поднес горлышко бутылки ко рту.

— Тебе хватит. — Я вырвал из его рук бутылку и посмотрел на Люду. Кто знает, о чем она думает сейчас и как поступит?

— Это твоя квартира? — спросила Люда.

Я кивнул.

— Так почему ты у себя дома терпишь эту пьяную скотину? Это что, твой сын? Или ты боишься его? Выстави его отсюда.

Я снова схватил Олега за шиворот и поволок к двери. Он, впрочем, не сопротивлялся.

— Я не скотина, — обиженно пробормотал он. — Я же хотел, как лучше... Какие все злобные... Зачем оскорблять? Убери руки, — окрысился он на меня. — Я и сам уйду...

Я отпустил его и отпер замок. Он, пошатываясь, вышел на лестничную площадку. И когда я захлопывал за ним дверь, он успел пробормотать:

— Нас на бабу променял!

Наконец мы остались вдвоем. Я был взъерошенный и очень несчастный. Врать ей, что Олег — мой непутевый сын, не хотелось, а сказать мистическую, необъяснимую правду было невыносимо: это выглядело бы как ложь.

— Успокойся. — Люда прижалась ко мне. — Он ушел, и слава Богу. Мне неинтересно, кто это. Не переживай из-за него. Было бы глупо испортить нашу встречу. Ну, улыбнись...

Чувство благодарной нежности возникло во мне. Люда пыталась спасти наше свидание. И я отрезал в своем сознании весь неприятный, злоеющий шлейф и сегодняшнего прошлого, и завтрашнего будущего. Я находился в квартире с прекрасной женщиной, в которую влюблялся все больше и больше. Я понял: надо жить данной минутой. Это было действительно царским подарком судьбы. «Смягчи последней лаской женскою...»

— Ты голодна? — спросил я, обнимая ее и умирая от счастья.

— Чудовищно, — ответила она. — И еще я умираю от счастья.

— И я тоже чудовищно хочу есть. И обожаю тебя! — Я посмотрел ей в глаза и спросил напрямик: — Что будем делать сначала?

— Не будем торопиться, — тихо сказала она.

Мы понимали один другого так, как будто прожили вместе всю жизнь.

— Тогда поужинаем. Ты хочешь чего-нибудь выпить?

— Нет... Я не хочу делить тебя с алкоголем.

— Я тоже.

Я принялся сооружать ужин, а она вошла в комнату и стала рассматривать мое жилище.

Я включил телевизор. Началась программа «Время». Специальным Указом Президента в Москве с сегодняшних 23 часов вводился комендантский час. До шести утра будет задерживаться каждый. Для работников ночных профессий выдадут специальные пропуска.

— До шести утра ты моя пленница, — сказал я, хотя на душе снова стало тоскливо.

— У меня есть еще два часа, в течение которых я могу улизнуть, — отозвалась она.

Она стояла около большой фотографии Оксаны и внимательно рассматривала ее. Я сделал вид, что не заметил этого, и усердно накрывал на стол в «фойе». Обычно сами мы ужинали, как и все, на кухне. И лишь гостей принимали в большой комнате. С едой было не очень шикарно, но в холодильнике я обнаружил банку крабов, оставшуюся с незапамятных вре-

мен. Пока я накрывал, а Люда знакомилась с квартирой, телевизор сообщал одну новость мрачнее другой. Вооруженные столкновения вспыхнули в Западной Украине... Какой-то маньяк устроил стрельбу в вагоне ленинградского метро и убил двадцать два человека... В военных действиях между грузинами и абхазцами была применена артиллерия. Много жертв с обеих сторон. Мятеж дальневосточных моряков поддерживали береговые части. Парализованы железные дороги Кавказа и Средней Азии. Через границу с Ираном ушел вооруженный отряд с грузом наркотиков. Убито три пограничника. Среди беженцев из Армении, размещенных в Коми АССР, начался голод. Когда перешли к сообщениям из-за рубежа, я выключил «ящик».

— Прощу, — пригласил я дорогую гостью за стол. — Извините, что меню не столь богатое...

— Ты перешел на «вы»? — поинтересовалась Люда.

— Это я для торжественности, ибо момент исключительный.

Я отодвинул стул, чтобы Люде было удобнее сесть. Усевшись напротив, я взял салфетку (я ни разу не ел с салфеткой после того, как не стало Оксаны) и засунул ее за воротник рубашки. Люда постелила салфетку на колени.

Я положил на Людину тарелку крабов и еще разной снеди, и мы принялись ужинать. В ответ на мои расспросы она стала рассказывать о своей жизни. Муж ее сделал карьеру коммерсанта, у него оказались организаторские способности, финансовая хватка, и он возглавил совместную с французами фирму по производству и продаже мебели. Много работает, хорошо зарабатывает, в том числе и в валюте. Часто ездит за границу. Купил автомобиль «СААБ». Все время угрожает Люду бросить службу в сбербанке, но она не хочет, ибо тогда превратится просто в его полную собственность, в его игрушку. Муж хочет купить под Москвой дачу за валюту. В доме крутятся какие-то люди. Они кажутся Люде подозрительными, нечистоплотными. Одна из комнат квартиры — а он приобрел четырехкомнатную — всегда заперта на ключ. Что там находится, Люда может только догадываться, муж ее ни разу туда не впускал. Тут я обратил внимание, что Люда очень хорошо одета, во все, как говорят, фирменное. Совсем не так, как раньше. Муж иногда не является ночевать, продолжала свой рассказ Люда, но она не думает, что у него какая-то женщина. Скорее всего, опасные дела, в которые ее не посвящают. Она бы, может, и ушла от него... Но, когда умерла ее мать, муж — его зовут Геннадием — проявил себя замечательно. Был заботлив, внимателен, добр, не оставлял ее одну. Организовал похороны, добился хорошего кладбища, устроил широкие поминки. Не забыл про девять и сорок дней. Вел себя по отношению к Люде безукоризненно. Да и она привыкла к нему. Ну, не любит его. Да разве все жены любят своих мужей? Это редкость. А кроме того, и ухаживать ей не к кому, да и некуда. Квартиру матери после ее смерти забрало государство. А Геннадий хоть и обращается с Людой, как с вещью, но как с любимой вещью. Покупает ей наряды, драгоценности, все время хочет порадовать. Наверное, по-своему любит. Действительно любит, но как хозяин, как собственник, как восточный человек.

Я спросил, сказала ли она Геннадию, что не придет сегодня ночевать? Да, она позвонила ему в контору буквально за две минуты до ухода из сбербанка и сказала, чтобы он ее сегодня не ждал. Если бы она сообщила раньше, он бы приехал и помешал.

— Как он прореагировал? — поинтересовался я.

После моего заявления, сказала Люда, сначала последовала долгая пауза, потом вопросы, переходящие

в крик и мат. Но куда она уходит, Люда не сказала, несмотря на его мольбы. Врать не хотелось, а правду говорить было невозможно, боязно, страшно. Характер у Геннадия мстительный и вспыльчивый. Кроме того, он жуткий ревнивец. Тем более еще до брака Люда что-то говорила ему обо мне с симпатией, и он не упускал случая, чтобы брякнуть про меня какую-нибудь гадость. Тут Люда перевела разговор. Она сказала, что слышала от кого-то о гибели Оксаны и даже хотела тогда написать мне, но побоялась, что я неправильно пойму ее соболезнования. Она только сейчас увидела лицо Оксаны на фотографии. Оксана напомнила ей чем-то Анни Жирардо. Она догадывается сейчас, почему я в тот раз не откликнулся на ее весьма прозрачный намек. Она, кажется, понимает меня, хотя тогда ей было очень обидно и горько. Она проревела всю ночь...

Тут я осознал, на что обрекаю Люду. Попросту разрушу ее жизнь. И я забил отбой. Заявил, что завтра уезжаю навсегда. И никогда не вернусь. Будет лучше, если Люда после ужина возвратится домой и обернет свой звонок мужу в шутку. Это будет правильно, разумно. И безопасно. Я себе не прошу, если с ней что-нибудь случится. Не хочу, чтобы из-за меня, из-за одной только ночи, она сломала бы свою жизнь.

— Это не жизнь, — грустно произнесла Люда. — Во всяком случае, не настоящая жизнь. Если ты хочешь, я уеду домой. Но я не жалею, что так поступила. Я люблю тебя. С первого раза, когда увидела. У нас не принято, чтобы женщина произносила такие слова первой, но мне все равно.

У меня невольно сдавило горло, влажная пелена навернулась на глаза. В это время зазвонил телефон. Я дернулся было к трубке, но она сказала:

— Не подходи.

— И я тебя люблю, — сказал я и почувствовал, что не соврал.

Мы сидели друг против друга и слушали, как надрылся телефон. Наконец он смолк.

— Спасибо, — сказала Люда.

— Ты сошла с ума. Разве за это благодарят?

— У меня какое-то дурное предчувствие, — проронила Люда. — Мне тревожно.

Я чуть было не раскололся и не поведал ей о предсказании цыганки, но взял себя в руки и промолчал. Я подошел к ней, поднял со стула и начал беспорядочно целовать. Телефон зазвонил снова, требовательно и настойчиво.

— Ладно, последний раз подойду, а потом выдерну шнур из розетки.

Я оторвался от Люды, подошел к аппарату и поднес трубку к уху.

— Добрый вечер. Это Олег Владимирович? — спросил мужской голос. — Горюнов?

— Добрый вечер, — отозвался я. — Слушаю вас.

— Попросите, пожалуйста, Люду, — сказал голос. — Я знаю, что она у вас.

— Какую Люду? Куда вы звоните? — произнес я. — Вы ошиблись.

— Позовите Люду — мою жену. И не надо врать, что она не у вас. Она мне сама сказала, что отправляется к вам.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это недоразумение. Я не знаю никакой Люды. — Я сделал знак, чтобы Люда сняла трубку с параллельного аппарата. Она уже, видно, догадалась, кто звонит, и поспешно схватила трубку. Я продолжал:

— Тут какая-то ошибка.

— Хватит болтать. Я же слышал, как кто-то взял вторую трубку. Не сомневайтесь, это она.

— Слушайте, вы рехнулись! Вы ненормальный!

— Правильно. Сейчас я приеду и подстрелю тебя

и ее. И меня оправдают, потому что я действительно рехнулся, а психов не осуждают. Слушай, Люда! Я знаю, что ты меня сейчас слушаешь. Ты меня знаешь. Я на ветер слов не бросаю. Не молчи. Имей мужество ответить. Немедленно приезжай домой.

Люда молчала, а я сказал:

— Повесьте трубку.

Трубку на том конце провода положили.

— Ты в самом деле сказала ему, что будешь у меня? — спросил я.

— Как я могла?! — Она помотала головой. — Он взял тебя на пушку.

— Откуда же он узнал, что ты здесь?

— Он ревновал меня к тебе, хотя и понимал, что у нас ничего не было. Он видел выражение моего лица, когда ты вел передачу по телевизору, видел, как я на тебя смотрела. Один раз у нас даже вышел скандал. Он хотел, чтобы я пошла с ним на день рождения человека, который для него был важен, а ты в этот вечер вел программу. Я уперлась и не пошла, и он понял причину. Обычно я безропотно подчинялась. Кроме того, твои книги. Я их читала часто. Он хорошо изучил меня и все сообразил. Я-то не удивлена этому.

— Понятно, — процедил я, проклиная себя, что откликнулся на звонок. — Глупо вышло...

— Надо немедленно уезжать, — с испугом сказала Люда. — Собирайся.

— Перестань паниковать... — хорохорился я. — Мы никуда не поедem.

— Ты его не знаешь. Я видела у него в ящике стола револьвер. А однажды он открыл при мне сейф...

— У вас дома есть сейф?

— Да, он держит в нем валюту. И я заметила там... по-моему, это был автомат... Его окружают люди... они способны на все. Надо бежать... Слома голову...

— У меня железная дверь, мне кооператоры поставили... Ее не взломаешь...

Люда двинулась в прихожую и стала надевать плащ.

— Через пятнадцать минут он будет здесь. Пойми, я не за себя боюсь. Надеюсь, я с ним совладаю. Ты можешь уйти немедленно ради меня?

— Я ради тебя все сделаю... Но это как-то не мужски. Противно...

— Ты болван. Хотя и очень любимый. Он ни перед чем не остановится. Он вооружен. — Она была в отчаянии. — Скорее. Тут каждая минута дорога.

Ее страх передался мне — дело, видно, и впрямь нешуточное! Я быстро оделся, сунул в карман свое газовое оружие и стал звонить на пульт охраны. Как только квартиру взяли на охрану, мы с Людой выскочили на лестничную клетку.

Лифт был занят. Люда не стала дожидаться, она поспешила вниз. Я последовал за ней. Перед тем, как выйти во двор, Люда высунула голову и огляделась:

— Никого.

Она быстро направилась к моей машине, я открыл ключом дверь, она скользнула на сиденье и отворила дверь со стороны шофера. Я уселся на водительское место.

— Поехали. Скорее...

Я завел двигатель и тронулся с места. Когда я поворачивал в арку, навстречу в мой двор въезжал серебристый «СААБ».

— Я же тебе говорила, — тихо сказала Люда. — Это он. Тут как тут.

Я вывернул на Тверскую и поехал вниз. Я посмотрел в зеркальце — погони за нами не было. Значит, он не догадался, что встреченная «Волга» — моя и что внутри сидела Люда... Я выехал из города и помчал по мокрому Калужскому шоссе.

— Куда мы едем? — спросила Люда.

— Ко мне на дачу! — ответил я и мигнул дальним

светом, чтобы встречный не слепил меня яркими лучами фар. Но тот даже не подумал переключить дальний свет на ближний. — Сволочь! — привычно ругнулся я.

Я обратил внимание, что в последние месяцы общее беззаконие перешло и на пренебрежение автомобильными правилами. Ощущение безнаказанности во всем проникло и в сознание водителей, многие начали нагло ездить на красный свет, нарушать, не обращая внимания на регулировщиков, не останавливаться на требовательные свистки гаишников. Анархия, поглотившая страну, перекочевала и на дороги, ездить стало опаснее, аварий и жертв стало куда больше. Несмотря на будничные вечер и поздний час, слепящих огней было немало. Вдруг впереди послышался истошный рев сирены. Прямо на нас перла колонна военных грузовиков, впереди которой, мигая синим светом и извергая из себя тревожный вопль, мчалась легковая машина с желтой фарой в центре. Из динамиков послышалась команда:

— Немедленно встать на обочину!

Я послушно свернул с асфальта и тормознул. В Москву на приличной скорости шли грузовики с солдатами, а замыкали колонну с десяток бронетранспортеров. «Дворники» беспрерывно ерзали по мокрому лобовому стеклу. Я посмотрел на Люду. Ее лицо, освещенное фарами военных машин, было загадочно и прекрасно.

— Тебе угрожает какая-то опасность? — вдруг спросила она.

— В общем... да... — Я немного помялся. — А почему ты так решила?

— Не знаю... Мне так показалось... Ты поэтому уезжаешь?

Соблазн рассказать ей все был велик. Я даже открыл рот, но с трудом сдержался. Я считал, что это не совсем по-мужски. Решил приврать что-то правдоподобное. Вспомнил своего двойника и заговорил:

— Нет, не поэму. Я ведь наполовину еврей, по матери. Меня пригласили в Израиль. На месяц. Но кто знает, что будет за это время здесь. И кто знает, что случится за этот месяц там. Помнишь: «С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них... И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...»

— Помню. Только я такого никогда не чувствовала... Умом понимала, но сама ни разу не испытала...

У меня сжало горло от того, как она это сказала. Я потянулся к ней, она приблизила свое лицо к моему. Мы поцеловались, а прожектора бесконечной колонны безжалостно освещали нас, выставляя напоказ всему свету. Наконец зловещая колонна прошла мимо, наступила черная темнота. Вокруг никого не было, машина одиноко стояла на обочине.

Мои руки непроизвольно направились от ее коленок и выше. Она сначала ответила на мое желание, а потом оттолкнула ищущие руки:

— Не здесь! Так не хочу!

Лицо мое пылало, но я послушно убрал свои конечности, завел двигатель и поехал вперед как сумасшедший.

— Не гони, дурак! — нежно засмеялась она. — Я никуда не денусь. Я сама тебя не отпущу.

Было начало одиннадцатого, когда я подкатил к даче. Достав из «бардачка» связку ключей, я сначала отпер калитку, потом снял с крюков перекладину, придерживающую ворота, и распахнул створки. Въехал, снова выскочил из машины, закрыл ворота, запер калитку, сел на шоферское сиденье и тихо приблизился к дому.

Фонарь, горевший на участке, освещал стеклянные дождевые капли на голых ветках. Я открыл правую дверь, помог Люде выйти из машины и тут увидел, что

в одном из окон дома горит свет. Я замер как вкопанный.

— В доме кто-то есть, — шепнул я Люде.

— Почему ты так решил? — тоже шепотом откликнулась она.

— Свет в окне!..

— Может, ты забыл погасить, когда был здесь последний раз?..

Мы говорили очень тихо.

— Исключено. У меня привычка — все гасить. Подожди.

Я вынул на всякий случай из кармана плаща газовый револьвер и на цыпочках направился к светящемуся окошку. Осторожно, опасаясь, чтобы меня не увидели из дачи, я заглянул в комнату. Там спиной ко мне сидел какой-то мужчина и смотрел телевизор. Господи! Что за проклятый день! Кто это? И вдруг озноб захлестнул все тело. А если это убийца? Если он меня ждет? Но откуда он мог узнать, что я сегодня приеду сюда? Людин муж? Вряд ли, слишком уж быстро он сориентировался. Человек встал, подошел к столу, взял сигарету и зажег спичку. Лицо его осветилось.

Я не знал этого человека, видел его впервые. Мужчина опять уселся перед телевизором. Я понял, что услышать меня он не может, так как звук был включен довольно громко. Я, находясь снаружи, слышал песню, которую пел Саша Малинин. Кстати, он мне очень нравился. Я попятился назад к машине.

— Там кто-то есть? — беззвучно спросила Люда.

— Да. Человек смотрит телевизор.

— Ты его знаешь?

— Нет. Никогда не видел.

— Поехали отсюда, — решительно произнесла Люда. — Скорее.

— Мне надоело бежать. Сначала из своей квартиры, потом со своей дачи. Это унижительно!

— А вдруг это Геннадий? — ужаснулась Люда.

— Исключено. Что он, волшебник или супермен?! Но Люда рванулась к дому и заглянула в окошко. Через несколько секунд она возвратилась.

— Это не он! Уезжаем! — сказала Люда.

— Ты, оказывается, трусишка...

Я не мог уехать. Честно говоря, я сам сильно дрейфил, но не в силах был заставить себя «выйти вон». Было стыдно перед женщиной, да и сам я к себе стал бы неважно относиться. Хотя и так относился неоднозначно.

— Ты побудь здесь, а я войду в дом, — наконец решил я.

— Нет. — Тон у Люды был непреклонный. — Я за тебя боюсь. И не пушу.

— Ты мне не жена, — сказал я грубовато. — Так что не командуй.

— Поехали! — приказала Люда. — Кто-то из двоих должен быть умный.

— Понимаешь, я тебя ужасно хочу. А это мой дом. И поэтому я туда пойду. И выгоню этого типа. И мы будем вместе.

— Умоляю тебя. Не надо. У нас есть дом — твоя машина.

— Нет, я так не хочу, — повторил я ее слова.

— Тогда я пойду с тобой. Рядом.

— Ладно, — после небольшой паузы согласился я. — Только ты пойдешь сзади.

Люда увидела прислоненную к дому лопату и взяла ее. Мы двинулись к крыльцу. В правой руке у меня был газовый револьвер, в левой — связка ключей. Сердце колотилось от страха и волнения. Люда шла за мной с лопатой наперевес. Каким-то вторым зрением я увидел нас со стороны и понял, что мы представляем собой весьма комичное зрелище. Но мне было не до смеха. Я открыл входную дверь и буквально впрыгнул

в комнату — откуда только взялась прыть! Мужчина обернулся и, увидев нас, вскочил. На нем был мой тренировочный костюм, купленный в Париже по настоянию Оксаны. Мы смотрели друг на друга, а из телевизора заливался голос Малинина:

Не падайте духом, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, налейте вина!

— Что вы здесь делаете? — спросил я. — Кто вы такой?

— Вы хозяин дачи? — догадался жилец. Это был мужчина лет сорока пяти, наголо стриженный. Один глаз у него нервно подергивался.

Я увидел, что на журнальном столике стояла бутылка «Наполеона» — подарок каких-то иностранцев, — которая была наполовину пуста.

— Не только дачи, но и костюма, который на вас, и коньяка, который вы пьете.

— Простите... Я ничего не взял у вас. Я вообще-то бомж... Зимой... вот так... кочую с дачи на дачу... Там, где хозяева живут только летом... Но не ворую...

— И давно вы здесь? — Я немного успокоился, видя, что гость не проявляет агрессии.

— Уже четвертый день. Продукты ваши, конечно, подьел... Но я отработаю... Приду весной, вскопаю что надо... Я и плотничать могу...

— Вот что, — вмешалась вдруг Люда. — Быстро уходите отсюда, пока мы не вызвали милицию. Бегом. Я вас узнала. Вас по телевизору показывали.

И тут незваного гостя словно подменили. Он рванулся к открытой входной двери и немедленно исчез. Недоумевая, я выскочил вслед за ним на крыльцо и увидел, как он с лету перемахнул через забор.

— Плакал мой французский тренировочный костюм, — заметил я меланхолично. — Что это за тип?

— Несколько дней назад его рожу показывали по московской программе. Убил жену и скрылся. У него примета — нервный тик одного глаза. Вот он и задал стрекача.

Я посмотрел на Люду, которая, как ополченка, держала лопату в боевой позиции.

— Ты вооружена и очень опасна, — сказал я. — Как ты думаешь, он не вернется? У него тут небось остались какие-то его шмотки?

— Я думаю, он сейчас ставит мировой рекорд по бегу на очень длинную дистанцию.

— Неужели мы одни? — спросил я, отнимая у нее лопату и вводя в дом. — Я не могу в это поверить.

— Запри-ка лучше дверь, — посоветовала Люда. — А потом проверь дом — нет ли здесь кого еще.

Я послушался мудрого совета. Осматривая дачу, я понял, что посетитель проник внутрь через окно второго этажа, выбив стекло в спальне. Здесь он и спал, постель была вздыблена и не убрана. Я закрыл дверь спальни и спустился. Внизу я достал две чистых рюмки из буфета, взял бутылку «Наполеона» и разлил коньяк.

— Мы должны поблагодарить этого убийцу, что он не все вылакал, — сказал я. — Честно говоря, после всего пережитого дербалызнуть по рюмашке будет недурно.

— Да, вечер выдался интересный, — поддержала меня Люда. — Разнообразный.

— Боюсь, что после всего мне понадобится немало усилий, чтобы оказаться на высоте...

— Вот уж чего не боюсь. — Люда нахально посмотрела мне в глаза.

— За нашу встречу! — Мы чокнулись и выпили.

— Пойдем в кабинет. — Я забрал с собой остатки коньяка, обнял Люду за плечи, и мы по деревянной лестнице отправились на второй этаж.

И когда наконец случилось то, к чему мы шли весь вечер через цепь препятствий, настырно затрещав

телефон. Но звонок как бы раздавался в другой реальности, в ином пространстве, в неясном измерении. Я вроде бы все слышал, но я ничего не слышал. Даже если бы это звонили от самого Господа, я бы все равно не снял трубку...

У нашей жизни — кратки сроки.
Мы — как бумага для письма,
где время пишет свои строки
порой без смысла и ума.

Вся наша жизнь — дорога к смерти,
письмо, где текст-то — ерунда...
Потом заклеят нас в конверте,
пошлют неведомо куда...
И нет постскриптума, поверьте...

Глава пятая

Я проснулся около пяти. За окном затаилась осенняя враждебная тьма. Тусклый свет уличного фонаря еле освещал раскоряченные голые деревья, которые в отчаянии от потерь вздымали руки-сучья к небу. Остатки света проникали в кабинет вместе с причудливыми тенями и придавали предметам зыбкую таинственность. По крыше монотонно молотил октябрьский занудливый дождь. В даче было тепло, но все равно не хотелось выползти из кровати. Однако организм требовал. Люди моего возраста обычно встают ночью. Чего скрывать, дело житейское. Как правило, после нехитрой процедуры в туалете я отключался снова. Вернувшись в постель, где мирно и бесшумно дышала Люда, я тихо, чтобы не разбудить ее, скользнул под одеяло и лежал на спине, не закрывая глаз. Сон не приходил. Разброд мыслей, переполох чувств, наворот событий — все это перемешалось в душе. Мое плечо касалось ее плеча. Привычка к ночному одиночеству и постоянная сжатая тоска от этого растворились куда-то, невидимая пружина как бы разжалась. Я снова был не один, я снова возвращался к жизни. «Правда, не очень-то надолго», — усмехнулся я. Но все равно я поблагодарил судьбу за неожиданный и бесценный подарок, который мне был преподнесен в конце пути. Я встретил Люду в тяжкую минуту. Казалось, ничто не сможет отвлечь меня от ожидания смерти. И действительно, ожидание оказалось очень сильным, оно подмяло под себя все остальные эмоции и ощущения. Но присутствие Люды, ее нежность, ее естественность совершили чудо. Страх смерти не то чтобы улетучился совсем, но отодвинулся далеко-далеко. И мы уплыли вместе в какую-то замечательно прекрасную страну, где не было ни времени, ни границ. О, я умел ценить всамделишность любви и искренность ее выражения. Думаю, подлинная близость между женщиной и мужчиной, если она освящена любовью, всегда безгрешна, ибо природа не бывает похотливой...

Какие только женщины не попадались мне за длинную жизнь! И кусающиеся, демонстрирующие зубами жгучую страсть (после них на теле долго остаются отметины), и лизучие, изображающие нежность, и бешено орущие, афиширующие эротический экстаз, и манерные, якобы оказывающие сопротивление и тем самым подчеркивающие собственную чистоту, и деловитые, занимающиеся любовью так, будто печатают на машинке статистический отчет, и интеллигентно постановяющие, выражающие тактичным кряхтением чувство глубокого полового удовлетворения, и ощущающие себя подарком неподвижные бревна, и лениво-пресыщенные, почитывающие во время акта заграничный детектив... Признаюсь, это глубокое исследование основано не только на личном опыте. Я не хочу казаться ни лучше, ни хуже — в зависи-

мости от точки зрения на этот предмет. Кое-что я позаимствовал из практики друзей, делившихся со мной своими амурными похождениями...

Потом совершенно беспричинно я вдруг вспомнил свой визит в райком партии к секретарю-женщине, ведающей идеологией. Это было лет, наверное, двадцать пять тому назад. Направили меня в этот самый райком на собеседование. Мою очередную повесть редколлегия «Юности» представила на Государственную премию СССР. И, как тогда говорили, требовалась поддержка многих организаций, в том числе и райкома партии. А меня в это время обкладывали со всех сторон, загоняя в коммунистическую стаю. И улещивали, и завлекали, и оболщали, и ласково угрожали. А я вилял, петлял, ускользал. Главное было — смыться так, чтобы не навредить себе, не навлечь гнева этого могущественного клана, ибо коммунисты мстили беспощадно. Сначала я убеждал вербовщиков, что еще не созрел для такого ответственного шага.

— Вы созрели! — уверяли меня.

Потом, после очередных покушений на мою беспартийную свободу, я принялся себя порочить: мол, недостойн, не чувствую в себе уверенности, что стану активным строителем светлого будущего, что в психологии моей немало мелкобуржуазного. (Последнее, надо признаться, было правдой.)

— Вы достойны! — возражали мне. — Партия поможет вам избавиться от ваших недостатков.

Во время собеседования в райкоме руководящая дама, лет эдак тридцати пяти, понимая, что я заинтересован в поддержке, поперла на меня, чтобы я дал ей обещание вступить в их славные ряды. Я понимал, что, если я опять слиняю, не видать мне премии, как собственной плешки на макушке. Тогда, чтобы обставить поприличнее свой отказ, я прибегнул к напраслине и прямой клевете на самого себя.

— Вы знаете, я бы с удовольствием пополнил ряды вашей замечательной организации, но у меня есть жуткий порок, чтобы не сказать хуже, — доверительно признался я.

Собеседница перегнулась через стол, сгорая от любопытства.

Я скромно потупился:

— Дело в том, что я — бабник! Я бы даже сказал, бабник-террорист! Увижу юбку — не могу пропустить. А это несовместимо с высоким званием коммуниста.

И я посмотрел на нее циничным мужским взглядом, как бы срывая с нее костюм, купленный явно где-то за границей. Мои глаза раздевали, шарили по ее телу, оценивая скрытые под одеждой женские прелести. Между прочим, прелести, судя по всему, имелись.

В жизни, кстати, я никогда таким образом не смотрел ни на одну женщину. Но тут — общение с актерской братией пригодились — я попытался сыграть донжуана. Коммунистка покраснела и откинулась в кресле. Она, конечно, почувствовала издевку, и, думаю, ее больше обидело мое лицемерие, то, что мое восхищение ею как женщиной было ненатуральным. Она быстро взяла себя в руки и сухо закончила нашу встречу. Я покинул безликий кабинет, радуясь, что отбоярился. Государственной премии я, конечно, не получил. Но это меня, в общем, не огорчило, так... чуть царапнуло самолюбие... Независимость, пусть даже относительная, была мне тем не менее дороже...

Тут я себя одернул, ибо отдавать последние часы подобным идиотским воспоминаниям было полной чужью.

Какими длинными обернулись для меня заключительные сутки! Как будто я прожил за это время еще одну, дополнительную жизнь. Во всяком случае, событий, нагромоздившихся друг на друга, с избытком хватило бы на несколько лет.

А ведь еще совсем недавно я беспечно трясся в спальном вагоне первой полнотражной русской железной дороги. В это же самое время вчерашних суток опаздывающий состав тащился где-то между Бологим и Тверью. Я неважно спал, как всегда в поезде. В купе было слишком жарко, я мучился от духоты, клял железную дорогу, ворочался, пытаюсь уснуть. И совершенно не подозревал, что по прибытии в столицу мое существование перевернется и я выйду на финишную прямую жизни. Пока сбывалось все, что наобещала цыганка в своем предсказании. Но единственное, чего я никак не мог уразуметь, — это возникновение моего молодого двойника. Младший Олег был одновременно как бы я и как бы не я. Различия между нами, конечно, существовало. Но и сходство было невероятное. Если бы я родился в его время и оказался на его месте, я стал бы, вероятно, точно таким же. Но откуда он возник? И почему именно сейчас? И для чего? Увижу ли я его еще раз? И почему он улетает в Израиль? Тут я подумал о сочетании в себе самом русского и еврейского. Графа в пятом пункте анкеты, где я писал «русский», надежно защищала меня от государственного антисемитизма. В детские годы и в институтские я не ощущал на себе, что я частично неполноценен. Мама по воспитанию своему была совершенно русской женщиной. Она не знала ни еврейского языка, ни национальных праздников. А из кушаний умела готовить только два блюда — фаршированную рыбу и «тейглах» — запеченные, в меду, палочки из теста. Мама вообще была замечательным кулинаром. Из еврейских слов я знал несколько: «дрек мит пфеффер», или в переводе «говно с перцем», «мишугене», что означало «сумасшедший», «лохачи» — слово, которое говорили, чокаясь, и «шли-мазл», что переводилось как «недотепа» или «неудачник». Я явственно ощущал в себе еврейские гены только тогда, когда слышал национальную музыку, щемящую, печальную, надрывную. Тут вся душа моя отзывалась на эти звуки, инстинктивно взбудораживалось что-то прятавшееся в глубине, на глаза наворачивались слезы, и какие-то смутные библейские картинки начинали беречь сердце.

Но вообще проблемы евреев довольно долгое время не привлекали моего внимания. К созданию государства Израиль я отнесся равнодушно, по-моему, даже не заметил. И лишь когда было сфабриковано «дело врачей», я впервые осознал жестокою мощью государственного антисемитизма. Тогда я распылчато осознал, что наш строй воспринял и унаследовал гитлеровский расизм. Но в то время это было зыбкое, несформулированное чувство. Потом умер генералиссимус, и наступили иные времена. Я не рекламировал, что я полукровка, но особенно и не скрывал. Кто-то знал о том, что я «порченный», но для широкой публики я был таким же русским писателем, как Аксенов или Высоцкий. Всерьез я начал задумываться над еврейскими делами, когда Россию стали покидать друзья — Галич, Коржавин, Копелев, Эткинд, Некрич. А в перестроечные годы, когда имперская державная юдофобия несколько отступила, то на передний план вышли черносотенцы-общественники... Добровольцы, волонтеры. Я догадывался, что и в армии, и в КГБ у погромщиков немало покровителей и сочувствующих. Но не пойман — не вор. Я вспомнил встреченную вчера бесконечную военную колонну, идущую в Москву, и пожегся. Идея армейского заговора последние месяцы висела над страной. Об этом говорилось по телевидению, спорили газетчики, толковали в очередях.

Тут я ощутил, что Люда проснулась. Она лежала, не шевелясь, но я чувствовал, что ее глаза открыты.

— Ты не спишь? — еле слышно, без голоса, спросил я.

— Нет... — так же тихо прошептала она. — Пытаюсь угадать, о чем ты думаешь. По-моему, о судьбе страны.

— Неужели мои мозги скрипели так громко, что разбудили тебя? — поинтересовался я.

— Нет, я сама проснулась. Преступно спать, когда у нас с тобой осталось так мало времени. Когда у тебя самолет?

Я вместо ответа погладил ее. Мы потянулись друг к другу, и снова я отправился в блаженное путешествие без времени и без границ...

А потом я отвалился в сон, минут, наверное, на десять — пятнадцать. Когда я проснулся, то увидел Люду, выходящую из ванной в моем купальном халате и с мокрой головой, обернутой полотенцем.

Начало мутно светать. Дождь по-прежнему стучал по железной крыше. Я отправился в душ, наказав Люде обшарить в кухне все шкафчики и приготовить какой-нибудь завтрак. Когда я стоял под горячим душем, я вдруг вспомнил, что покойников обмывают. Стало как-то очень противно, но я подумал, что со мной можно будет эту церемонию не производить. Тем не менее стало не по себе, меня подташнивало. Я выполз из ванной в одних трусах. Кстати, кальсон я не носил никогда. Еще в молодости я твердо сказал себе, что если я надену кальсоны, то, значит, я — старик. И эта молодая бравлада так засела в башке, что до последней минуты я держался. В зимние холода коченел, но в кальсоны не влезал ни за что. Это, может, и не говорит о большом уме, но «из песни слова не выкинешь». Люда уступила мне мой халат — она уже успела одеться.

— С завтраком дело дрянь! — сказала она. — Я устроила повальный обывок, но этот убивец поддел практически все. Есть несколько картофелин, но нет ни масла, ни сметаны. Также отсутствуют чай, кофе, сахар, хлеб и все остальное тоже.

— Ты как себя чувствуешь? — спросил я.

Она нежно посмотрела на меня и сказала после паузы:

— Замечательно!

— Тогда поедем завтракать в Москву, — шутиливо произнес я и отвернулся, стараясь, чтобы она не заметила, как у меня увлажнились глаза.

В сарае хранились две двадцатилитровые канистры с бензином — неприкосновенный запас. Я снял с гвоздя ключи и, осторожно озираясь по сторонам, направился к сараю. Внутри дома ощущение опасности уходило на второй план, но как только я очутился вне стен, сразу же почувствовал себя дичью, за которой охотятся. Однако путешествие до сарая и обратно закончилось благополучно. Я подтащил обе емкости к автомобилю, открыл багажник, всунул в жерло бензобака большую воронку и, дав бултыхающемуся внутри канистры бензину успокоиться, начал заполнять бак. Подбежала Люда и стала поддерживать канистру, чтобы мне было не так тяжело.

— Отпусти, я сам. — Я не подозревал, что во мне столь сильно развито мужское самолюбие. И не только мужское, но и возрастное.

— Я хочу тебе помочь, — улыбнулась Люда. — Я хотела бы это делать всегда.

Я опять тупо промолчал, не зная, как себя вести и что ответить. Я угадывал: она понимает, что я скрываю какую-то тайну, но не хочет быть назойливой.

Я запер дом, мысленно попрощался с ним навсегда, и мы направились в город. Я за свою жизнь насмотрелся немало детективных фильмов и поэтому время от времени поглядывал в зеркало, не преследует ли нас какая-нибудь машина. Но нет, сзади «хвоста» не было. Вскоре мы нагнали колонну бронетранспортеров, которая неторопливо и угрюмо двигалась в сторону столицы. Войска явно стягивались в Москву. Все

это делалось под маркой подготовки к параду седьмого ноября.

— Если военные захватят власть, я окажусь за решеткой одним из первых, — сказал я, будто ставил диагноз. — Будешь мне носить передачи?

— Ты же сегодня уезжаешь. Будем надеяться, что это не произойдет до твоего отъезда.

— Ну, всякое может случиться... А вдруг и не улечу... — невнятно пробормотал я. Все-таки слабая надежда, что я уцелею, что меня не коknут, тлела где-то в недрах сознания.

— Правда? — встрепенулась Люда. — Ты, может, не уедешь?

— Скорее всего уеду, — нетвердо сказал я. — Хотя, честно говоря, очень не хочется. Маленький шанс, что я останусь в Москве, есть. Тем более после нашей встречи у меня нет никакого желания расставаться с тобой. Я тебя люблю. А я так давно не говорил этих слов.

Люда положила мне голову на плечо и долго молчала.

— Я мечтала услышать эти слова именно от тебя. Оставайся. Я тебя очень прошу...

— Попробую... Но тут не все зависит от меня... — Противно было не договаривать, утаивать, но выхода не было. Сказать правду я не смел.

— Я могу как-то повлиять, помочь, что-то сделать?

— К сожалению, нет. Тебя отвезти на работу?

— Нет, я сегодня не пойду. Я провожу тебя...

«В последний путь», — мысленно и невесело пошутил я.

Когда мы подъехали к моему дому, я затормозил и, прежде чем въехать на свое место, внимательно оглядел пространство двора. Все выглядело буднично. У задворков магазина «Армения» стоял фургон, и грузчики что-то разгружали. Грузчики были натуральные. Я взглянул на часы: было без четверти девять. День выдался тусклый, унылый, морось висела в воздухе. Я посмотрел на Люду и сказал:

— Ты даже не подозреваешь, что ты для меня значишь. Я тебе так благодарен... Тыфу... Все эти слова не передают и сотой доли того, что я испытываю по отношению к тебе. Я просто помираю от счастья. Запомни, что я тебе сказал. — Видно, в моем голосе проскользнула какая-то завещательная, прощальная интонация.

Люда тревожно взглянула на меня:

— Тебя что-то гнетет, я знаю. Не скрывай от меня. Тебе грозит беда? Скажи мне. Я постараюсь помочь. Не думай, что я слабая.

— Может, позже и скажу. А сейчас айда завтракать. — Я перевел наш разговор на другой лад. — Желудок бунтует и требует. Никто так не любит завтракать, как я. А также обедать и ужинать. И никто не относится к своему желудку с таким глубоким уважением. — Я болтал без перерыва.

Въехав во двор, я протиснул «Волгу» между двумя соседскими машинами. Одна из них была уже накрыта брезентом — законсервирована на зиму. Мы вошли в подъезд, лифт, как ни странно, работал, и мы поднялись на седьмой этаж. Здесь перед нашими глазами предстало отвратительное зрелище. Обивка с моей двери была содрана и сожжена. На полу валялись куски черной, обгоревшей ваты. Дымные подпалы, оставшиеся от огня, причудливо разукрасили дверь. Потолок был также закопчен. У двери на полу валялась литровая бутылка. Я поднял ее и понюхал. Она пахла бензином.

— Интересно, цело ли что-нибудь внутри? — бесцветно спросил я.

На верхнем дверном замке виднелись следы попыток взлома. Привычными движениями я открыл оба замка и распахнул входную дверь. В квартиру, похо-

же, огонь не пробрался. Я быстро вбежал в большую комнату и огляделся. На первый взгляд все было в порядке, ничего не тронули. Никто, кажется, сюда не входил. Видно, внутрь поджигатели проникнуть не смогли. Я набрал номер охраны и спросил, не получали ли они на пульте какие-нибудь тревожные сигналы из моей квартиры. Незнакомый женский голос ответил, что все было спокойно, что сигнал у них срабатывает только в том случае, когда открывается входная дверь или разбивается окно. Я повесил трубку. Вздыхнул. Помолчал. И вдруг что-то нахлынуло. Видно, лопнула какая-то пружина, которая заставляла меня держаться. Я сорвался... Куда подевались спокойствие, ирония, сила!

У меня началась форменная истерика. Я заорал, что не могу больше выносить этого ожидания, что лучше умереть, чем жить в таком напряжении. Слезы текли, а я взахлеб открывал Люде все, что таил от нее, рассказывал про цыганку, про ее зловеший прогноз. Регулярно сморкаясь и шмыгая, поведал о том, что происходило со мной вчера, о появлении младшего Олега, о Поплавском, об осквернении материнской могилы. Она обняла меня, а я уткнулся ей в живот, как когда-то в детстве утыкался в передник мамы. Я объяснял ей, что нигде не собираюсь уезжать по своей воле. Она гладила меня по голове, целовала лицо, умоляла успокоиться, утешала, шептала нежные, ласковые слова. Я всхлипывал, а она платком вытирала слезы с моих глаз. Не помню, когда я плакал последний раз. Ревущий пожилой мужчина — зрелище, вероятно, малопривлекательное. Но мне не было стыдно перед Людой за то, что я распустил нюни, за проявленную слабость, за малодушие, за трусость. Наоборот, мне стало легче, и я постепенно успокоился. А Люда после моего взрыва отчаяния стала мне еще ближе, еще дороже...

Когда мы завтракали, в дверь позвонили.

— Я сама посмотрю, — сказала Люда, пошла в прихожую и прильнула к глазку.

Через несколько секунд она вернулась в кухню.

— Там молодой Олег... — И Люда вопросительно взглянула на меня. — Открыть? Может, не стоит... Черт его знает... Он мне не понравился...

Вместо ответа я выскочил в переднюю. Я вдруг осознал, что ждал его прихода и желал его. Я распахнул входную дверь. В руках Олег держал небольшой чемодан.

— Не помешаю? — галантно спросил он.

— Я рад твоему появлению, — сердечно сказал я. — У тебя невероятное чутье — ты поспел как раз к завтраку.

— Привычка опытного холостяка, — отозвался Олег.

Я покосился на его чемодан.

— Это мои шмотки, все, что я увожу из страны. Рукописи, — пояснил двойник. — А я доволен, что вижу тебя целым и невредимым.

— Я отвезу тебя в аэропорт... — предложил я.

— Поскольку я читаю твои мысли, то вдвойне ценю твоё предложение. Но думаю, не стоит, — отказался Олег. — Тебе лучше пока не выходить. Назначенный срок еще не кончился.

— А я его и не выпущу, — вдруг вмешалась Люда. — Сегодня ему лучше не показываться на улице.

Олег вопросительно взглянул на меня.

— Дама в курсе? — спросил он.

— Ну-ну, раскомандовалась, — мягко осадил я Люду, а потом добавил: — Люда все знает.

— Тут у вас было не скучно. — Олег присел к столу. — Как я вижу, было жарко. — Люда налила ему кофе. — Вызывали пожарных? Или сами погасили?

— Поджигали дверь, когда нас не было. Мы здесь не ночевали.

— Повезло, — засмеялся Олег. — А то это вам очень бы помешало. Если бы я знал, что вы уедете на дачу, то я бы, может, и остался.

— А тебя кто приютил на ночь? — поинтересовался я.

— Мне вчера была необходима баба, — откровенно признался младший Горюнов. — Поскольку здесь, — он поклонился в сторону Люды, — я получил афронт... Кстати, приношу извинения за мое вчерашнее хамство... Выпил лишнего. И у тебя тоже прошу прощения... — Это относилось ко мне. — Я и направился к «Националю», где меня склеила привлекательная молоденькая путанка лет двадцати. У нее уже и машина, и квартирка на Старом Арбате, и всякие там видяшники... В общем, она в порядке. Время провел недурно, девица оказалась опытная во всех смыслах. Профессионалка. Осталась без копейки валюты. Рубли барышня не уважает. Так что улетаю без гроша в кармане.

— У меня есть где-то долларов пятнадцать, — сказал я. — Тебе там хоть на такси хватит, чтобы доехать из аэропорта.

— Это мне здесь хватит, чтобы доехать на такси до Шереметьева. Эти молодчики в клеточку за деревянные рубли теперь не возят. Исключительно за конвертируемые денежки.

Я достал из письменного стола доллары, которые не успел потратить в последней поездке по Норвегии, и отдал ему.

— Мне пора. Пока схвачу машину. Опаздывать не хочется, — сказал Олег. — Счастливо оставаться. Посидим, что ли, перед дорогой?

Мы все трое присели и помолчали. Потом Олег встал, обнял меня, помахал Люде рукой и направился к двери. Я почувствовал, что не могу позволить ему уйти так внезапно и навсегда. Я понял, что без него моя жизнь станет неполной и ущербной. Мне показалось, что от меня отрывают часть меня самого. Хотелось задержать его, продлить прощание, остановить, попросить не уезжать.

— Подожди. Я не могу с тобой так сразу расстаться. Я отвезу тебя в аэропорт.

И, прежде чем Люда и Олег успели что-то возразить, я уже оказался на лестничной клетке. Я бежал вниз, надевая на ходу пальто. По предсказанию цыганки мне оставалось жить не более тридцати минут. Люда и Олег спешили за мной и уговаривали вернуться. Но меня охватило какое-то безумие. Я ничего не слушал и летел навстречу судьбе.

Олег и Люда обогнали меня и преградили путь, закрыв собою парадное. Но я — откуда только сила взялась! — отодвинул их с дороги и выскочил во двор. Я примчался к своей «Волге», отпер двери с пассажирской стороны, распахнул их и пошел открывать шоферскую дверцу.

— Садитесь! — скомандовал я Люде и Олегу, которые беспокойно озирались вокруг.

Олег швырнул свой чемодан на заднее сиденье.

В этот момент заляпанный грязью «Жигуленок» отъехал от тротуара и направился к арке, ведущей на Тверскую.

— Кажется, это они! — вдруг произнес молодой Горюнов и сделал два шага вперед, заслонив меня от едущего автомобиля.

И тут прозвучал резкий звук выстрела. Олег медленно осел на землю, а грязный «Жигуленок» скрылся в арке. Я подбежал к Олегу, пуля угодила ему в грудь.

— Вызывай «Скорую»! Немедленно! — завопил я в ужасе.

Люда понеслась со двора на улицу к телефону-автомату. Я опустился на колени и стал растегивать куртку Олега.

— Ну, вот, предсказание сбылось, цыганка не оши-

блась. Кажется, они выстрелили метко, — тихо произнес Олег.

— Это все из-за моего упрямства, — сказал я, цепенея, ибо видел, откуда хлестала кровь. Как бывший доктор, я понимал, что дело дрянь! — Господи, какой же я идиот!

— Слушай меня и не перебивай, у меня мало времени... Возьми в кармане пиджака паспорт и билет... — Голос Олега слабел, паузы между словами становились все длиннее и длиннее. — Паспорт... на мое... и, значит, на... твоё имя... немедленно в аэропорт... улетаю... только так... спасешься... у этой страны... нет будущего... беги... это не эмиграция... это эвакуация... бери паспорт...

Под гипнотическим взглядом умирающего я засунул руку в карман пиджака и вытащил паспорт, в который был вложен авиабилет.

— Беги отсюда... прошу... — прохрипел Олег. — ...я... сделал... то, что... мне...

Он не договорил. Тело его дернулось и замерло. Я схватил его руку и стал искать пульс, но никак не мог отыскать. Не мог, потому что пульса больше не было. Я машинально посмотрел на часы. Через пятнадцать минут исполнится ровно двадцать четыре часа с момента моей встречи с прорицательницей.

Прибежала Люда:

— Ну, как он?

— Умер...

Люда наклонилась над телом.

— Я вызвала по 03 «Скорую» и по 02 милицию.

— Он специально прикрыл меня от выстрела.

— Я видела...

— Он спас мне жизнь... Ценою своей...

Около нас стала собираться толпа. Люди переговаривались:

— Что случилось?

— Человека убили!..

— Я слышала — стреляли...

— Как стало страшно жить!..

— Я видела: стреляли из машины.

— Преступники совсем обнаглели!..

— На днях священника убили. Топором.

Я протянул паспорт Олега, который до сих пор держал в руке, Люде. Она машинально положила его в сумку.

— Среди бела дня...

— Какой молодой-то!..

— Рэкетеры, что ли?..

— Жуть, одно слово...

Люда приблизилась ко мне и прошептала:

— Посмотри, как он изменился!..

Я уставился в лицо мертвого. Оно действительно стало каким-то другим. Что-то неуловимое, необъяснимое случилось с его чертами. Нет, он не стал рыжим или курчавым, у него не изменился нос, не ввалились щеки. Вроде все оставалось таким же, но вместе с тем это был лик другого, незнакомого мне человека. То ли смерть так исказила внешность его, то ли проступила иная, скрытая личина. Какой-то мистический страх, чувство доселе незнакомое мне, пронзило меня. Я снова ощутил, как свершается что-то за гранью моего опыта и понимания.

Первой приехала милиция, а вскоре явилась и «скорая помощь». Толпа при виде милицейского «газика» быстро растаяла, осталось только несколько человек. У Олега, разумеется, не нашли никаких документов. В бумажнике было пятнадцать долларов и около трехсот рублей. Я объяснил милиции, что убитый — молодой автор, который принес для прочтения свою рукопись, сказал, что и пришел именно ко мне потому, что мы с ним полные тезки. Кто он, откуда — я понятия не имею. Документов у него, разумеется, не спрашивал. Я врал с легкостью, будто кто-то мне суфлировал эту версию.

Милиционеры занесли в протокол, что жертву звали предположительно Олег Владимирович Горюнов. Санитар и шофер «скорой помощи» загрузили труп в машину. Я поинтересовался, куда его отвезут. Они сказали, что в морг больницы имени Склифосовского. Офицер милиции предупредил, что они откроют уголовное дело и тогда рукопись убитого может понадобиться. Я дал свои координаты, вернее, они списали их с моего паспорта. А паспорт был всегда при мне, ибо без документа с пропиской в городе за последние месяцы ничего нельзя было купить. «Скорая» увезла тело моего спасителя. Опросив свидетелей, отбыла и милицмейская команда. Все это заняло не больше тридцати минут, и мы с Людой остались одни у моей «Волги», которая так и стояла с распахнутыми дверцами. Не сговариваясь, мы сели в машину и захлопнули дверцы. Меня знобило, я не мог прийти в себя, мне никак не удавалось успокоиться. Я клял себя за идиотский порыв, что выскочил во двор и подставил Олега под пулю. Люда тем временем открыла паспорт моего застреленного двойника и вскрикнула.

— Посмотри,— прошептала она и протянула мне заграничный паспорт.

Я взглянул и оторопел. В документе была наклеена моя фотография. Именно моя, шестидесятилетняя, а не молодая. В графе же «время рождения» был указан мой год — 1928, и на задних листах стояла печать с израильской визой.

— Сейчас одиннадцать часов,— решительно произнесла Люда,— а самолет в двенадцать сорок. До Шереметьева с площади Пушкина можно доехать за полчаса. Трогай. Ты должен улететь этим самолетом. Поговорим по дороге.

— Я никуда не полечу,— резко ответил я.

— Я тебя выпихну насильно. Ты что, придурок? — закричала Люда. — Самоубийца? Заводи машину! Скорее! Не трать время!

— Я должен похоронить Олега,— упрямо сказал я. — И не хочу жить без тебя.

— Я сама похороню Олега. Лучше похоронить одного, чем двоих. Должен ты что-нибудь соображать, старый кретин! А если ты не раздумаешь относительно меня, то вызовешь, и я прилечу. Ну, давай же, заводи!

Люда была в иступлении, в бешенстве, в ярости. Потом из ее глаз брызнули слезы:

— Миленький, умоляю тебя... Спасайся... Ты должен уцелеть... Счастье мое, любимый... Поехали... Заключинаю...

Это был такой сильный всплеск горя, такой неистовый напор, что я подчинился... Я выехал из арки на Тверскую.

— Давай налево! — скомандовала Люда.

— Запрещено!

— Делай, что тебе говорят! — прикрикнула Люда.

Я повернул налево и промчался мимо обалдевшего гаишника.

— Быстрее,— шептала Люда. — Быстрее!

— Красный свет,— отвечал я, инстинктивно нажимая на педаль тормоза.

— Черт с ним. Жми! Ты не должен опоздать, не имеешь права.

И я пер на красный. Я летел, нарушая правила уличного движения, подгоняемый иступлением и собственным чувством паники, которое вдруг ворвалось в меня.

— Дай слово, что приедешь ко мне!

— Приеду, прилечу, доплыву, дойду, доковыляю, доползу,— говорила она. — Быстрее! Еще быстрее!..

Я бросил машину там, где не положено, у самых дверей, ведущих в пассажирский зал.

— Вот тебе ключи от машины, оттонишь «Волгу» в город. Возьми также документы на автомобиль.—

Мы вбежали внутрь здания аэропорта. — А это ключи от квартиры, будешь жить у меня. Распоряжайся всем, как своим. Это и есть твое.

Вдруг я услышал голос аэровокзальной дикторши: — Пассажир Горюнов! Срочно пройдите к стойке регистрации... Повторяю. Пассажир Горюнов...

Я неожиданно остановился. И вдруг увидел себя, бегущего, со стороны. То смутение, которое навалилось на меня в последние полчаса, вдруг стало уходить. Я огляделся вокруг. Ко мне как бы возвращалось сознание, искаженное доселе ужасом. И в момент, когда паника кончилась, уже холодным, трезвым рассудком я принял окончательное решение: я никуда не улетаю! Я здесь родился, здесь прошла моя жизнь, и я приму все, что выпадет на мою долю. Это моя страна, мой народ, какими бы они ни были. И я разделю общую участь. Я повернулся и направился обра...

Город маревом окутан,
весь обвязан и оутан
проводами белыми...
Стужа забирает круто —
все заиндевелое.

На заснеженной коряге,
словно кляксы на бумаге,
коченеют вороны...
И зрачки сквозь призму влаги
крутят во все стороны.

Не пробиться сквозь туманный
воздух, плотный, деревянный,
атмосфера твердая...
Холодрыга окаянный
обжигает морды.

Мир — огромная могила,
все погибло, все застыло...
Тишь! Ледовая беда!
Кажется, что эта сила
не оттаит никогда...

Постскрипtum

«Я повернулся и направился обра...» Таковы были последние слова, написанные Олегом. В это мгновение там, где Олег писал свою повесть, раздался телефонный звонок, и он, не закончив слова, схватил трубку. Звонила я, Людмила Кирюшина, та самая женщина из сбербанка. Я считаю, что обязана рассказать о событиях, случившихся после фразы, оборванной моим звонком.

...Олег резко и внезапно остановился, выслушал объявление дикторши и, не говоря ни слова, повернул обратно. Он шел решительным шагом, а я семенила рядом.

— Я не могу уехать. То, что со мной сейчас происходило, когда я поддался твоим уговорам,— это навязание какое-то! Куда мне бежать? Что я там буду делать? Зачем? И потом, я уверен, если полечу на этом самолете, он взорвется. Такое уж у меня счастье. Зачем же убивать остальных пассажиров?

Я пыталась возражать, оспаривать его решение, но он стал непреклонно спокоен.

— Я встану сейчас на колени перед тобой! — заплакала я и начала приводить это в исполнение.

Он подхватил меня, прежде чем я успела опуститься перед ним, взял под руку и повел прочь из пассажирского зала. На улице он отобрал у меня автомобильные ключи. Весь путь назад я уговаривала его немедленно уехать из Москвы. Пусть не за границу, но сейчас же и куда глаза глядят, туда, где его не знают. К каким только аргументам я не прибегала! Но у меня

не было уверенности, что он меня слышал. Мы вернулись в его квартиру. Я опять пошла в атаку — призвала его бежать, и немедленно! Я боялась очередного, третьего выстрела. Он вяло сопротивлялся, считал, что от судьбы не скроешься. Сказал, что у него нет сил сопротивляться, что он устал жить. Говорил о том, что не знает, кто стрелял, что можно высказывать любые предположения, что охотников на его жизнь оказалось, видно, немало: от моего мужа до боевиков «Памяти», от Поплавского до военных и кагэбэшников. Я хотела его спасти во что бы то ни стало, сохранить, уберечь, защитить. Я любила его и осознавала, что Олега нужно увезти из Москвы как можно скорей. Потом я махнула рукой на его тупой отпор и стала собирать чемоданы с самыми необходимыми вещами. Я не знала, где что лежит, и все время спрашивала его. Во мне вдруг проявились удивительное самообладание и несвойственная мне обычно собранность. Я понимала, что уехать придется надолго, вероятно, на несколько месяцев. А может — ситуация в стране была непредсказуемая, — и навсегда. На носу зима, поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Пока я укладывалась, все время трезвонил телефон. Я запретила Олегу подходить и попросту выдернула телефонный шнур из розетки. Постепенно Олег вышел из прострации, начал помогать мне, а потом — вот уж чего не ждала — совершенно неожиданно стал ко мне приставать и повалил на тахту. Честно признаюсь, я не очень-то сопротивлялась. Перед отъездом он хотел кому-то звонить, с кем-то попрощаться, но я ему этого не позволила. Дочь с внучкой были на курорте, а остальные могли подождать. Он покорно слушался. Надо было исчезнуть безо всяких уведомлений. Я чувствовала, что опасность над его головой сгущается. Я не знала, куда мы поедем, но это можно было решить по дороге. Выходили мы из квартиры Олега, как жулики, осторожно озираясь по сторонам. Он оглянулся на обожженную дверь, невесело ухмыльнулся и пнул ногой бутылку из-под бензина. Я оставила его в подъезде, сначала отнесла в машину один чемодан, затем другой. Потом, посмотрев по сторонам, я подала ему знак, и он вышел из парадного. Сердце лихорадочно трепыхалось, но он шел к машине нарочито медленно. Как я его ненавидела за эту бессмысленную якобы храбрость! Он сел за руль, и мы оставили двор, где в Олега уже дважды стреляли. Он спросил, куда мы едем, есть ли у меня какие-нибудь идеи. Я сказала, что не знаю, что у меня нигде нет родственников. Только в маленьком городке Кашине живет сестра отца, но я с ней тысячу лет не общалась, не виделась, не переписывалась. Он поинтересовался, где находится этот самый Кашин. Я объяснила, что в бывшей Калининской, а ныне Тверской области, на границе с Ярославской. Сказала, что это очаровательный древний русский город, который необъяснимо уцелел от большевистского уничтожения, там полно церквей, старинные торговые ряды, но, главное, там есть гостиница.

— Решено, — согласился Олег. — Едем в Кашин. Какая разница? А как быть с твоими вещами?

Я ответила, что попробую позвонить домой. Если мужа нет, то заскочу на несколько минут и схвачу что-нибудь, без чего нельзя обойтись.

— А вдруг он в это время вернется? — обеспокоенно спросил Олег. — Потерять тебя не входит в мои планы. Без тебя я попросту никуда не поеду.

— Будем надеяться на удачу, — сказала я. — До сих пор нам везло.

— Ты считаешь убийство Олега везением? — укоризненно произнес он.

— Прости, — спохватилась я, понимая, что допустила больше чем бестактность.

В ближайшем телефоне-автомате я набрала домаш-

ний номер. Продолжительные гудки были мне ответом. Я ждала довольно долго, но никто не снял трубки. Я позвонила второй раз, но с тем же результатом.

Вскоре мы подъехали к дому, где я жила. Автомобиль мужа около подъезда не было, и я заспешила к лифту. Олега я оставила в машине за углом у соседнего здания и запретила ему высовываться. Откровенно говоря, сердчишко у меня прыгало беспокойно. Я кое-что побросала в чемодан, достала с вешалки шубу. Потом открыла верхний ящик письменного стола, чтобы взять паспорт, ибо у нас без документа не проживешь. Открыла и ахнула. В ящике лежали запечатанные по-банковски пачки денег в пятидесятирублевых купюрах. Там было, на глазок, несколько сотен тысяч рублей. Кто бы знал, какое искушение охватило меня! Я понимала, что нам сейчас очень понадобятся деньги, которые хоть с каждой минутой и теряли свою стоимость, но без них тем не менее прожить было нельзя. Я взяла две пачки, потом, поразмыслив, решила забрать только одну (авось муж не заметит), в которой, судя по упаковке, было тысяч пять. Потом вспомнила лицо Олега и подумала, что он вряд ли бы меня одобрил. Я бросила деньги обратно, схватила паспорт и помчалась к выходу. В одной руке у меня был чемодан, в другой я несла шубу. Олег вышел из машины и заторопился ко мне навстречу, чтобы помочь. Я обругала его, мы быстро захихнули шмотки на заднее сиденье и мигом отъехали от опасного места.

— У нас нет денег, — сказал Олег. — Сейчас мы заскочим в сберкасса, и я возьму все, что у меня там есть.

По дороге к сбербанку Олег рассказал, что, пока ждал меня, открыл чемодан младшего Горюнова. Там ничего не было, кроме четырех папок, заполненных машинописным текстом, явно рукописями. Он прочитал один небольшой рассказ, который привел его в восторг. Олег сказал, что это оказалась сильная, мускулистая, жесткая проза; от чтения которой возникает ощущение встречи с крупным писателем. Сказал, что хочет все прочитать и если остальное окажется на таком же уровне, то, значит, в России появился новый значительный сочинитель. Сказал, что сделает все, чтобы опубликовать написанное Горюновым...

— Лучше бы меня убили. Я-то уже все, с ярмарки. А Олег только начинал, мог бы — кто его знает! — удивить мир. А он себя подставил под выстрел...

Тут мы остановились около сбербанка. На этот раз я оставалась в машине. Я заперла на кнопки все двери, чтобы нельзя было открыть снаружи. Около магазина, рядом со сбербанком, ошивались какие-то мерзкие, уголовного вида типы, а я трусиха. Пока не было Олега, я вспоминала время, когда работала здесь, вспомнила мое первое впечатление об Олеге. Помоему, я втюрилась в него сразу же. Несмотря на то, что мы сейчас становились, по сути, беженцами, я чувствовала себя счастливой. Мы наконец-то были вместе, наконец сбылось то, о чем я и мечтала-то не смела. Из сбербанка выскочил Олег и зашел в магазин. Вскоре он пулей вылетел оттуда, ничего не купив.

— Денег не густо, — сообщил он, усаживаясь за руль. — Я взял аккредитив на три тысячи и восемьсот рублей наличными. Это все наши ресурсы. Хотел что-нибудь купить в дорогу, да где там, в магазине шаром покати. По какому шоссе надо ехать в этот твой Кашин?

Сначала мы катили по Ярославскому шоссе, а в Загорске повернули налево, на Калязин. В Калязине мы полюбовались старинной колокольней, которая торчит прямо из воды посреди искусственного водохранилища. Собор скорее всего уничтожили, а колокольня на диво сохранилась. Колокольня, растущая из

воды, — зрелище весьма ненормальное и удивительное. А там еще полчаса, и мы въехали в Кашин. Сначала мы направились на квартиру к тетке. Оказалось, что тетка уже год как умерла и в ее квартире жили посторонние. Может, мне и сообщали о ее смерти по старому, еще маминому, адресу, но я никаких известий не получала.

Мы направились в пятиэтажную типовую гостиницу, и там благодаря известности Олега удалось получить номер из двух комнат, который называется «полулюкс». Словосочетание, разумеется, отечественное. В гостиничном номере имелось все, что необходимо для жилья, — ванная, черно-белый телевизор, холодильник, но, вместе взятое, это напоминало пародию на апартаменты. Например, умывальник висел очень криво, его устанавливал сантехник, в котором наверняка булькало граммов восемьсот — выражение Олега. Кафель в ванной клал плиточник-абстракционист, столь неровно и причудливо, что на выставке авангарда кусок стены мог бы отхватить главный приз. На убогой мебели на самых видных местах были прибиты жестяные овалы с инвентарными номерами. Обои наляпали люди, явно нетвердо стоявшие на ногах. Когда мы въезжали в полулюкс, ставший нам приютом почти на два месяца, Олег произнес небольшой монолог. Я запомнила его смысл. Он говорил, что в молодости, когда начинал писать, то считал народ чем-то святым. Народ в целом, по его мнению, не мог быть не прав, народ в целом всегда безгрешен, а художники в долгу перед народом. Он сам себя всегда считал частью народа, ибо жил его жизнью, интересами, бедами, разделял долю соплеменников. Но потом — это пришлось к нему как откровение — он понял, что понятия «советский народ» не существует. Люди, родившиеся при этой власти и воспитанные ею, разучившиеся работать, разложившиеся от алкоголя, умеющие только доносить и убивать, грабить и делить, — это не народ. Это толпа, сборище, быдло. Мы, говорил он, бывший народ. Но у нас, как в любой огромной навозной жиже, можно найти и бесценные самородки.

Олег сразу же засел за работу — ему не терпелось написать эту повесть. Я же занималась бытом и хозяйством — доставала продукты, бегала на рынок, стояла в очередях. Удалось купить поддержанную электроплитку, выпросить у гостиничной дежурной кастрюлю и сковородку. Кипятильник, по счастью, захватили с собой. В ванной я стирала — это приходилось делать весьма часто, так как белья оказалось мало. Утром я приносила газеты, а вечерами мы смотрели телевизор. Вести все были мрачные, безысходные. Нарастал террор, межнациональный и просто преступный. Все более жестокой становилась уголовщина. Стреляли седьмого ноября на Красной площади, убивали милиционеров, прицельно палили по журналистам. По стране металась раздетые и разутые беженцы. Западные страны, в том числе и побежденные нами, стали слать великой державе продовольственные подачки, как будто у нас прокатились разруха и война. Черные силы во главе с коммунистами оправались и перешли в наступление. Радикалы, парализованные саботажем, выясняли, как всегда, отношения между собой. Вагоны не разгружались. Москве и Ленинграду провинция объявила блокаду. Каждые три дня молодые парни, угрожая бомбами, угоняли самолеты в Швецию и Финляндию. Президент издавал бесполезные указы, депутаты произносили бесполезные речи. Республики отваливались. Тот, кто представлял хоть малейшую ценность, оседал на Западе. Хаос, катастрофа, бардак, безвластие, безверие, отчаяние. Настроение у Олега от всего этого было подавленное. И только за письменным столом он отвлекался от беспросветных мыслей.

Перед сном Олег читал мне написанное за день.

Гостиницу населяли в основном усатые люди с Северного Кавказа. Думаю, номера им предоставляли за солидные взятки. Вообще в Кашине почему-то было довольно много кавказцев, которые не то работали, не то спекулировали, а может, делали и то, и другое. Между ними и местным населением часто возникали потасовки и поножовщина из-за девушек, по пьянке и просто потому, что местным парням не нравились нахальные приезжие, которые держали себя как хозяева жизни. Мы вечерами не выходили из нашего полулюкса. Три раза я ездила в Москву на поезде — Олег подвозил меня к вокзалу и возвращался работать. Он рвался в Москву сам, но я стояла насмерть.

В первый раз я поехала в Москву где-то дней через семь после нашего прибытия в Кашин. Он наказал мне узнать, где похоронили младшего Олега. Для этого он велел заехать в морг больницы имени Склифосовского, куда увезли тело, и выведать, на каком кладбище он покойся. Это было не единственное поручение. Еще надо было завезти статью в редакцию к Егору Яковлеву. Статья, помню, называлась: «Пора брать Бастилию». В ней говорилось, в частности, о том, что для того, чтобы начинать заново, надо сначала уничтожить, снести символ прежней власти. Во времена Французской революции таким символом слыла Бастилия, в наше время — огромное здание, стоящее позади памятника железному Феликсу. Кроме того, мне было поручено зайти к Олегу домой и захватить кое-какие вещи и книги.

В морге больницы имени Склифосовского проверили записи и сказали, что в тот день, который я назвала, покойник с такой фамилией у них не проходил. Тогда я попросила проверить на всякий случай несколько последующих дней. Человек с фамилией Горюнов в их книгах не значился, такого не хоронили. Обескураженная, я позвонила с почтамта в Кашин. Олег посоветовал обратиться в городской загс, в отдел регистрации смертей, наверное, такой там существует. Я поехала и туда, но тоже безрезультатно. Была еще милиция. Но туда сунуться я побоялась... Тем более у меня вдруг возникли подозрения — ни на чем не основанные, — что и в милиции также не окажется никаких данных. Когда я вернулась в Кашин, Олег встречал меня у поезда. У него был вид крайне озадаченный. Я доложила ему, что и в городском загсе нет сведений об убитом человеке с его фамилией. И тогда он поведаль мне, что после моего звонка решил прочитать все литературное наследие младшего Олега. Он открыл чемодан, достал папки, но вместо листов с текстом там оказались чистые, нетронутые страницы. И куда-то пропал заграничный паспорт. Олег перевернул вверх дном комнаты, но документ исчез. Вот и не верь после всего этого в нечистую, вернее, в данном случае, в чистую силу. Объяснить ни появление второго Горюнова, ни исчезновение следов его существования мы не могли, хотя часто беседовали об этом. Коллективных галлюцинаций не бывает, так что двойник Олега не был миражом, фантазией, призраком. В этом мы не сомневались. Но понять, кто его послал, откуда он возник, что означала его последняя незавершенная фраза: «Я сделал... то, что... мне...» Чего он не успел сказать: «Велели, приказали, разрешили?» Так это и остается тайной, загадкой, чем-то необъяснимым...

Второй раз я ездила в Москву, когда кончились деньги. Олег попросил меня взять в его квартире японский двухкассетник «Саньо» и продать его. Поручение я выполнила. Около комиссионки какие-то расторопные узбеки дали мне за него три с половиной тысячи. Кроме того, я привозила почту, отправляла из Москвы его корреспонденцию. Каждый раз он встречал меня на кашинском вокзале нежно, с цветами, как влюбленный мальчик. Когда я поехала в столицу тре-

тий раз, то узнала страшную новость. Его дачу сожгли. Я поехала туда. От дома остались только закопченные кирпичные стены. Крыша провалилась. На меня смотрели черные, пустые, обгоревшие окна-глаза. Опаленный огнем, скрючившийся холодильник походил на иллюстрацию к теме, что будет после атомной войны. Сгорели полы, перекрытие между этажами. Пламя сожгло несколько елок, стоявших близко к зданию. Разруху и уныние подчеркивали тающий снег на черных балках, рухнувших вниз, каркающие вороны, сгоревшие книги, какая-то разбросанная по грязному снегу рухлядь, тронутая огнем. Я постояла на пепелище и пошла прочь. Я была никто, я ни к кому не могла обратиться, не имела права. На вопрос: «Кем вы ему приходитеесь?» — я ничего не могла бы ответить. Я решила позвонить Олегу, но не хотела делать это из его квартиры — боялась, что телефон прослушивается. Я поехала на Центральный телеграф и сообщила Олегу о том, что случилось. Он сказал, что немедленно выезжает. Я пыталась его отговорить, но это было безуспешно. Я умоляла его остаться в Кашине, но он не желал меня слушать. Велел, чтобы я ждала его дома. Весь период, прошедший со времени нашего внезапного бегства из Москвы, Олег рвался обратно. Для него было унижительным скрываться, прятаться, быть в подполье. Он все время хотел продемонстрировать мне, что он не трус. И единственное, что примирило его с таким существованием, — моя фраза: «Представь, что ты уехал в Дом творчества, чтобы работать. Здесь тебе никто не мешает и нет никаких дел, кроме повести». Тут он скрепя сердце подчинился. От Кашина до Москвы езды на машине было около пяти с половиной часов. Еще за полчаса до его возможного приезда я вышла во двор, чтобы встретить его. Когда я приезжала в Москву и ночевала в его квартире, то не зажигала в ней света. Я подозревала, что за квартирой, может быть, следят, ибо, помимо предсказания, два выстрела были убедительными аргументами по поводу грозящей ему смерти...

Через два дня после возвращения Олега из Кашина он погиб. Вот как это случилось. Он вышел из дома во двор на несколько минут раньше меня — разогреть двигатель машины. Стоял декабрь, но морозы были еще не столь сильные. А я ставила квартиру на охрану. Когда я спулась по лестнице (лифт опять не работал), я услышала гулкий, резкий звук на дворе. Дурнота, страшное предчувствие нахлынули на меня. Я, кажется, закричала и побежала вниз. Когда я вылетела во двор, Олег протирал от снега лобовое стекло машины. Увидев меня, он улыбнулся, а я с каким-то нечленораздельным хрипом уткнулась ему в лицо. Рыдая, я пыталась объяснить, чего испугалась, а он, перебирая волосы, гладил меня по голове, объясняя, что на соседней стройке сбросили с траллера рельс, а я этот звук приняла за выстрел. Постепенно я успокоилась, и мы поехали. По дороге он подбростил меня к парикмахерской, а сам отправился навещать дочь и внучку, которых давно не видел. Я постояла на тротуаре, пока он не отъехал. Он помахал мне рукой, а я незаметно перекрестила его. Я это сделала впервые в жизни. Мы распрощались с ним около двух часов дня, а к шести вечера он обещал вернуться домой. Я оказалась дома около пяти и принялась за стирку. После шести я начала беспокоиться. Я выскочила во двор и стала нервно рассказывать по территории. Время тянулось издевательски медленно. Около семи я решила позвонить его дочери, но поняла, что мне неизвестен номер телефона. Я знала, что дочь замужем. Для того, чтобы разведать телефон через справочную, надо было как минимум знать фамилию

ее мужа. Или в крайнем случае точный адрес. А я, конечно, не знала.

Время ползло к восьми. Меня охватил страх. Ужасные картины расправы с Олегом вторгались в мое сознание, хотя я отгоняла их. Я не знала, что предпринять. Я опять выбежала на улицу и начала кружить около дома. Олег не появлялся. Я побежала наверх и стала названивать милиционеру дежурному по городу. Он ответил, что данными о Горюнове не располагает. Я схватила большой телефонный справочник «Москва» и стала искать телефоны моргов. Их оказалось около десяти. Методично, один за другим, я набирала номер за номером. В каких-то моргах никто не подходил, а в остальных отвечали, что покойник с такой фамилией у них не числится. Потом я испугалась, что телефон у меня все время занят: вдруг Олег пытается дозвониться домой и не может? Я села около телефона и стала ждать звонка, не сводя глаз с аппарата. Но стояла мертвая тишина, телефон молчал. Наконец раздался громкий звонок. Я рванула трубку. Звонили из еженедельника «Столица» с просьбой дать какой-нибудь рассказ для публикации. Я попросила позвонить завтра.

Время перевалило за девять. От Олега ни слуху ни духу. Я уже не сомневалась, что эти подонки убили его. Иначе он обязательно позвонил бы. Он, зная мой страх за него, обязательно добрался бы до телефона. Он где-то лежит, либо мертвый, либо беспомощный, нуждающийся во мне, а я ничего не знаю, ничего не могу сделать. И тут со мной началась истерика — я редела, выкрикивала какие-то ругательства, обращалась с просьбами к Богу, каталась по полу. А потом сознание будто отключилось и вяло текло где-то в стороне от меня, помимо моей воли. Долго ли я пробыла в полубесчувственном состоянии — не знаю. Вдруг оглушительно зазвонил телефон, и я как сумасшедшая схватила трубку. Звонили из больницы Склифосовского. Минут пятнадцать назад Олега подобрали в подземном переходе, где он лежал без сознания. Сказали номер отделения и палаты, куда его поместили.

— Как он, как самочувствие? — крикнула я.

— Тяжелое, — ответил женский голос, и трубку повесили.

Было без двадцати двенадцать. В каком-то сумбуре чувств, когда отчаяние перемежалось с надеждой, на перекладных, где на троллейбусе, где бегом, я добралась до больницы. У меня, наверное, был безумный вид, ибо меня пропустили беспрепятственно. Я поднялась на лифте и стала беспорядочно, бестолково искать номер палаты. Когда я остановилась у нужной двери, меня колотило от озноба. Я постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. На трех койках лежали какие-то незнакомые мужчины, четвертая кровать была пуста.

— Здесь должен быть больной Горюнов, — хриплым, потухшим голосом произнесла я.

— Писатель, что ли? — спросил один из больных, а другой пациент поднялся на локте и сказал сочувственно:

— Он на этой кровати лежал. Минут десять назад его увезли... — И после паузы добавил: — В морт.

А другой объяснил диагноз:

— Переохлаждение организма.

У меня подогнулись колени, и я опустилась перед его койкой, перед его последним пристанищем.

А потом я увидела его в морге...

Позже врач из приемного отделения и дежурный по клинике рассказали мне, что произошло.

Олег упал в подземном переходе где-то около пяти вечера. Лежал он, к несчастью, лицом вниз, иначе его кто-нибудь опознал бы. Около шести часов подряд он пролежал в людном месте. Это было в том числе и в час пик, когда подземный переход переполнен.

И никто, ни один человек, ни один из тысяч, не склонился над ним, не спросил, в чем дело, не предложил оказать помощь. Его брезгливо обходили, как пьянчугу, упившегося до скотского состояния. В нескольких шагах от лежащего молодые люди и девушки торговали эротической литературой и похабными картинками, а на соседнем ларьке предлагали всяческую клубничку про похождения наших политических лидеров. Никто из продавцов не обеспокоился тем, что в декабре на асфальте несколько часов подряд лежит и замерзает человек. Даже если он пьяный.

— Отчего он упал? — спросила я. — На теле есть следы удара или рана?

— На голове сильный ушиб, — сказал доктор. — Но определить, что это — результат падения или же нанесения удара — очень трудно. Здесь должен разбираться врач-криминалист.

— След от ушиба спереди головы или сзади?

— Рана на затылке. Там в переходе — ремонт. Мог споткнуться, упасть навзничь, удариться о камни, железки.

— Когда он умер?

— Его привезли к нам еще живого, но совершенно оочевневшего. Смерть наступила не только от травмы, но и от переохлаждения организма. Сделать уже ничего было нельзя, поверьте нам.

Всю ночь я просидела в подвале, в коридоре у двери морга. Утром пришел патологоанатом. Вскрытие делалось в присутствии врача-криминалиста. Они признали, конечно, что травма на голове — это не доказательство покушения, не следствие нанесенного кем-то удара, а естественный результат, возникший от падения. Ударившись о камень или что-то железное, Горюнов, очевидно, упал и потерял сознание. Я понимала их. Зачем милиции вешать на себя бесперспективное дело?

Мне отдали вещи Олега, и я вышла на Садовое кольцо. Первым делом я добралась до подземного перехода, где он упал. Действительно, там был навал камней, плит и железных труб, а рядом заджинсованное племя, «младое и незнакомое», шустро торговало всякой похабщиной. Около них толпились люди, разглядывая картинки половых органов и разных способов любви — то, что еще недавно нашему человеку было в диковинку. Покупали, несмотря на лихие цены, бойко. Я попыталась расспросить их о вчерашнем инциденте, но им было не до меня. А когда я принялась выговаривать торгующей девице, мол, как они могли допустить, что рядом с ними замерзал человек, то она на меня попросту поперла:

— Че те надо? Че привязалась? На работе мы, ясно? Нам не до пьяни всякой. Пусть менты ими занимаются.

Я отскочила от нее, понимая, что тратить время на это отребье бессмысленно. Я поднялась вверх. Недалеко от перехода стояла машина Олега. Очевидно, места для парковки около дома дочери он не нашел и поставил машину на другой стороне площади. Я открыла дверь, положила на сиденье сверток с его вещами и села за руль. Я долго сидела. Обрывки мыслей, воспоминаний, отдельные картинки про самое разное, не связанные друг с другом фразы беспорядочно пробегали в моем воспаленном сознании. Вспомнились любимые строчки Олега, которым надо было следовать как завещанию, выполняя их как святую заповедь:

С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь —
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.

В свое время Геннадий научил меня водить машину, и я двинулась вперед, еще не зная куда. Я остановила «Волгу» около отделения милиции, поблизости от дома Олега. Там я нашла следователя и заявила о покушении и убийстве писателя Горюнова. Милиционер, который сначала отнесся ко мне со вниманием и серьезностью, по мере моего рассказа, где я упоминала о покушении, поджоге квартиры, о двойнике, все меньше и меньше сомневался в том, что перед ним особа, которая, несомненно, тряхнула рассудком. На вопрос, кем я прихожусь «убитому», я после паузы ответила: «Знакомая».

— Ясно, — ответил следователь. — Разрешите ваш паспорт, я спишу данные. На первый же допрос мы вас вызовем.

Но я понимала, что никаких допросов не будет. Хотя, кто его знает. Может, мне и присылали повестку, но я больше никогда не бывала в доме, где раньше проживала.

Уходя из милиции, я постаралась сказать следователю с максимальной убедительностью:

— Поверьте, я не сумасшедшая. Я просто люблю этого человека и знаю: его убили.

— Сделаем все, что в наших силах! — сочувственно ответил милиционер, но на его лице я ясно читала: «Господи, когда же ты уберешься отсюда со своей манерой подозрительности».

— Спасибо, — безнадежно сказала я и, съездившись, ушла.

Я въехала во двор, поставила машину на то место, куда ее обычно ставил Олег, и поднялась в последний раз в его квартиру. В квартире надрывно звонил телефон. Я машинально сняла трубку. Спрашивали, разумеется, Олега. Я спросила:

— С кем я говорю?

— Это его дочь. А я с кем говорю?

— Катя, — сказала я, — вы меня не знаете. Простите, что я сообщаю вам страшную новость, но вашего отца вчера вечером убили...

— Кто вы такая? — оторопело крикнула Катя.

Но я повесила трубку. Телефон снова трезвонил, но я была занята — раскладывала вещи Олега, отданные мне в больнице.

Ключи от машины и документы я положила в ящик письменного стола, костюм почистила и повесила в шкаф, рубашку бросила в корзину с грязным бельем. Потом я собрала в сумку свои немногочисленные шмотки, а из его вещей взяла фотографию до толстую рукописную тетрадку со стихами. Потом на секунду присела, оглянулась напоследок и подошла к телефону — ставить квартиру на охрану. И ушла навсегда...

Я не могла остаться в его доме. В качестве кого? Да, я была его женой, но нелегальной, подпольной. Я никому не смогла бы объяснить, как и почему оказалась в его квартире.

О моем существовании не подозревал никто из его близких: ни родные, ни друзья. Секретность наших отношений из-за стремительного бегства из столицы оказалась абсолютной. Я вроде бы и существовала, но по отношению к человеку, которого любила, меня как бы и не было. Три следующих дня оказались каким-то непрерывным кошмаром. Я казнила себя, что, может, Олег пал жертвой мстительной натуры Геннадия. Наводила справки, но муж, кажется, был в отъезде. Я ночевала у приятельницы, но ни в одну из этих страшных ночей не могла забыться ни на мгновение. Мне не с кем было поделиться, не существовало человека, которому я могла бы выплакаться, хотя вряд ли это облегчило бы мое горе.

В газетах появились некрологи. У нас для убитых не жалеют пышных слов. А потом состоялись похороны. Гроб с его телом установили в Центральном Доме литераторов. Пришло много людей, очередь простить-

ся стояла на улице. Около мертвого суеились родственники — дочь, пасынок, младший брат, неизвестные артисты и артистки, депутаты, писатели. Может быть, среди тех, кто стоял в почетном карауле, был и убийца. Говорились речи, перечислялись заслуги. А в толпе стояла я, окаменевшая от несчастья и неправимой обиды, что не могла наедине попрощаться с любимым. Среди всех, кто толкался вокруг гроба, я была ему самым близким, самым преданным человеком. На Кунцевском кладбище, где ему отвели место, я подошла последней и крепко поцеловала его в ледяные, мертвые губы. Потом, когда все уехали, дул ветер, я долго сидела одна у свежей могилы и, монотонно покачиваясь, бормотала какие-то прощальные слова. Не знаю, сколько я просидела, не чувствуя ветра и холода, в темноте. В декабре темнеет рано. Кладбищенский служитель, проходя, сказал, что сейчас закроют ворота, и я бесчувственно поплелась к выходу.

Я вернулась на поезде в Кашин. Там в нашем полулюксе на столе лежала незаконченная рукопись. Ко мне в гостинице относились хорошо и не стали выселять сразу же. Я решила написать окончание повести, изложить то, что случилось потом. Я просмотрела все его стихи и решила добавить их к повести. Те стихи, которые как-то совпадали с последними мыслями и настроениями Олега. Некоторые из них были опубликованы раньше, другие еще не печатались. Кое-что из лирики было посвящено мне, но большая часть, как я поняла, Оксане. А потом я собрала вещи и поехала в Москву, не зная куда. У меня не было дома, не было работы, не было денег, а, главное, все лучшее оставалось в прошлом. Но у меня была цель — напечатать его повесть...

И, кроме того, доктор сказал, что у меня будет ребенок...

1990 г.

Фирма **ДАКВИН**

ПРЕДЛАГАЕТ

Фирма "ДАКВИН" - это:

* **ЗНАКОМСТВО**. Крупнейшая в России компьютерная служба знакомств, содержащая в своем банке данных информацию о десятках тысяч абонентов всех возрастных категорий, желающих создать семью. Если Вы еще не нашли надежного спутника жизни, друга, единомышленника - не падайте духом. ДАКВИН поможет Вам в этом и исцелит Вас от одиночества. Фирма гарантирует не только высокую скорость, но и высокое качество обслуживания. Ваше счастье - в Ваших руках! Не теряйте времени - пишите нам прямо сейчас!

* **ГОРОСКОПЫ**. Если Вы не скептик и верите в астрологию, то Вы сможете узнать, как распорядятся звезды Вашей судьбой и карьерой, заказав индивидуальный Гороскоп. ДАКВИН - тонкий знаток древнеиндийских секретов астрологии - осветит любой период Вашей жизни.

* **РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ**. Фирма "DAKVIN Ltd." продолжает формировать банк данных лиц, желающих работать за рубежом по контракту. Вас ждет работа в Европе, Южной Америке, Канаде, Австралии, ЮАР, США и в ряде стран Персидского залива.

* **СУПЕРИГРА**. Фирма "ДАКВИН" приглашает всех желающих принять участие в новой коммерческой суперигре "ВАШ ШАНС", построенной на строгом математическом расчете. Выигрыш практически ничем не ограничен и зависит только от Вашей активности. "ВАШ ШАНС" - это действительно шанс! Не упускайте его! Условия игры и порядок вступления в нее высылаются бесплатно по Вашим запросам.

В письмо с пометкой "ЗНАКОМСТВО", "ГОРОСКОП", "РАБОТА" или "ШАНС" вложите пустой конверт с Вашим подробным адресом (в нем мы вышлем условия обслуживания и анкеты). Заявки направляйте по адресу: 144612, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, "ДАКВИН".

Убедительная просьба присылать запросы по каждому направлению в отдельном письме с соответствующей пометкой на конверте.

ДАКВИН

...ОПТИМИЗМ ТОЛСТОГО ЧЕЛОВЕКА...

В июле минувшего года мы объявили об открытии новой рубрики. Тогда никто не думал, что грустные размышления и тревожные предчувствия участников наших бесед — Владимира Максимова и Игоря Дедкова станут пророческими. Августовские события отрезвляюще подействовали на многих романтиков и еще раз подтвердили необходимость прислушаться к мнению тех, кто с жестокой прямолинейностью способен оценить день сегодняшний.

Александра Бовина как журналиста отличает нестандартность мышления и своеобразная трактовка событий, а колоритная внешность обеспечивает ему успех на телевидении. Казалось бы, популярности хватает, но то, что произошло во время «КГБчепистского» переворота, сделало его поистине героем. Вспомним, первой информацией, проливающей свет на происходящее, стала трансляция пресс-конференции журналистов с «новым руководством». Ироничный вопрос Александра Бовина к Стародубцеву: «Вы-то как оказались в этой компании?» — вывел из оцепенения и страха многих, сидящих у телеэкранов, а реакция зала, откровенно усмехавшегося над ответами «законного правительства», показала всему миру несостоятельность и невозможность объявленного переворота.

Отмечая победу в ликующей Москве, я первым делом позвонила Бовину: «Спасибо, что вселили надежду!»

— А вы что же, поверили? — знакомый энергично-напористый голос. — Я — так ни на минуту. Вышел рано из дома, ничего не знаю, сижу на лавочке, жду редакционную машину. Тут сосед говорит: «Переворот». — «Ну, и кто перевернулся?» — «Янаев». — «Ну так ...они перевернутся, а мы останемся!» С этим ощущением нереальности происходящего поехал в «Известия». Я люблю драки! В газете все были единодушны, только главный сдрейфил, стал защищать ГКЧП.

На пресс-конференции я практически не хожу, — продолжал Бовин. — А тут пошел. Интересно все же. Но того, что мой вопрос вызовет такой резонанс, не ожидал. Звонили, телеграммы присылали, а потом по правительственному телефону мужской голос: «Ты еще за пресс-конференцию отвечать, сука!»

После этого короткого разговора я поняла, что следующим собеседником должен стать Александр Евгеньевич Бовин. Его азарт и молодость — лишнее доказательство, что режиссер «шестидесятникам» (а подобные суждения навязчиво мелькают в печати) преждевременны.

— И все же среди молодежи бытует мнение, что «миф шестидесятничества» закончился на баррикадах. Начался отсчет нового времени, без романтично-коммунистического поклонения. У вас нет ощущения, что поезд ушел вперед?

— Уходит не поезд, уходят люди. Ибо время необратимо и жестоко. Кто-то устал, кто-то отчаялся. Но почему же «миф»? Самая что ни на есть реальность. После XX съезда нам всем, «шестидесятникам», грубо говоря, было около тридцати, и мы рванулись в бой. Нас смяли сорока — пятидесятилетние, будущее застойное поколение. Они пришли и очень прочно, крепко встали. Мы за эти годы смогли выдвинуться на какой-то приличный уровень в науке и культуре, заняв какие-то позиции в аппаратных кругах. Тут — «перестройка». Нам уже по 50—60 лет, но именно мы взвалили на свои плечи и потащили всю эту гласность и демокра-

тию. И, к сожалению, в отличие от того времени нет тридцатилетних, которые бы все подхватили. В этом беда «перестройки». Да, нам приходилось кривить душой, и наш ресурс во многом исчерпан, но где новые? Самый страшный итог «застойного» времени, что оно деформировало два поколения, превратило молодых людей в циников. Да, молодежь вышла на баррикады. Но это было три дня, всё — баррикад нету, ну а дальше что? Сломали еще двадцать памятников? Нет. Дальше нужно страной руководить, а они еще не готовы. Посмотрите новые кадровые перемещения. Кто приходит? Опять в основном те же шестидесятники, те же самые мы, которым надавали по шее в конце 50-х. Опять мы тянем этот воз, но очень хотелось бы, чтобы пришли сорокалетние.

— Александр Евгеньевич, как могло случиться, что вы, прекрасный аналитик и прогнозист, не предвидели переворота? А в последние месяцы, когда многие ваши друзья и соратники выходили из партии и рвали с коммунистической идеологией, не последовали их примеру?

— Такого переворота, по-моему, не предвидел никто. Говорили о возможности открытого выступления консервативных сил, имея в виду нечто серьезное, основательно продуманное, последовательное. А глупости не прогнозируются.

А что касается партии, коммунистической идеологии, то «рвать» — не для меня. Я ведь вступил в партию сорок лет назад не по каким-то карьерным соображениям. Я верил и, кстати, до сих пор продолжаю верить в коммунистический идеал. Конечно, не так примитивно, как раньше, что через двадцать лет все будет, — это смешно; но для того чтобы это понять, нужно было жизнь прожить. Это выбор не завтрашнего дня, может быть, 1000 лет пройдет. Сейчас, если конкретно, меня устраивает социал-демократическая направленность. То, что говорил Бернштейн: «Движение — все, конечная цель — ничто». Не нужно ничего «строить» — ни социализма, ни капитализма. Надо добиться того, чтобы каждый день приносил какие-то позитивные сдвиги, в чем-то реально улучшал жизнь людей. Вот это будет дело.

Конечно, как коммунист, я отвечаю за все, что было: за ГУЛАГ, за расстрелы, за окаменелые мысли. Но есть та партия, которая сажала, и та партия, которую сажали. Есть партия, которая командовала, и партия, которая работала. И я вместе со всеми работал, старался что-то хорошее делать. И до последнего, тут я поддерживал позицию Горбачева, я надеялся, что удастся взорвать партию изнутри.

— Несмотря на наши плачевные итоги, вы не считаете социалистическую доктрину утопией?

— Сейчас мы наблюдаем классическую ситуацию любого переходного периода: то, чему раньше поклонялись, сжигаем. Модно критиковать Маркса, Ленина — и подавно. Но мы забываем об относительности исторического времени, о том, что в каждом крупном регионе существует свое время. Например, Америка сейчас живет в начале XXI века, мы — в конце XX, китайцы — в середине XX, а аборигены Австралии живут в середине XVII. Для нас, живущих в конце XX века, то, что говорил Маркс, его анализ капитализма — уже пройденный этап. Для огромных же просторов «третьего мира», где происходит становление капитализма, Маркс весьма актуален.

Маркс и Ленин могут быть архаичны в своих конкретных построениях, но сама идея коммунизма как таковая — это идея гуманистической мысли, которая насчитывает несколько тысячелетий: в конце концов это же освобождение труда, социальное равенство, вся та наша программа, которую на вооружение взял капитализм (кстати, и планирование), наложив это на частную инициативу.

— Теория классовой борьбы не оправдала себя на баррикадах. Вы заметили, кто там был, — интеллигенция и мальчишки 16—18 лет, либо, выражаясь модным языком, бизнесмены, которые пошли отстаивать свои индивидуальные интересы, и никакие идеологические теории над ними не довели. Выходит, концепция устарела?

— Концепция «устарела» вовсе не потому, что «не оправдала себя на баррикадах». Концепция устарела, потому что модернизация капитализма смягчает социальный антагонизм, усиливает тенденции к партнерству классов.

Но еще раз напомним об относительности. Там, где жизненный уровень трудящихся ниже приемлемого для них уровня, классовая борьба неизбежна.

— Александр Евгеньевич, а вы не боитесь прослыть ортодоксом? Ведь существует наше сегодняшнее бытие, и отсутствие элементарного социального благополучия отращивает от всяких теорий и схем.

— Вы понимаете, какая странность: я остаюсь тем же, чем и был, просто сдвинулась ось координат. Я все тот же, но раньше, когда я доказывал, что классовая борьба существует, но с ней нужно быть осторожнее, меня называли ревизионистом. Теперь я говорю то же самое, меня называют догматиком. Изменилось общее умонастроение в обществе, а я отстаиваю те же принципы научного подхода к реальности, которые всегда отстаивал.

А жить без теорий и схем нельзя. Важно, какие это теории и схемы. Посмотрите, что пишут уважаемые «публицисты». Ах как хорошо было жить в дореволюционной России: и масла было навалом, и мяса, и пейзажи ходили все такие красивые! А какие цари все были... Николая вообще надо к лику святых причислить... Потом пришли эти ужасные большевики и все сломали. Абсолютно антиисторический взгляд. Не бывает ошибочных революций! Если бы сейчас Ленин приехал в Швецию, забрался на броневик и произнес: «Да здравствует социалистическая революция!» — боюсь, ни один бы швед за ним не пошел.

В общем, отбрасывая одни догмы, не следует заменять их другими.

— Как вы думаете, многолетняя работа в аппарате ЦК партии наложила отпечаток на ваши взгляды? Потребовалась эволюция, прежде чем завоевать славу прогрессивного политобозревателя?

— Знаете, это какой-то расхожий штамп, что работа в аппарате ЦК обязательно портит человека. Извините, я пришел в ЦК как раз на волне, правда, уже опадающей, XX съезда. Проработал там почти 10 лет, это были очень плодотворные для меня годы в смысле знания жизни, политики. В мою задачу входил анализ различных международных ситуаций, составление документов и речей. Этим занимались Богомолов, Арбатов, Булццкий, Шахназаров, Черняев, Шишкин, Загладин и другие.

В первый день я пришел на работу в какой-то косоворотке нараспашку, чехмоданчик, знаете, такой банный, а там такие коридоры... И дверь куда ни откроешь, все жутко важные — или Маркс сидит, или Энгельс, или Маркс, или Энгельс. Но были и другие люди — знающие, толковые, у которых можно было многому научиться.

— Вы имели возможность трезво оценивать то, что происходило вокруг? Чехословацкие события относятся как раз к годам вашей аппаратной работы.

— Во время пражских событий мы жили две недели в ЦК — там кровати для нас поставили — и должны были ежедневно писать аналитические бумаги в Политбюро — что происходит.

Это были одни из самых ужасных дней в моей жизни. Я даже в первую ночь стихи написал, ведь я знал все, что и как происходит.

Какой был выход? Самый минимальный — уйти из ЦК, максимальный — выйти на Красную площадь. Ну вот, что делать, не хватило у меня духу на это. Я не стал Сахаровым или еще кем-то. Был, конечно, аргумент, которым я себя успокаивал, как и все наши ребята: хорошо, мы уйдем, но придут люди не лучше, а хуже нас, менее либеральные, чем мы. И если мы пытались хоть по малости где-то что-то смягчить, срезать острый угол, выручить какого-то человека, то этого не будет.

А потом я чем-то крупно не понравился начальству, и меня так плавно пересадили в «Известия». Прихожу, как всегда, на работу в 9 утра, фельдтегерь приносит пакет. Вскрываю — там выписка из решения Секретариата «О товарище Бовине А. Е.»: «Товарища Бовина освободить от работы руководителя группы консультантов. Назначить политобозревателем газеты «Известия». Подпись — кажется, «М. Суслов».

— Вас связывала какая-то дружба с Брежневым, ведь вы много общались, бывали у него на даче в Завидове?

— В Завидове жило очень много людей, мы там работали... Брежнев относился ко мне с симпатией, но не как к «своему». Он отдавал должное тому, что я умею делать.

Самая первая встреча выглядела так. Он говорит: «Ты знаешь, что такое конфронтация?» — «Знаю». — «Давай так: ты мне объяснишь, что такое конфронтация, а я тебе — что такое боровая дичь».

— Значит, он был чудовищно необразованный человек?

— Я далеко не уверен, что слово «чудовищно» здесь подходит. Многие ли знали тогда, что такое конфронтация? И если кто-нибудь из тех, кто редактирует и читает «Юность», не знает, что такое, скажем, транспарентность или контрсиловой удар, то не будем относить их к «чудовищно необразованным» людям. Да, Брежнев, как и большин-

ство руководителей того времени, не был обременен знаниями, мало читал. Но у Брежнева, пока он был здоров, в качестве, так сказать, компенсирующего механизма выступал природный здравый смысл. Сам он говорил, что, вместо того чтобы читать книги, он беседует со специалистами.

— Александр Евгеньевич, фотография Андропова, которая висит у вас в кабинете, — дань прежнему времени?

— Вы знаете, это мой первый учитель. Он учил меня политике и учил хорошо. Когда он умер, я даже книгу о нем хотел написать. Но когда влез в материалы, связанные с его работой в КГБ, то сел на мель. У меня сохранилось к Андропову первое теплое отношение, но писать я уже не стал. Расторг договор с издательством, сказав, что объективная книга не получается. А фотография висит с тех пор, как я ее повесил. Это кусок моей жизни, и никуда от этого не деться. Тут я консерватор.

— Думаю, небольшая доля консерватизма необходима политику для трезвости взгляда. Сейчас, когда послепутчевая эйфория закончилась и жизнь входит в привычные рамки, каковы ваши прогнозы?

— Положим, эйфории у меня и не было. Я не ожидаю быстрых перемен, это еще одно начало, но на более демократической ноте. Хотя эйфория масс еще проявляется в сбрасывании памятников, а эйфория руководства — в нарушении законов. Это от возбужденности. Но если я возбуждаюсь, то могу выпить лишние 200 граммов... и все, а когда президент возбуждается, у него другие возможности: закрываются газеты, посылаются наместники в области, исполнительная власть берет верх над законодательной...

Ближайшее время будет очень тяжелым. Развал хозяйства продолжается, и самое страшное — развал денежного обращения. Сейчас надо пустить в оборот жилье, землю, производство, чтобы люди могли все покупать. Я понимаю, что рынок — это очень больно для тех, у кого постоянные доходы, и говорю это с тяжелым сердцем, но иначе быть не может. У нас был дурацкий уравнилельный социализм, сейчас мы отступаем к капитализму. Причем если по уровню потребления мы отстали от Америки раза в три-четыре, то по современному компьютерному обеспечению отстали в 1000 раз. Вот ведь какая беда! Но какое-то время нам нужно смириться с тем, что мы слаборазвитая страна «третьего мира», не обманывать себя иллюзиями, а найти силы вырваться из этого.

Я, как всякий толстый человек, в основе своей оптимист. Я далек от всех этих слюнявых рассуждений о русском духе, русской идее — все это ерунда, но верю, что моя Россия, великая евразийская держава, найдет в себе силы стать цивилизованной страной.

Редакционно-издательский процесс движется быстрее, чем черепаха, но не намного. Пока мы работали над интервью, пока оно ожидалось своей очереди, Александр Бовин был назначен послом в Израиль. Можно было еще раз встретиться, затронуть новые темы, но мне хотелось, чтобы портрет Бовина-журналиста оставался таким вне коррекции временем. Тем более что дипломатическая карьера только начинается, и этот новый виток в жизни 61-летнего посла — другая страница. А пока хочется добавить, что во многих рассуждениях Александра Бовина проступают особенности его поколения: вера в утопию, жажда борьбы. Не все из этого арсенала шестидесятых годов можно принять сегодня. Но давайте не забывать, что внутренняя свобода, легкость и раскованность, с которой мы судим старшее поколение, заложены в нас ими, «шестидесятниками», и оплачены их надеждами, ошибками и трагедиями.

Беседу вел Анна ПУГАЧ



Илья ИЛЬФ

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ

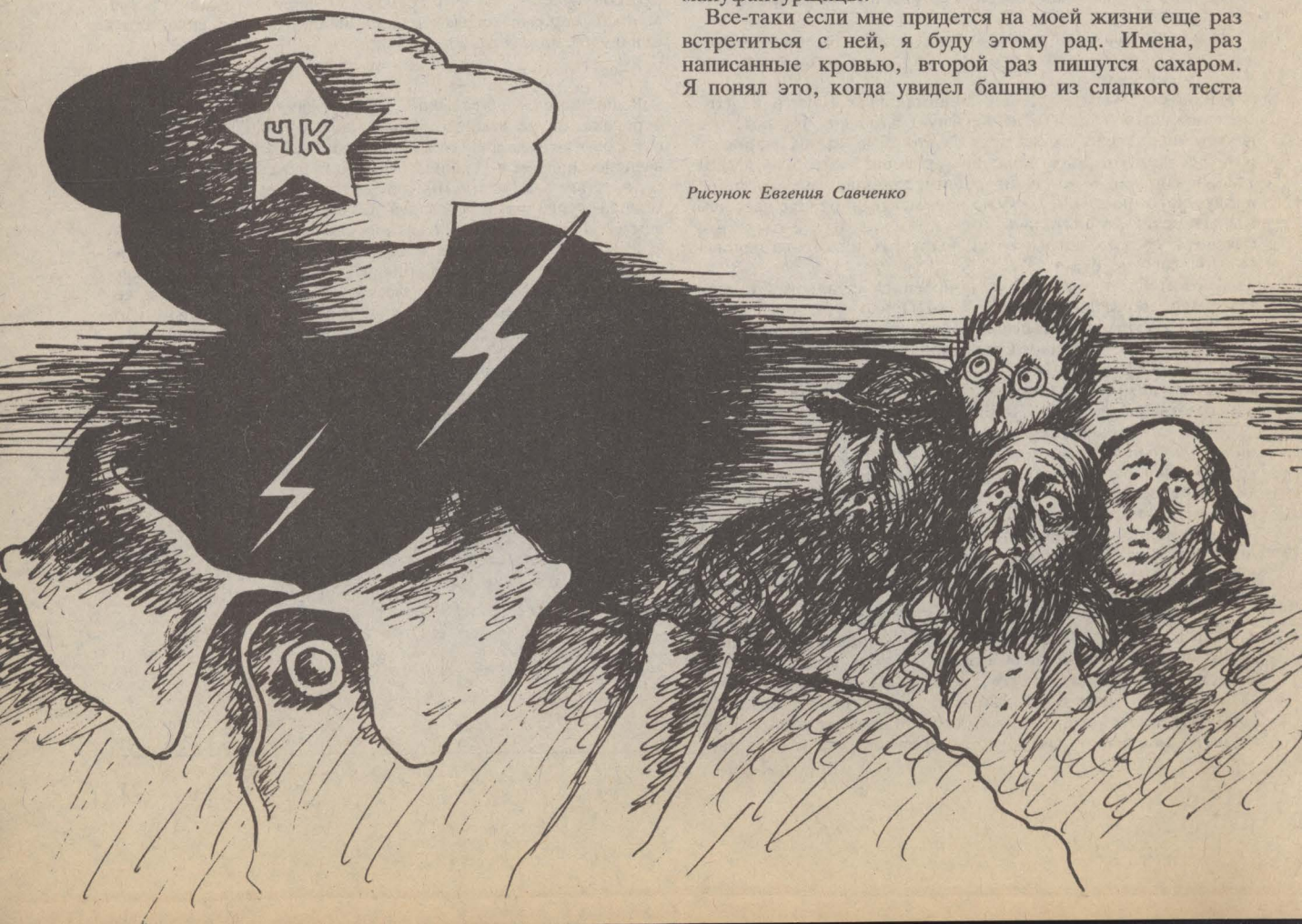


Рисунок Евгения Савченко

1

В Брянске шел дождь, за Брянском толпилась весна. Я заметил ее только у Нежина. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной.

Толстую даму — моего пятого спутника я тоже не забуду. Я ненавидел ее все время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла. Только тогда я смог опустить оконную раму.

— У меня 38 градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале, — я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться.

Раму подняли, и до Казатина воздух, разгораясь все больше, быть может, послужил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать.

Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч верст я был повелителем четырех мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробы, выпавшие из гнезда.

Сахар стал для них солью, а дни их почернели. Мое маленькое княжество образовалось в одном из купе поезда № 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью 40 верст в час, а иногда и меньшей. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого.

— Илья, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Илья, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это.

Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, и поэтому я терпел своеобразие мануфактурщицы.

Все-таки если мне придется на моей жизни еще раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста

в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знаменах дивизий, два года спускавшихся к югу для захвата Крыма, был повторен сахарной цепью на сладком тесте.

Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уже теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамочкой.

Когда я вошел в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против нее сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними. Еще двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова.

Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог увидеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня.

— Можно мне опустить полку?

Двое сидевших подняли головы. Двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и двинулся.

Я лег, чтобы думать о том, для чего ехал.

2

Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый, высокий и нежный почерк и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочел свое имя. Для того, чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза, и, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон.

Тело мануфактурщицы было неподвижно. Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели.

Они говорили о ней на русском языке, и, когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Эпитеты их были энергичны, фразы коротки, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца Приама.

Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Валиной комнаты, дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из-под кучи спекшегося в печке угля.

Тяжелый, как поезд, на повороте кричал трамвайный вагон, тяжелый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната. А в комнате на стене — дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание Вали, и в дыхании я разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала.

Когда я во второй раз проснулся, стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающему огнями Малоярославцу.

Свесив голову, я заглянул вниз. Мануфактурщица стеной пила чай, а мебельщики копошились над курицей.

Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я еще не знал, что через час смогу распоряжаться ими как захочу. Я относился к ним, как равный, и если не вступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча.

Мое молчание принесло неожиданный плод. Оно встревожило мебельщиков. Обглаживание курицы и разговор на русском языке прекратились. В действии остался один только жаргон.

Но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от

паровоза звездным знаменем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял легкий треск.

Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всем, конечно, была виновата мануфактурщица. Я уверен, что если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось, и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны.

— Он чекист! — сказал один из мебельщиков. — Я это знаю. Не бойтесь, он не поймет, он не знает языка!

3

Они ошиблись. Жаргон я понимал, я чекистом никогда не был.

Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить.

Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда-нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откосом? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя.

Я узнал любовь, и разве я когда-нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулок, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки!

Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был.

Однако мебельщики поселились в воображаемом мире, мир был полон духоты, догадка в нем немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанной под красное дерево.

Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячечной духоте.

Я узнал, что расстрелял тысячу и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами и имели хороших детей. Но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки. А левой рукой я стрелял из револьвера, и пули, выпущенные мною, попадали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки.

Мебельщики называли даты и города, где я все это продельвал. Они были возбуждены, и единодушие их раскалывалось только иногда и только в мелочах.

Я насиловал женщин. Это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платья из синего шелка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелку были вышиты желтые пчелы с черными кольцами на животах. Я много порвал такого шелка и многим девушкам показал жизнь с той стороны, где были не пчелы, а только боль пчелиных укусов.

На поезд напала гроза, за поездом гналось убийство. Молнии разрывались от злобы и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома.

Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз.

— Евреи!

Я ликовал и говорил хриплым голосом.

— Евреи, кажется, сейчас пойдет дождь!

Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости

сти от места, где их произносят, и языка, на котором говорят.

Я сказал их по-еврейски.

4

Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им, как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившейся за Брянском.

От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил свое знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом.

Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, в каком я захотел бы его взять.

Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, а мое желание было их действительностью.

Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза еще продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний.

Но если десять скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитый пищей.

В Сухиничах я ел кислые яблоки.

— Кушайте, — сказал мне один из мебельщиков, — вам станет прохладно и кисло. — В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан.

Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым цветом деревьев и, как искра, проскакивал полустанки, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена щука.

В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сарра сидела под зеленым дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами.

Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и сто едва посоленных огурцов, которые лежали в бочонке.

Я довольствовался немногим, хотя мог получить все. Но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого завета.

Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошел до описания ямы, в которой лежал Даниил.

Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелеными глазами. А Даниил валялся с засыпанным землей ртом и жаловался львам на негодяев-военачальников Вавилона. Львы слушали и молча уходили, а на их место приходили другие, и на пророка снова глядели зеленые глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его были земля и песок, и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастья Даниила.

В окне на мгновение останавливалось зеленое цветенье семафоров и молча уносилось назад.

Колеса били по стыкам, и, пока поезд падал на юг, пока паровоз кидал белый дым и проводники, размахивая желтыми квадратными фонарями, ходили по темным вагонам, там, куда я ехал, еще ничего не знали.

Там еще не знали, что писем, падающих в большой чугунный ящик у почтамта, оказалось мало, что телеграммы показались мне недостаточно быстрыми.

Там еще ничего не знали, а я уже скатывался к югу, колеса уже били по стыкам, зеленый огонь в семафо-

ре, приближаясь, сделался огромным, и влетевшие в него вагоны запылали.

Зеленый горящий одеколон навалился на меня сразу, и, задыхаясь, я прорвался через сон.

В вагоне уже не было никого. Мои подданные удрали первыми. Я был на вокзале в Одессе. Путешествие мое окончилось.

5

Я увидел серые и голубые глаза и, когда увидел, забыл все, что случилось в поезде № 7, на который в Брянске напала гроза. Я забыл молнии, произведенные этой грозой, и власть, которую имел над четырьмя торговцами мебелью.

Мы сидели на подоконнике, и я говорил:

— Сколько раз ночью я шел под высоко подвязанными фонарями, переходил каток и входил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и желтых граненых фонарей было лучше всего вспомнить о тебе.

Я знал голод и страх смерти. Я ел колючий хлеб и никогда не наедался. Разве я когда-нибудь забуду сны, которые я видел в то время. Я видел только муку, она стояла мешками, и, когда я подходил к ней, сон, треска, разваливался, и я просыпался в невыносимом свете прожектора, который обливал комнату.

В то время была война, и из-за нее я узнал страх смерти. Разве я когда-нибудь забуду битое стекло, сыпавшееся из расстрелянных окон поезда, убежавшего из-под обстрела. От пяти часов вечера я знал страх смерти. Потом я узнал его еще много раз, и уже не помню, как я могу забыть поле, разорванное кавалерией, и звон сыплющегося стекла.

Я также узнал любовь, которая стала мне тяжелее, чем голод и страх смерти. Это моя любовь к тебе. Я написал ее кровью, но больше так писать не хочу. Поэтому я бросил астраханские башни Кремля и приехал к тебе, чтобы на этом подоконнике мы сидели вместе.

На пароходах разбивали склянки, и бродившие на окраинах собачьи стада задавленно и хрипло кричали «ура».

Когда зеленый коралл, стоявший против окна, от утреннего света снова стал деревом, Валя сказала:

— В тот день, когда ты приехал, возвратился домой мой папа. Если ты хочешь, мы можем сегодня пойти к нему. Он будет очень рад видеть тебя, хотя очень утомлен дорогой. Всю дорогу он не спал.

— Почему же он не спал? — рассеянно спросил я.

— К нему пристал какой-то чекист и для своей зававы заставил его всю дорогу читать Библию.

— Сегодня? — Я пошел в угол комнаты. — Сегодня? Нет, сегодня я занят и не смогу.

Я так и не пошел к нему. Но мне придется пойти, и я выжидаю своего времени. Я думаю, что меня встретят хорошо, ибо слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром.

Публикация А. ИЛЬФ

— Ваше отношение к поэзии?
— Ее нельзя единожды определить, ее можно лишь в разной степени ощущать, чувствовать, ею можно озаряться и жить. Это относится и к музыке, вообще к искусству. Пабло Пикассо незадолго до смерти сказал Андре Мальро: я хотел бы разгадать, что такое цвет.

У поэта своя особая жизнь, свой поэтический мир, свое видение мира. Самое великое состояние жизни — естественность. При различии стилей и форм, всевозможных исканий поэзия должна оставаться естественной и простой в высшем понимании этого слова. Искусственное не становится ни искусством, ни поэзией.

Дорога к храму

Сквозь боль, сквозь подступающую полночь,
Когда померкнет свет, угаснет сила,
Я позову любовь к себе на помощь,
Она меня от всех невзгод хранила.

Твой взгляд, вобравший доброту и ласку,
И шум морской волны, и звуки вальса...
Я позову к себе на помощь сказку,
С которой никогда не расставался.

Встречая вечность, как страну иную,
Где слиты все концы и все начала,
Я музыку услышу неземную,
Она меня от всех тревог спасала.

Я позову к себе на помощь маму,
Мою печаль, защиту и отраду.
У каждого своя дорога к храму,
Но этот храм еще построить надо.

Новый Иерусалим

На Истре Воскресенск в России знаменит,
И Новым свет его Иерусалимом чтит...
Гавриил ДЕРЖАВИН

Уходит утренний туман,
Задев зубцы стены кирпичной.
Стремится речка Иордан
Меж двух холмов к реке столичной.
Здесь, где излучина воды,
Где холм, Сионом нареченный,
Раздвинув рощи и сады,
Встал монастырь, зарей крещенный.
Возник из марева пустынь
В кругу ромашек и польни
Храм наподобие святынь
Неопалимой Палестины.
Шатер со стрельчатым окном
Вознес свой купол над водою,
Светясь божественным огнем,
Главой святою и сегою.
Гора, где был распят Христос,
Голгофа, где случилось это,
Сей крест до наших дней донес
Лучи страдальческого света.
Бьет у стены монастыря,
У самого подножья храма
Родник, который пьет зарю,
Наичистейший с дней Адама.
Стоит три века божий храм,
Вокруг старинная ограда.
Он неподвластен всем ветрам,
Ему бессмертия не надо.
Он покоряет высоту,
О нем шумит река живая.
Я крепостную стену ту
Стеною плача называю.
В сиянии дня, во тьме ночей
Храм к своему зовет порогу.
Пылают тысяча свечей,
Угодных небу и пророку.

Загорск не за горами,
За лесами,
За куполами башен и церквей
Во всей красе божественной своей
Твердыню встает под небесами.

Я рядом, в двух шагах отсюда жил,
А песни о Загорске не сложил.

Но лишь входил под сень высоких глав,
Наполненных неведомою силой,
Сияние небесное вобрав,
Я поднимался птицей легкокрылой.

Я был наполнен воздухом иным
Под этим беспредельным небосводом —
Терпимостью к чужим грехам земным,
Сочувствием ко всем людским невзгодам.

Таинственный огонь меня пронзал,
Мерцал, как отраженный свет колодца,
И я не представлял,
И я не знал,
Как это в брэнной жизни отзовется.

Михаил Булгаков

Это же надо было, помня автора
«Мертвых душ» — поэму всех поэм,
Написать, что даже в адском пламени
Рукописи не горят.
Пролетело первое столетие,
Вот уже второе началось.
Дети возмужали, внуки выросли,
Нас они и слушать не хотят.
Не забудет наше поколение,
И запомнят люди всех времен,
Как пылал огонь в печах Освенцима,
Как горели книги на кострах.
Рукописи корчились в агониях,
Не сдавались лютным палачам
И сгорали без огня и пламени,
Чтоб воскреснуть книгами потом.
Он, кто читал, любил и помнил Гоголя,
Оказался, как ни странно, прав:
Мы склоняем головы пред Мастером,
Дух пред Маргаритой затаив.
В самом деле, не сгорают рукописи
Тех, кто видит далеко вперед.
Это он заботился о будущем,
Это он подумал о себе.

Памяти Николая и Арона

Атака захлебнулась, и поэт
Копштейн, увидев на снегу поэта
Отраду, неожиданно постиг,
Что больше нет его на этом свете.
Оставив свой заснеженный окоп,
Сказав: «И, если можешь, жди» —
Строку поэта,
Он к телу неподвижному пополз,
На помощь другу и навстречу пуле.
Он в одиночку полз, и батальон
Во все глаза смотрел, как по-пластунски
Передвигается солдат Копштейн
К солдату, чья фамилия Отрада.
А может, всем смертям наперекор,
Еще он жив, еще он есть, еще он дышит...
И пули пели над кудрявой головой,
Поскольку ветер с головы сорвал ушанку.
Арон уже обратно повернул,
Таща на маскировочном халате
Поэта, не успевшего остыть,
Как пуля самого его пронзила.
Они на мокром мартовском снегу
Лежали рядом, словно пред атакой.
Вот только так поэтам надо жить
И только так поэтам надо гибнуть.

Марк
ЛИСЯНСКИЙ



Почта «Юности»

В этом номере мы начинаем публиковать письма-отклики, пришедшие на конкурс писем «Исповедь поколений: о жизни и о себе», начатый редакцией в № 10 1991 года темой «Точка опоры».

В проведении конкурса писем принимает участие независимая Служба изучения общественного мнения VP (руководитель — проф. Б. А. Грушин).

Мы ждем Ваших ответов на вопросы, предложенные в №№ 10 — 12 1991 года и №№ 1, 2 1992 года.

HELLO! Мне 20 лет, я студент, будущий инженер-геолог, живу и учусь в Москве. Итак, «Точка опоры».

Я всегда знал, кем буду. В школе, когда заходил разговор на тему будущей специальности, друзья мои хотели быть физиками и моряками, модельерами и экономистами, я же знал одно: я буду ученым. Каждый год приоритеты менялись: сначала мне хотелось быть, как папа, биологом, потом математиком, затем потянуло к геологии. Но с детства в семье бытовало мнение: наука — это единственное, ради чего стоит жить. Круг знакомых был соответствующим. Я был, что называется, пай-мальчиком, ни в школе, ни дома проблем не было. Когда мои ровесники, плыву на учебу, делали деньги, я читал книги и общался с такими же, как я. Мы презирали фарцу.

В институт я поступил без проблем, удивляясь, что вступительный экзамен, о котором нам твердили с первого класса, оказался сущей чепухой. К началу третьего года учебы наступило прозрение. Мой сокурсник, сделавший бизнес на продаже шнурков, однажды сказал мне: «Своим детям я запрещаю читать книги. Ты начитался их в детстве и стал мыслить книжными категориями. Это уже на уровне подсознания. Ты не умеешь действовать. Типичная болезнь русского псевдоинтеллектуала».

Ужасно, но это правда. Глупо обвинять в неудачах кого-то. Я понимаю, что ориентиры, по которым я и мне подобные строили свою жизнь, лопнули. Предпринимательство имеет тот плюс, что, помимо удовлетворения морального, приносит еще и доход материальный, но первое все-таки основополагающее. Но наше общество — общество максималистов. Крикнули народу: «Все к капитализму!» — и даже бабушки в очередях заговорили о бирже, акциях и дивидендах.

Когда я говорю о своей будущей профессии, на лицах собеседников отражается скепсис. Но самое ужасное, что этот скепсис переполняет меня. Наш вуз уже не первый год штампует безработных. Пройдет десятилетие-другое, прежде чем Россия трансформируется в страну, где хорошо не только коммерсантам. А жить хочется сегодня. Есть три пути: стать утюгом, смириться, а также уйти в монастырь. Первый мне не по душе, от перспектив второго в животе что-то противно ноет, третий нереален, так как, к сожалению, в Бога я поверить не могу.

Получается, что, как и сотни тысяч моих сограждан, я плыву по течению. Это печально, но это так. Буду искать четвертый путь, свой, и верю, что найду. Надеюсь, что и вы можете сказать о себе то же.

Олег КАРГАПолов,
г. Москва

НАВЕРНОЕ, ТЕПЕРЬ ЭТО ПОКАЖЕТСЯ СЛИШКОМ ИЗБИТЫМ, но все же я начну с 19 августа.

Первое чувство, которое я испытала, — страх. Тот самый пресловутый генетический страх — парализующий, придавливающий — это все. Конеч.

Никаких мыслей о том, что можно бороться самой, идти кого-то защищать, протестовать, не было и в помине. Доцент, ведший утреннюю врачебную конференцию, мрачно пошутил: «Ну что, ребята, следующую проведем на Колыме?» Потом мы сидели в ординаторской молча. Кто-то сказал: «Это в лучшем случае гражданская война». О худшем случае мы не говорили. Я вдруг поняла, что не могу сейчас войти к больным. Когда в палате заговорил приемник, поднялась и пошла. Там уже было несколько сестер, санитарок — все слушали.

Вот тут и пришлось ко мне второе чувство этого дня —

ужас. И ужас заключался в том, что женщины в палате, простые русские женщины, начинали поддакивать приемнику: «Преступность? Да-а, надо, надо. Чрезвычайное положение — конечно».

Разум говорил мне: «Молчи, не связывайся!» Но это было выше моих сил, само собой вырвалось: «Они же лгут! Вы посмотрите, кто они. Достаточно фамилий Крючкова и Пуго, чтобы стало ясно, что нас ждет новый 37-й». В эти минуты я поняла, что мы все же стали другими — я не боец, не политик, в лучшем случае мастер кулонных разговоров, и вот уже не могу молчать — стыдно.

Стыдно молчать, стыдно не пойти на запрещенный митинг. А раньше я никогда не была на митингах, не от безразличия, а просто не верила в наши саратовские митинги, где собирались, мягко говоря, какие-то не очень серьезные люди и весело выкрикивали лозунги. Меня преследовала одна мысль: вот так, по всей вероятности, выглядели большевики — обидно!

Люди, люди! Какими разными вы бываете!

В доме напротив нашего всю ночь с 19 на 20-е горело окно — печатали листовки.

А наш признанный больничный «демократ-экстремист», который до путча порывался перестрелять всех коммунистов и в дискуссиях со своими политическими оппонентами сразу (прямо по Жванецкому) переходил на личности, вдруг как-то сразу «прижух». Потом шутили: «Был в подполье».

Но вот опасность миновала, и «воинственный демократ», разогнув спину, сразу написал... донос в лучших традициях: «...довожу до вашего сведения, что главный врач, коммунист, в дни путча...».

Можно ли любить человечество, которое пишет доносы, толкает оступившегося, добывает беззащитного! Почему мы радостно удивляемся: «Надо же! Поступил порядочно! Надо же! Она его не предала! Надо же! Сам уступил место в троллейбусе, надо же — вышли на баррикады!» Почему мы удивляемся? Значит, это за пределами нормы, значит, нормально-то все наоборот?..

Поверьте, и при царь-батюшке писали доносы, и при Ярославе Мудром «водились» братоубийцы, и Дантон был не прочь воспользоваться плодами революции, да и на благословенном ныне Западе не обходится без коррупции и прочих прелестей.

Когда я думаю об этом, то прихожу к мысли, что экономический туник разрешишь, а вот нравственный... Может быть, правы сторонники восточных философий: каждая душа приходит в этот мир с определенной наработкой, и выше этого уровня она не поднимется, даже если стремится... Не знаю. Для себя я решила одно: пусть переоцениваются ценности, низвергаются бывшие кумиры; внутри человека всегда есть его собственные нравственные табу, и этих границ человеку не преступить.

Я не могу спекулировать только потому, что теперь это называется коммерцией; не могу бастовать, потому что никому, кроме нас, не нужны наши тяжелье, часто обреченные больные; не хочу примыкать ни к каким партиям, т. к. хочу оставить за собой свободу мышления и на 100% не могу принять ни одну «веру».

И еще: мне очень больно, когда мою Родину называют страной дураков, больно, если кто-то считает, что можно наплевать на судьбы тысяч русских беженцев, назвать Севастополь украинским городом. Не надо топтать ни трехцветный, ни красный флаги! Ведь это боль наша, трагедия наша, и ругать Отечество надо через тяжкую сердечную боль, от любви, от сострадания! Можно ругать, но надругательство — тяжелее греха нет.

Да, мне, как и всем моим соотечественникам, трудно сейчас, особенно морально. И если кто и помогает мне не просто выжить, а нормально жить, это люди, окружающие меня, годами собранный круг близких по духу. Я очень благодарна всем им за то, что они есть, что помогли мне остаться самой собой, и верю, что мой сын, выросший в таком окружении, будет счастливым.

Татьяна ЖАРКОВА, 27 лет, врач-онколог,
г. Саратов

Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ВАМ В ГОЛОВУ ПРИШЛА ИДЕЯ ПРОВЕСТИ ВМЕСТО ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКОГО АНКЕТИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС. Скажу сразу, исповеди не будет, не получится при всем моем желании — не в чем мне исповедоваться. Что касается «поговорим откровенно», это я постараюсь.

Теперь конкретно.

Недавно я прочитал одну статью в газете «За рубежом». Не знаю, когда вышла та газета, но одно скажу точно — это начало 80-х.

Статья называлась одним интернациональным и поэтическим, очевидно, не переведенным словом «Crisis». Да, Америку охватил кризис, сопоставимый только с кризисом перепроизводства в 20-х. «Миллионы людей остаются без работы», «биржы терпят крах», «капитализм исчерпал себя», — злорадствовали наши газеты. Ан нет — не оправдались надежды на всеобщий коммунистический рай. Крепок оказался капитализм. В Белый дом пришел энергичный актер Рейган... и капитализм опять как огурчик. То, что наша пресса злобно назвала «рейганомикой», вывело страну из кризиса. Теперь вы в России ждете успехов своей «ельциномики», которая объективно сегодня единственный выход. Ельцину гораздо тяжелее, так как в отличие от США, где всего было очень много, у нас ничего нет. Тяжелее приходится и нам. Жратвы все меньше и меньше. Но, как ни парадоксально, «жить стало лучше, жить стало веселей». Почему? Потому, что читаю я сейчас такое, о чем бы разве услышал от родителей. На кризис экономический наложился расцвет духовный. Явление уникальное. Пойди найди аналоги в истории. Обратных примеров достаточно. Конца не видно борьбе корейских студентов против генералов, сменяющих друг друга. А ведь Чон Ду Хван и Ро Дэ У привели страну к экономическому процветанию. В таких странах, как Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн, вообще не слышали, что такое демократия. А как живут (с точки зрения обывателя)! Что же касается меня лично, я в это смутное время счастлив. Счастлив жить в этой интересной стране, которую меня учили называть Родиной (чтобы никто не вводил в заблуждение — имеется в виду бывший СССР). Счастлив, несмотря на то, что мне вряд ли удастся раскрыть свои способности в этой стране — я тут никому не нужен и, возможно, материально живу хуже своего американского, германского, французского сверстника. Может, это будет самое радостное письмо, но я скажу, что кризис проходит мимо меня.

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Великий перелом, произошедший в стране и мире, отразился во мне, хотя я лично был сбережен от трудных моментов, переломов, критических ситуаций. Я вырос *in vitro* (в колбе). В этом я вижу свое счастье, а может быть, это мое горе.

Я никогда не был предан «идеалам социализма», но был частицей стада, загнанного сначала в октябрюта, потом в пионеры. Сейчас я понимаю, как это было пошло, но в 86-м я был мал и глуп. К сожалению, в стране произошла не переоценка ценностей, а лишь обычное смещение акцентов. Бывшие партocrats поставили «на черное» — беспроигрышную на протяжении последних пяти-шести веков религиозную идею, и на «зеро» — масскультуру, и опять, как когда-то с коммунизмом, не проиграли.

Кто-то недавно сказал, что очередная наша «идея» — это идея «рынка». Я не согласен. Рынок не идея, а объективная необходимость. Что касается политических «ценностей», то тут, на мой взгляд, среди молодежи пользуются популярностью монархизм, анархизм и коммунизм. Из нечего воротить нос от «измов». В политике они имеют довольно большое значение. Сам я на протяжении нескольких лет был приверженцем анархизма, причем скорее даже кропотливого анархо-коммунизма. Эта красивая утопия была приятна мне безоговорочным приматом права личности, но она была неосуществима, так как «свобода одного человека кончается у кончика носа другого». Сейчас на моем воображаемом щите я бы написал: «Интересы личности превыше интересов государства». И в связи с этим меня очень беспокоит национальная идея, проповедники ее пренебрегают правами личности, а для многих она привлекательна возможностью найти «чужого». Коммунисты и раньше помогали в этих поисках, введя в паспорт обязательную «пятую графу». В наше время на «национальное самосознание» поставили коммунисты Муталибов и Кравчук, генерал Дудаев, многие из тех, которые, бросив клич «Бей...», стараются оставаться в тени. Клич подхватывают и уголовники, среди которых высок процент молодежи. Это сейчас болит сильнее всего. Это все.

16 лет, образование среднее, не работаю и не учусь.

Алексей ФИЛАНОВСКИЙ,
г. Киев

«ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЙ: О ЖИЗНИ И О СЕБЕ»



Продолжаем наш конкурс писем.

Сегодня мы предлагаем обсудить проблему личного выбора и ответственности за то, что происходит в стране. Очевидно, что самые авторитетные и смелые политики ничего не добьются без поддержки и участия большинства из нас в проводимых преобразованиях.

Как всегда, ждем в письмах ваших размышлений, рассказов о вашем личном опыте и наблюдениях. И напоминаем, что в проведении конкурса нам помогает независимая Служба изучения общественного мнения VP (руководитель — проф. Б. А. Грушин). Поэтому, чтобы облегчить социологам анализ писем, просим вас указывать номер того вопроса, на который вы отвечаете.

1. В этот трудный момент, переживаемый страной, люди, безусловно, выбирают для себя разные способы существования: либо продолжают жить по-прежнему бедно в пассивном ожидании, что «наверху» наконец примут нужные меры; либо пытаются выйти из тяжелой ситуации самостоятельно, прикладывая подчас огромные усилия; некоторые стремятся так или иначе уйти от всех этих сложностей, находят себе нишу в мире разнообразных увлечений либо уезжают из страны в поисках лучшей доли.

А что выбрали вы, какой образ действий? Напишите нам о жизненных обстоятельствах, обусловивших ваш выбор.

2. Вокруг нас так много перемен, которые, кажется, должны сдвинуть наконец дело с мертвой точки. А ничего тем временем кардинально не меняется к лучшему. Как вы думаете, зависит ли реально что-нибудь от каждого из нас? Могут ли люди повлиять на развитие событий, переломить их ход? Приходилось ли вам наблюдать, как люди энергичные, мыслящие, порядочные добивались успеха или, напротив, как все их попытки оказывались безрезультатными и ни к чему не приводили?

3. А если все-таки человек, не найдя приложения своим силам или же разуверившись в возможностях изменений в нашей стране, выбрал эмиграцию и уехал из страны? Как вы относитесь к такому решению? Считаете ли вы эти отъезды потерей для страны или думаете, что на обществе это никак не отразится?

Может быть, эта проблема затронула вас лично, ваших друзей, близких?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.

4. Сколько вам лет?

5. Ваше образование?

6. Если учитесь, то где? Если работаете, то кем?

7. Где вы живете (город, поселок, село)?

8. С кем проживаете? Имеете ли собственную семью?

Благодарим за ваши письма-ответы!



Аркадий БЕЛИНКОВ

«...ДРУГИЕ БЫЛИ ЕЩЕ ХУЖЕ...»

«Истинный художник, это все видящий и все понимающий человек, который говорит то, что он думает, и которого за это уничтожают».

Аркадий БЕЛИНКОВ

Если подлинный поэт — так говорят! — рождается раз в столетие, то настоящий критик и того реже. Много ли история нам оставила таких имен, людей, прославившихся тем, что разбирали, разнимали на части, развинчивали до гаечки чужое слово, чужую мысль, чужой талант? Да, весь «секрет» настоящего критика в том, чтобы оказаться умнее ума, талантливее таланта. Много ли вы найдете таких среди трех тысяч литературоведов, перечисленных в «Справочнике Союза писателей СССР»?

Аркадий Викторович Белинков никогда ни в каких справочниках не фигурировал. Разве что в справочниках ГУЛАГа, в архивах МВД и КГБ. Где-то хранится и по сей день его «дело» — приговор к высшей мере за студенческий роман «Черновик чувств». Вот как надо писать романы, чтобы за слово твое — к высшей мере, к стенке, на эшафот.

В 1968 году я, студент и литературный сотрудник многотиражки, прочел в провинциальном журнале «Байкал» первые главы книги, отрывки из которой печатает сегодня «Юность». Книга до сих пор не издана, она лишь готовится выйти в издательстве «Советский писатель». Но все эти двадцать лет я знал: тогда, в 1968 году, я встретился именно с настоящим критиком, критиком, не побоюсь этого слова, столетия. Именно отрывки из этого труда да прочитанная тогда же, полгода спустя, единственная опубликованная при жизни А. Белинкова книга «Юрий Тынянов», сделали меня человеком. Вкус свободы, яд язвительного слова, головокружительную глубину мысли и неслыханную смелость — вот что познал я на всю оставшуюся жизнь именно из книг Белинкова. Они стали мерой литературы, камертоном подлинного слова, синонимом безупречной честности и чести писателя. Ни позавчера, ни вчера, ни сегодня так не пишут. Не умеют. А может, не хотят рисковать. Да, да, я не оговорился — даже в нынешнем писательском «беспределе» настоящая литература — это

смертельный риск, самоожжение, это хождение по проволоке и игра с погибелью.

Высшую меру заменили на восемь лет, но в лагере он сам ухитрился заменить эти «восемь» на общепринятые для порядочных людей — двадцать пять. Но тут грянула «оттепель», и именно ей обязаны мы, что неизвестный эзек Белинков стал не просто известным — знаменитым благодаря лишь одной, вышедшей в 1960 году книге «Юрий Тынянов». Потом ее стремительно издали вновь, а потом, когда А. Белинков, уехав в Югославию, остался на Западе, и первое, и второе издание изъяли из наших библиотек. Все, думали «они», не было такого критика, не жил, не существовал, не будет жить... Обычная близорукость власти, неизбывный конфликт ее с высоким духом и... необычный, животный, нечленораздельный страх перед обличительным словом, перед простенькой правдой, перед какой-нибудь изысканной метафорой, оригинальной инверсией, непровержимым сравнением.

За границей он прожил только два года, он написал, но не успел опубликовать шестисотстраничный труд «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Книга вышла после его смерти. И, разумеется, он не успел начать третью книгу своеобразной трилогии, которую, как говорят люди, знавшие Белинкова, он хотел посвятить Александру Солженицыну.

Прочтите же, пусть и отрывки, впервые так полно печатающегося на родине произведения критика. Мастера можно узнать и по абзацу, не только по отрывкам!

Вячеслав НЕДОШВИН

Рушились города, и разрушались концепции.

В эпохи, когда происходят события, угрожающие человеческому существованию, легче, чем в другое время, заставить людей понять, что они должны делать не то, что им кажется естественным и нужным, а то, что им рекомендуют лица, помещенные для этого на специальную историческую вышку, с которой открываются широчайшие перспективы. Поэтому вместо того, чтобы делать то, что кажется естественным и нужным, люди начинают делать то, что считают нужным лица, попавшие на вышку, как выясняется впоследствии, благодаря единственно внешним условиям.

Были поиски и смятения, и некоторые интеллигенты были иногда вполне искренни в этом занятии.

Центральный пункт социологии исторического процесса свидетельствует, что в случаях, когда исключаются дискуссии, начинаются репрессии.

Но «трагедия» и «эпоха» это не то же, что, например, «климат» или «корпускулярные излучения солнца», то есть нечто независимое от людей. Трагедии и эпохи делаются людьми, всеми вместе и каждым в отдельности, и поэтому, кроме проблематичной ответственности времени и гипотетичной ответственности человечества, существует реальная, подлежащая обследованию ответственность каждого человека.

Никакой ответственности, кроме персональной, в обществе не существует.

Если человек совершает преступление, то, кроме вины общества, времени, эпохи, существует вина преступника.

Время и люди равно подлежат суду, только разных инстанций: время судит история, а человека — уголовный суд.

И, как часто бывает, подсудимый старается свою вину свалить на другого.

Поэтому люди, принесшие другим людям много горя, виноват в своей вине не себя, а время и обстоятельства.

Как очень многие люди, и особенно интеллигенты, и особенно люди искусства, и особенно писатели, Юрий Олеша был и жертвой эпохи, и ее садовником, ее узником и ее каменщиком.

Различны были жертвы обстоятельств.

Одних убивали.

Других заставляли молчать.

Третьих заставляли писать.

Для Олеши эта эпоха началась с того, что он стал старательно убеждать себя, что лучше дела, чем то, которое заставляют делать, не бывает, а кончилась тем, что он стал с необыкновенным усердием писать несравненно лучше, чем писал до этого, то есть так, как все замечательно писали в эту замечательную эпоху.

Сквозь эти годы пробивались, как в горящем лесу, и одни гнили, другие выходили искалеченными, немногие сохранились.

Юрий Олеша был одной из первых жертв времени.

В отличие от больших писателей Олеша не замолчал, а стал помалкивать.

Олеша очень не повезло.

Он ни разу не попал ни в какое постановление, его никогда не «прорабатывали» так, чтобы уже нечего было терять.

Это заставляло его дорожить тем, что у него оставалось.

Юрий Олеша был хорошо подготовлен к тому, чтобы в нужный момент начать писать замечательно.

Некоторым даже стало казаться, что он совсем перестал писать. Но это, конечно, было неверно. Наоборот, многие стали настойчиво утверждать, что новый творческий этап гораздо лучше и плодотворнее предшествующего.

Перед тем, как все это произошло, Юрий Олеша подвергся облучению быстротекущих концепций, которые еще за пять минут до своей гибели почитались вечными, непреложными, незыблемыми и непрекращаемыми.

Если бы он знал, что на свете все так быстро меняется! Я уверен, что если бы он (и не один он!) это знал, то никогда бы так не делал. Но разве люди в состоянии предвидеть, кого будут завтра хвалить, кого ругать?

Замечательная особенность некоторых видов интеллигенции, в частности вида «учитель танцев Раздватрис» (Magister), состоит в том, что этот вид необыкновенно охотно соглашается с уничтожением соседей, полагая, что его это не касается, или надеясь на то, что уничтожение соседей отведет удар от него. В мозгу интеллигента вида «учитель танцев Раздватрис» заложены мюнхенские соглашения.

Этот вид надеется, что, отдав не имеющую для него непосредственного значения Чехословакию, он тем самым сохранит, а может быть, даже укрепит свою нервную систему. Поэтому, когда во второй половине 20-х годов начались некоторые осложнения в деревне, эти интеллигенты с презрительной умешкой цедили сквозь зубы: «Нас не раскулачат. (Стучит по лбу.) Все здесь (указывает на свой череп)»¹. Но это, конечно, была очередная социологическая иллюзия, лишённая всякого основания. Фронт раскулачивания был чрезвычайно широк и захватил, кроме деревни, также Академию наук и ряд творческих организаций. Увы, учитель танцев не понимает, что уступленная Чехословакия, не имеющая для него непосредственного значения и не играющая существенной роли в его жизни, прибавляет силы тем, кто ее оккупировал, и вселяет уверенность в том, что можно оккупировать все остальное: И те, кто оккупирует, не ошибаются в своей уверенности.

Это было прямым следствием того, что, к величайшему счастью для Олеши и для всей советской литературы, у него не было самого главного конфликта: конфликта со временем.

Он всегда умел в нужный момент понять, что именно требует время.

Если же иногда безоблачное согласие между писателем и эпохой почему-либо начинало омрачаться, то Олеша как бы брал больничный лист и болел, пока социальная драма благополучно не разрешалась.

Но чем более Юрий Олеша становился зрелым, тем чаще он старался показать, что он на пути к окончательному и на этот раз уже самому последнему исправлению. Поэтому Юрий Олеша не стал разрушать бетонный гигант, как в свое время ошибочно разрушил фабрику-кухню Андрея Бабичева. Правда, это была лишь сказка², а не то, чтобы Олеша действительно пошел на такое страшное дело. Но все-таки разрушительные помыслы за ним водились.

Он прозябал на границе эпох. Он мог остаться в своем времени, в литературе десятилетия, которое хоть что-то создало, и мог перебежать в новую эпоху. Но Олеша хотел сразу и того, и другого. Он топтался на месте, где-то между 20-ми и 30-ми годами, и как следует не перебежал в новые

обстоятельства. Он жил на непрочном шве двух эпох и по мере надобности перебежал из одной эпохи в другую. Он жил, как Вольтер в своем замке в Ферне: замок стоял на границе Франции и Швейцарии, слуга смотрел на дорогу и, завидев французского жандарма, кричал. Хозяин перебежал через границу. Но Вольтер вполне заслужил свою участь: у него не было ничего святого; он оплевывал все, что попадалось ему на глаза. Олеша же был безвинен: он ничего плохого не сделал. Плохо сделали критики и приятели, которые, не имея лучшего образца, выдали Юрия Олешу за жертву в борьбе за свободу.

Юрий Олеша стал бояться не лжи, а неприятностей.

Он пересматривал концепцию не потому, что она была ложной, но потому, что она становилась опасной.

Истина в эти годы как-то сразу переставала интересовать Юрия Олешу, если из-за нее могли быть неприятности. Такая истина была плохой, вредной и никому не нужной, с ней просто не стоило связываться.

Это было ужасно.

Но Юрий Олеша в надежде славы и добра без боязни глядел вперед.

Он думал, что дерево из вишневого сада его поэзии будет расти вечно.

Он не слышал, как далеко в саду топором стучат по дереву...

Деспотизм и тирания знают, что их не убьют, что их ждут, их найдут, позовут, и они снова придут и будут трубить победу.

Вот что мы знаем об особенностях развития деспотизма и тирании:

«Бацिला чумы никогда не умирает и не исчезает, десятки лет она спит в мебели, и белье, терпеливо ждет в комнатах, погребах, корзинах, платках и бумагах, и, быть может, придет день, когда на горе и для поучения людей она снова разбудит своих крыс и пошлет умирать в счастливый город»³.

Но самая жестокая, лицемерная и тираническая власть не может удержаться только на жестокости, лицемерии и тирании. Такая власть не просто ссылается на исторический прецедент, но и действительно имеет его. Должны быть в исторической судьбе, социальных навыках, национальном характере, в прошлом народа причины, по которым противостественное правление возникло, смогло закрепиться и длительное время существовать.

Не следует удивляться тому, что каждая новая эпоха имеет свой прецедент в истории. Жестокость, лицемерие и тирания находят себя в прошлом и в этом видят свое оправдание и закономерность своего исторического бытия.

Следует напомнить, что всегда перед историческим потрясением выносятся на некоторое время шитая шелками программа, единственно возможная, неопишимо прекрасная и созданная на вечные времена.

(Клянусь в святой верности программе два раза: первый раз, когда лишь зацветает концепция, порождающая программу, и второй, когда концепция издыхает в зловонных клубах лжи, ханжества и лицемерия.)

Каждая программа непременно ссылается на великих предшественников, которые завещали поступать только так, как поступают творцы программы, и которые (предшественники) были бы необыкновенно счастливы, если бы, воскреснув, увидели удивительно замечательное торжество своих идей и действий.

Как много в истории было счастливых идей и как мало было счастливых народов! Но проходит немного времени, и становится ясным, что жизнь миллионов человеческих существ, для которых создавались программы, не стала лучше. И тогда придумывают внешних и внутренних врагов в неопишемых количествах для того, чтобы объяснить: если столько внешних и внутренних врагов, то обещания свободы и хлеба, как вы понимаете, выполнены пока быть не могут. В перерывах между врагами устраиваются всемирно-исторические победы разной величины.

Христианство... Утописты... Чартисты... Фабианские социалисты... Все они были поразительны и неотразимы, и у всех не было реальных возможностей осуществления.

В истории нет глупостей, а есть обреченность, вынужденность делать глупости. В одно и то же время всегда предлагается несколько разных ответов, и каждая отвечающая группа чаще всего выбирает лучший, но лучший в меру своего

¹А. Афиногенов. Страх. В кн.: А. Афиногенов. Пьесы. М.—Л., «Искусство», 1947, стр. 111.

²Сказка о встрече двух братьев» в романе «Зависть».

³А. Камю. Чума. Цит. по статье С. Великовского «На очной ставке с историей (Заметки о творчестве Альбера Камю)». «Вопросы литературы», 1965, № 1, стр. 123.

разумения. Все дело в том, что такое ее понимание. Оно чаще всего ничтожно потому, что срок исторической предназначенности каждой группы, пришедшей к власти, неизмеримо меньше, чем ее победоносная борьба за эту власть.

Историческое деяние и время действия исторического события более коротко, чем это хотелось бы историческим деятелям.

Исторические деятели настойчиво пытаются извлечь себя из прошлого, продолжить себя в прецеденте, в предшественниках и единомышленниках, завещавших им осуществление идеала.

Но историческое явление слишком быстро себя исчерпывает, и попытки его задержать всегда связаны с подавлением новых и более нужных общественных форм.

Историческое деяние гораздо больше связано со своим временем, чем кажется, и значительно менее пригодно для будущего, чем этого бы хотелось. Исторический деятель укладывается в свою эпоху и на другую эпоху не распространяется. Поэтому он не ответственен за поступки деятелей других эпох, ссылающихся на него. И поэтому то, что прекрасно у исторического деятеля в его эпоху, может оказаться отвратительным у другого исторического деятеля, пытающегося осуществить идеи предшественника в иное время.

В возрасте писателя появилась первая роковая цифра...

Ему исполнилось тридцать лет...

Ему надоело несерьезное отношение к жизни...

Но этот вопрос еще ждет своего исследования.

Страна переживала трудные дни. Стали встречаться люди, которые, поспешно завершив кое-какие социально-нравственные обязанности, торопясь и захлебываясь, приступили к наслаждению жизнью.

В связи с этим на данном этапе были затребованы пирожные со сливочным кремом, галстуки в голубую клеточку, дворцы культуры из настоящего мрамора, сочные женщины с розовым оттенком, мировые рекорды и глубокое уважение.

В жизни Юрия Олеши также наступил новый период.

Правда, Юрий Олеша не получил в личное пользование ни пирожных со сливочным кремом, ни дворцов культуры из сплошного мрамора, ни даже сочных женщин с розовым оттенком.

Правда, он недополучил по вышеприведенному списку благодеяний причитающееся не потому, что считал себя недостойным или с презрением отвергал цветы наслаждений, а потому, что до него уже все расхватали.

Но зато Юрий Олеша обрел еще более твердую уверенность в том, что он на пути к сверкающим вершинам.

Новый период в жизни Юрия Олеши ознаменовался медленной, беспробудной и уже ничем не остановимой сдачей.

Сдавшийся человек, согласившийся на измену, боится и не любит своего прошлого. Он начинает расправляться со старыми концепциями, с недавними иллюзиями, со своими героями.

От сдачи, начавшейся так прекрасно, потянуло дымком самосожжения. Здесь началась новая судьба.

Он не подозревал, что последняя строка «Зависти» была последней независимой, а значит, последней, имеющей художественное и общественное значение строкой в его жизни. Он не мог думать о том, что все кончено и что теперь он обреченно и безостановочно, все быстрее и быстрее падает вверх к холодной сверкающей ледяной и бесчеловечной, уже различимой в зарозовеющей заре вершине, именуемой «Строгий юноша».

Новая эпоха в его судьбе началась одновременно с великим переломом в жизни советского крестьянина.

Намечались еще кой-какие великие переломы, в частности в истории русской интеллигенции, литературе, философии и прочем.

Ничего непохожего на то, что было с другими, с Олешей не произошло.

Он был послушен времени, как послушна была общественная мысль и вся жизнь страны, и никаких попыток выйти из послушания не предпринимал.

И поэтому свои капитулянтские вещи он начал писать в преддверии 30-х годов, когда их начали писать и другие, почти все, и поэтому он начал писать плохо, как и другие, как почти все, и поэтому, быть может, он выжил. Он писал, неуверенно ощупывая словами мир. Он все больше старался писать, как все, и все чаще это ему удавалось.

Юрий Олеша не хотел писать безнадежно и тайно.

Юрий Олеша знал, что делает с человеком время. Он рассказал об этом с похвальной обстоятельностью и рассудительностью.

«Есть среди нас люди,— разъясняет Олеша,— которые носят в душе своей только один список. Если это список преступлений, если эти люди ненавидят советскую власть — они счастливы. Одни из них — смелые — восстают или бегут за границу. Другие — трусы, благополучные люди, которых я ненавижу,— лгут и записывают анекдоты... Если в человеке другой список — благодеяний,— такой человек восторженно строит новый мир. Это его родина, его дом. А во мне два списка: и я не могу ни бежать, ни восставать, ни лгать, ни строить. Я могу только понимать и молчать».

Писатель прикидывает на себя один из четырех вариантов: восстать, или лгать, или строить, или понимать и молчать.

Юрий Олеша понимал и молчал.

Путь и эволюция Юрия Олеши, его духовное и художественное развитие были длинной цепью уступок мелочным и преходящим обстоятельствам. И если в первый период, кончившийся «Завистью», эти уступки были вызваны искренней верой в то, что нужно делать именно так, как велят, ибо в этом есть некая высшая, может быть, не всегда доступная простому человеческому пониманию, но, вне всякого сомнения, самая ослепительная правда, то после «Зависти», и чем дальше, тем сильнее, обреченнее, и, уже не имея сил и желания остановиться, он стал делать, как велят, не по внутреннему убеждению, но из страха.

Олеша не скрывал, что он делает не то, что хочет. Он скрывал, что делает это из страха.

Юрий Олеша был обыкновенным хорошим и обыкновенным плохим писателем, он плыл по реке и писал хорошо, когда выходил на широкую чистую воду, и плохо, когда река начинала скудеть.

Трагичность судьбы Юрия Олеши, который по своей художнической физиологии был, несомненно, большим писателем, в том, что он не стал им, и не стал потому, что никогда не делал ничего сам. Он не был человеком с биографией, в которой играл главную роль. Он был человеком судьбы. Он только плыл, и плыл не к назначенному месту, а туда, куда принесет волна. Он только повторял время, процесс, историю литературы, и поэтому он написал свои лучшие книги, когда все писали свои лучшие книги и когда плохо писать считалось неприличным, и свои плохие книги, когда все писали плохие книги и когда считалось, что следует писать именно так. Судьба Юрия Олеши равна судьбе литературы его времени. Но литература может быть большой только тогда, когда ее мужества хватает на сопротивление расплющивающей силе, уничтожающей главное назначение искусства — говорить правду. Нужно быть мужественным человеком, чтобы иметь талант.



Йогешвар "Учебник хатха-йоги". Пер. с англ. Пособие индийского гуру для самостоятельных занятий.

А.Джайн "Индийская хиромантия". Пер. с хинди. Книга для тех, кто хочет узнать свою судьбу и влиять на нее.

"Кама-сутра" Ватсыяны. Комментарии к древнеиндийскому эротическому трактату.

Из серии "Традиционные и современные оздоровительные и боевые системы". И.Красулин "Пять стихий" - искусство продления жизни". Книга 1. Комплексные системы саморегуляции на основе гимнастики у-шу. Практическое руководство.

А.Дэвид-Ниль "Мистики и маги Тибета". Пер. с франц. Увлекательное повествование о тайных учениях и загадочной жизни тибетских йогов.

Вегетарианская кухня народов мира. Более 200 доступных и экзотических рецептов из разных стран мира.

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ !

"Аюрведа". Пер. с санскрита. Древнеиндийская медицина: 175 рецептов практической медицины от 73 болезней.

Сивасанкари "Наркоманы". Пер. с тамильского. Бестселлер знаменитой индийской писательницы о судьбе юноши-наркомана.

"Тиррукурал". - "Тамильская библия", сборник афоризмов южно-индийского мудреца Тируваллуvara.

Звуковой слайд-фильм "Уроки хатха-йоги". 70 диапозитивов и одночасовая аудиокассета.

Самоучитель языка хинди: Лингафонный курс. Учебник, импортные аудиокассеты (4 ч. 30 мин.).

А ТАКЖЕ, советуем вам подписаться на ежемесячную

ГАЗЕТУ "ИНДИЙСКИЙ МОТИВ"

В газете: индийская философия, мистика, йога, кино, танцы, музыка, медицина.

Подписной индекс 50039 по приложению 4 к каталогу газет на 1992 год.

Подписка принимается без ограничения во всех отделениях связи.

© "Юность" Рекламное бюро Тел.: 251-14-21.

нужное отметить

Наименование	Цена (руб.)	Кол-во экз.
☐ Йогешвар "Учебник хатха-йоги"	24 руб.90 коп.	_____
☐ А.Джайн "Индийская хиромантия"	24 руб.80 коп.	_____
☐ "Кама-сутра"	23 руб.95 коп.	_____
☐ И.Красулин "Пять стихий" - искусство продления жизни"	24 руб.95 коп.	_____
☐ А.Дэвид-Ниль "Мистики и маги Тибета"	24 руб.85 коп.	_____
☐ "Вегетарианская кухня народов мира"	23 руб.90 коп.	_____
☐ "Аюрведа"	39 руб.00 коп.	_____
☐ Сивасанкари "Наркоманы"	22 руб.90 коп.	_____
☐ "Тиррукурал"	49 руб.00 коп.	_____
☐ Звуковой слайд-фильм "Уроки хатха-йоги"	149 руб.00 коп.	_____
☐ Самоучитель языка хинди	495 руб.00 коп.	_____
☐ Брошюра "Самостоятельная поездка в США"	29 руб.00 коп.	_____
☐ Справочник издателя в двух томах	795 руб.00 коп.	_____
Базы данных на дискетах:		
☐ типографий СССР	550 руб.00 коп.	_____
☐ книоторговых организаций СССР	180 руб.00 коп.	_____
☐ газет СССР	790 руб.00 коп.	_____
☐ издательских организаций России	395 руб.00 коп.	_____
☐ издательств и книоторговых организаций зарубежных стран	590 руб.00 коп.	_____
Итого:	_____ руб. _____ коп.	

фамилия, имя, отчество или название организации (писать разборчиво)

почтовый адрес, телефон (писать разборчиво)

В помощь отъезжающим за рубеж -

Издания из цикла "Ваш спасательный круг": книги, карты, путеводители, разговорники.

БРОШЮРУ "САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В США". Практические рекомендации: как получить приглашение, приобрести билет на самолет, потратить минимум денег на питание и транспорт, окупить затраты на поездку и сделать бизнес. В брошюре включены путеводитель по Нью-Йорку и русско-английский разговорник.

Серию справочных материалов:

СПРАВОЧНИК ИЗДАТЕЛЯ в двух томах: адреса и телефоны книготоргов, бумажных комбинатов, областных и республиканских газет (более 2000 адресатов); издательские нормативы и типовые договоры.

БАЗЫ ДАННЫХ НА ДИСКЕТАХ (АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ):

- типографий СССР (1500 адресатов)
- книготорговых организаций СССР (450 адресатов)
- газет СССР (3000 адресатов)
- издательских организаций России (1000 адресатов)
- издательства и книготорговых организаций зарубежных стран (680 адресатов).

Базы данных выполнены на дискетах для ПЭВМ, совместимых с IBM PC XT/AT. Обеспечивается выборка по территориям и специализации.

Информация поставляется также в распечатанном виде.

Для оформления заказа нужно:

- перечислить почтовым переводом сумму, полученную в графе "ИТОГО" подписного купона, на р/с 2609272 в Шаболовское отд. Московского банка г. Москва, Центр "Васанта", МФО 201467 (почт. индекс банка 113162);
- подписной купон, квитанцию почтового перевода (копию платежного поручения) направить по адресу: 109125, г. Москва, Волгоградский пр-т, 46/15, Центр "Васанта".

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!

Справки по тел.: (095) 355-25-69

Подписной купон, квитанцию
почтового перевода вернуть по
адресу: 109125, г. Москва, Волго-
градский пр-т, 46/15,
Центр "ВАСАНТА".



☆☆☆

Ты то мерешишься, то чудишься.
Хотя я чуда не ищу.
Когда-то ты совсем забудешься.
Тогда-то я тебя прошу.
Тебя, такого звонко-медного,
Над теплой ямкой у плеча...
И лихорадящего, бледного,
Растаявшего, как свеча.

Нет, все не так теперь рисуется,
Не надо ближнего стращать.
Что выпадет, что подтасуется —
И станет некого прощать.
Но ты мерешишься, ты чудишься,
Полуразмытый, видный чуть...
Когда-нибудь и ты забудешься!
Когда-нибудь, когда-нибудь.

☆☆☆

Вместо крикнуть: «Останься,
Останься, прошу!» —
Безнадежные стансы
К тебе напишу...
И подумаю просто:
Что же тут выбирать?
Я на теплый твой остров
Не приду умирать.
Но в углы непокорного рта
Твоего
Дай тебя поцелую —
Всего ничего...
Я сама ничего тут не значу.
Запою — и сейчас же заплачу.

☆☆☆

На мое «когда?»
Говоришь «всегда!»,
Это трогательно, но неправда.
Нет-нет, говорю я себе,
Да-да...
Это обморок, но не травма.
В этом облаке-обмороке
Плыву,
Едва шевеля руками.
И зову тебя, и зову,
И звоню
С бесконечными пустяками.

☆☆☆

И, ленивенько процедив:
«Как дела, дружок, как дела?» —
Я, мой миленький, поняла,
Что закончился рецидив.
Не хочу с тобой говорить
Ни о деле, ни о душе.
А прочувствовать, воспарить —
Не хватает меня уже.

И, со вскинутой головой,
Я, чужая в миру жена,
Вот стою тут перед тобой —
Абсолютно разоружена.
Абсолютно, абсолютно,
Абсолютно разоружена.

☆☆☆

А вот теперь другая женщина
Пускай слова мои споет.
А я писала между жестами,
Навзрыд, навывлет, напролет.

Слова обуглятся, оплавятся
И — канут в дымчатый песок.
Но, может быть, тебе понравится
Чужой высокий голосок?..

☆☆☆

Да я сама такой же тонкости в кости.
Возьми и скомкай и сломай меня в горсти.
Но я не хлипкая, взгляни в мои глаза!
Скорей, я гибкая стальная полоса.
...Не слушай, миленький, все это болтовня.
Уж как обнимешь, так отпразднуешь меня.
Не бойся алого дразнящего огня,
А бойся маленькой заплаканной — меня.

☆☆☆

Я звоню тебе из Невинграда
Сообщить, что я еще жива.
В Невинграде — все, что сердцу надо:
И невиноватость, и Нева.

И моя премьерная простуда,
И моей гримерной суета.
Мне никто не позвонит оттуда,
Если я не позвоню туда.

Я себя сегодня постражаю,
Теплый диск покруче раскручу.
В Невинграде я тебя прощаю,
А в Москве, должно быть, не прощу.

Я звоню тебе сюжета ради.
Я жива, и тема не нова.
В Невинграде все, как в Ленинграде.
И невиноватость, и Нева.

☆☆☆

Ежели забрезжило —
Слушай, голубок:
Чего хочет женщина,
Того хочет Бог.

Впроголодь да впроголодь,
Что за благодать?
Дай ты ей попробовать,
Отчего ж не дать?

Много ль ей обещано —
Иглы да клубок.
Чего хочет женщина,
Того хочет Бог.

Если замаячило —
Хочет, пусть берет.
За нее заплачено
Много наперед.

Видишь, как безжизненно
Тих ее зрачок?
Кто ты есть без женщины —
Помни, дурачок.

Брось ты эти строгости,
Страшные слова.
Дай ты ей попробовать!
Дай, пока жива.
...Дай ей все попробовать.
Дай, пока жива.

☆☆☆

Так вот: боюсь сорваться в страсть, как в прорубь.
В новейший глянec ласковой беды.
Но тот, кто был, кто пробовал, кто пробыв, —
Запомнил вкус той ледяной воды.

Кто прорубь знал — особая порода.
Он как бы миру поданная весть.
Он только цифра памятного кода.
Он вышел, выпал, вышлел, да не весь.

Ну, знал же, знал еще внутриутробно,
Что это будет, будет впереди.
Его трясет, в тепле ему ознобно,
И плещет прорубь в треснувшей груди...

Вероника
ДОЛИНА





Михаил УСПЕНСКИЙ

НЕТ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ПРАВИЛА БУРАВЧИКА

Еще в школе я глубоко, всей головой, задумался прямо на уроке физики, не отходя от парты: вот есть, допустим, законы Ньютона числом целых три, закон Бойля—Мариотта, постоянная Планка, эффект Черенкова, управления Декарта, демон Максвелла. И везде имена ученых, совершивших основополагающие деяния, пишутся с заглавной буквы за одним-единственным исключением.

Правило буравчика.

Оно, как известно, определяет направление напряженности магнитного поля прямолинейного проводника с током. Уж это-то всякий дурак знает. Но почему слово «буравчик» пишется с маленькой буквы? Он что, Буравчик, рылом не вышел или у Бога теленка съел? Не пора ли восстановить грубо попанную справедливость и вернуть выдающемуся ученому честное имя Буравчика с большой буквы?

Решив, что пора, я вышел из класса и в школу никогда уж более не возвращался, целиком посвятив жизнь свою памяти замечательного человека, ученого-энциклопедиста, этого своеобразного Леонардо да Винчи XX века.

Долгие годы пришлось провести мне в тиши библиотек Старого и Нового Света, спускаться в подвалы Лубянки, посещать публичные дома Уфы и Кирова-Чепецка, разговаривать с неграми Замбези и нефтедобытчиками Мангышлака, выпивать в подъездах с видными дипломатами и вести переговоры с вокзальными бичами, отстаивать свободу Барбадоса и Мартиники и подавлять бунты немирных индейцев села Пышкино-Троицкое.

Плоды моих изысканий в свое время не могли быть опубликованы по вполне понятным причинам. Теперь настала пора твердой рукой раздвинуть завесу преступного молчания.

Иван Северьянович Буравчик, по неопровержимым свидетельствам очевидцев, родился 15 (28) сентября

1891 года в семье торговца скобяным товаром Северьяна Тимофеевича Буравчика. Некоторые, впрочем, считают, что «Буравчик» — вовсе не фамилия, а уличное прозвище, данное мужским представителям этого рода за чрезвычайную целеустремленность в обращении с противоположным полом. В родном городе Нижний Молчок Буравчики были славны своим отхожим промыслом на большой дороге. Но к концу прошлого века все они были в основном отправлены на каторгу или же приведены к мирному гражданскому состоянию.

Переняв от родителя умение обращаться со всяким инструментом и страсть к точным наукам, юный Иван Северьянович в самом нежном, почти младенческом возрасте осуществил свое первое и, быть может, главное открытие, сделавшее его совершенно невидимым для постороннего глаза. В самом деле, ни на одном из миллионов или даже миллиардов фотографических снимков, сделанных в мире за сто лет, не найдем мы сколько-нибудь ясного или различимого изображения И. С. Буравчика. Существует, впрочем, дагеротип, на котором предположительно запечатлен Иван Северьянович, но запечатлен он младенцем, лежащим на животе, так что первичные половые признаки скрыты, и не исключено, что это его родная сестра Глафира Юсуповна, урожденная Сумарокова-Эльстон.

Вначале думали, что Ваня погиб, взорвав ведро самодельной бертолетовой соли пополам со шпанскими мушками, но тела не нашли, а родители скоро убедились, что ребенок не только уцелел, но и обладает отменным аппетитом и недюжинным умом. На семейном совете было решено скрыть от властей невидимое состояние ребенка и сказать его в бегах. Но о чудесном дитяти через посредство зарубежной прессы узнали сосланные в Нижний Молчок под надзор полиции студенты-марксисты Гегельянц и Кантор. Они решили развратить юное дарование, прихотлив его разносить листовки и динамит. Ввиду чрезвычайной рассеянности, свойственной выдающимся умам, Ваня Буравчик листовки исписал непонятными и доднес формулами, динамит же употребил для надобностей ученого, о чем речь впереди. Генерал-губернатор таким образом остался жить и ждать естественной смерти от пули революционного матроса Белянчикова.

Получив блестящее домашнее образование, Иван Северьянович, по обычаю того времени, был отправлен в далекое путешествие за рубеж. Побывал он во многих странах Востока, и тамошнее население, более нашего склонное к мистицизму, его очень даже видело, причем при таких обстоятельствах, что было вынуждено слагать о нем легенды и предания. Так, из «Мифологического словаря» мы узнаем, что в древнем Китае «Б. изображается с лицом человека, с носом, похожим на птичий клюв. Б. обнажен по пояс. Ниже пояса его туловище напоминает колокол

(по одной из легенд, он родился от колокола), из-под которого торчат большие птичьи лапы с когтями. На голове странные волосяные пучки за ушами как бы заменяют рога. В одной руке он держит тькву-горлянку, в которую сажает саранчу, уничтожая ее таким образом. В другой руке меч, или слиток золота, или деревянный молоток, или знамя с надписью «Собираю саранчу и уничтожаю ее». (Ныне это переходящее знамя хранится в Музее Внутренних Войск МВД СССР, им заочно награждаются подразделения, преуспевшие в боевой и политической подготовке.)

По мнению жителей Аравийского полуострова, «мусульманская традиция описывает Б. как лошадь или как животное по размерам между ослом и мулом, белого цвета, с длинной спиной и длинными ушами. На ногах у Б. были белые крылья, помогавшие быстро скакать. Позднее Б. стали представлять крылатым конем, иногда с человеческим лицом». (Некоторые из-за этого даже необоснованно путали Буравчика с социализмом.)

Неожиданное свидетельство имеется и в классической японской «Повести о доме Тайра»:

«Однажды ночью в опочивальню Правителя-инока внезапно просунулась огромная, чуть ли не во весь покой, рожа и в упор воззрилась на князя. Но Правитель-инок, ничуть не дрогнув, устремил на нее суровый взор, и приведение исчезло».

Что характерно, ни один из ведущих японистов и японоведов мира до сих пор ни на минуту не усомнился, что речь шла именно об Иване Северьяновиче.

Вернулся Буравчик с Востока в самый разгар бурных политических событий. Великую Октябрьскую социалистическую революцию, сделавшую облегчение всем народам, он приветствовал, написав первое и последнее в жизни стихотворение, вернее, поэму бросовского типа, состоявшую всего из одной строки:

Ну-ка, бари, подай мне ливрею!

Поэма была опубликована в анархо-футурологическом сборнике «Вобла в сахарине» и осталась, как всегда, незамеченной. Заметил только один поэт — зато, правда, лучший и талантливейший, звали Володя — и очень обиделся, потому что для него, Володи, не было вопроса: принимать или не принимать. Володя не забыл Буравчику этого злобного политико-поэтического выпада и постоянно напоминал о нем революционным властям то в устном, то в письменном виде. Взять хотя бы знаменитое, ни разу не публиковавшееся стихотворение «Письмо из Египта товарищу Троцкому, пароходу и паровозу»:

Да надо же ж
Было Буравчика
Отправить
Еще вчера
В ЧК!

О том, что сигналы эти доходили до властей, неопровержимо свиде-

тельствует также неопубликованное письмо Ленина Инессе Коллонтай:

«т. Бонч-Бруевич!

Что, Буравчика в Петрограде все еще не видно? Когда увидишь, расстреляй его, Надюша, лично (SIC!), это архиважно. *NOTA BENE*: настоятельно рекомендую также бить его по головке маузером. Я пробовал — потрясающая, нечеловеческая музыка! (ПСС, т. 66, стр. 666).

Феликс Менжинский, получив письмо, поспешно отпрапортовал, что Буравчика погрузили на один пароход с Бердяевым, и немедленно распорядился бросить всех чоновцев подавлять антоновщину на Тамбовщине, что повлекло за собой неотвратимые последствия. Тридцать три года носились чоновцы по тамбовским лесам, сумели создать партачейки даже среди местных волков, но ничего не добились.

Показывался Иван Северьянович людям либо очень талантливым, либо очень пьяным, а те, которые сопрягали два данных достоинства, видели его почти постоянно. Так, в мемуарах И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» читаем своими глазами:

«В 1924 году у общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти — бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: «Ну, пусти!.. Я ведь не против тебя... Я вообще... Вон Ваня Буравчик сидит — какой мог бы стать поэт, а он в химикаты пошел...»

Вскоре и я разглядел за столом молодого человека в чесучовом костюме и в золотом пенсне. Слова его потрясли меня. Его биография поразила. Но не обо всем можно еще рассказать. Мы много молчали и пили. Светало».

Теперь настала пора поведать, куда и на что пошел динамит, полученный Буравчиком от студентов-марксистов. Стремясь увеличить в научно-познавательных целях убойную силу динамита и не желая подвергать опасности окружающих, молодой Иван Северьянович еще в 1913 году добрался до сибирской тайги и произвел непосредственно в ее дебрях взрыв, получивший впоследствии ложное название «Тунгусского дива». Отбывавший в это же время ссылку в Туруханске Джугашвили, до которого докатились отдаленные раскаты взрыва, сразу же догадался, в чей огород камешек. С тех пор он затаил на весь белый свет лютую злобу и во всяком человеке видел своего невидимого супостата Буравчика. Это доказывает хотя бы запись беседы И. В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом, состоявшейся 13 декабря 1931 года.

«Немецкие товарищи зачастую задают еще вопрос, отчего не видно Ивана Северьяновича Буравчика. Отвечаю: оттого, что рабочий класс еще не до конца разглядел его мелкобуржуазную сущность. Что представляет собой Буравчик в данный исторический момент? Да ничего. Вот поэтому его и не видно. Что говорит

в этом случае рабочему классу пролетариат? Пролетариат говорит рабочему классу в этом случае: никакой пощады будущим убийцам народного любимца Сергея Мироновича Кирова! Почему мы не хотим щадить будущих убийц народного любимца Сергея Мироновича Кирова? Потому что память о Сергее Мироновиче никогда не разгладится в наших сердцах. Почему память о Сергее Мироновиче никогда не разгладится? Потому что ей это не свойственно. Так и передайте германским пролетариям и их вождю Адольфу Эйхману, товарищу Эмиль Людвиг».

Впрочем, сам Буравчик никогда или почти никогда не принимал участия в политической деятельности и служил всего лишь предлогом для ее развития. Так, вся печатная продукция в стране была взята под строжайший контроль только для того, чтобы Иван Северьянович не мог напечатать ни строчки. Начальники ВЧК — ОГПУ — НКДВ снимались с работы и уничтожались только из-за того, что не могли разыскать Буравчика. Миллионы людей погибли только потому, что в каждом из них обезумевшим от страха следователям чудился Буравчик. Но эта страшная фамилия ни разу не прозвучала вслух и не появилась в документах — разве что в особо секретных, уничтоженных накануне XX съезда. Известно, например, что популярного публициста М. Кольцова расстреляли из-за того, что в разговоре со Сталиным он от волнения делал указательным пальцем правой руки винтообразные движения в воздухе. Под большим подозрением долгое время находились не только сверлильные станки, но и простые коловороты.

А что же наука? Мы знаем, что в первые десятилетия века она пережила во всем мире необычайный подъем, и это легко объяснимо: Иван Северьянович расслал свои работы всем крупнейшим ученым того времени. Редко кто из них сумел избежать искушения — убедившись воочию, что никакого Буравчика не видно, они без зазрения совести присваивали все его открытия себе. Я, конечно, не хочу обидеть творца теории относительности, но почему у него на всех снимках глаза такие печальные и виноватые?

Правда, авторства известного правила на счет направления напряженности магнитного поля прямолинейного проводника с током никто оспорить не посмел. Тут Иван Северьянович встал насмерть и пригрозил, что в противном случае выйдут из строя все электродвигатели, останутся турбины и погаснет самая лампочка Ильича! Составляя учебник физики, академики Иоффе и Хвольсон подумали: «Буравчик звучит совершенно все равно как Рубинчик. Опять, скажут, одних своих понапихали! Напишем-ка мы Ивана Северьяновича, от греха подальше, с маленькой буквой!» Да так и сделали.

Разумеется, у Ивана Северьяновича с личной жизнью были большие разногласия. Священники отказывались его венчать и брызгались святой водой, а регистраторы загсов в совет-

ское время сразу вызывали органы. Но ведь натура брала свое, недаром соседи дали такое прозвище семье. Что ж, как известно, одинокие молодые женщины иногда во сне чувствуют, что их кто-то якобы давит, и грешат на домового. Этим сувереном Иван Северьянович весьма широко пользовался, в результате чего появлялось обильное потомство. Все полученные таким образом дети стали выдающимися деятелями нашего времени. Назвать их имена не позволяет автору скромность, в том числе и личная.

Наконец грянула война. Палили много, но попасть в Буравчика все равно не смогли. Напрасно Сталин расстреливал маршалов, а Гитлер вешал на крюк адмирала Канариса. Но вот что интересно. Поражение вермахта под Москвой одни приписывают крепкому морозу, другие — гению маршала Жукова. Мороз, безусловно, имел место, но на самом деле (дальнейшее вымарано военною цензурою)... напившись с личным баянистом маршала. Это и послужило переломным моментом.

Даже неблагодарный генералиссимус усвоился и велел заготовить орден «Победы» и для Буравчика, но в последний момент передумал да и подарил орден на память приятелю, образованному румынскому королю Мухаммед-Захир-Шаху-Реза-Пехлеви.

Из-за ордена Иван Северьянович сильно обиделся и, желая еще разок припугнуть обидчика, 12 февраля 1947 года имитировал падение Сихотэ-Алиньского метеорита. Это вызвало, увы, новую волну репрессий. Окончательно обозленный Буравчик вплотную занялся биологической наукой, в результате чего товарищи Жданов и Щербаков, а впоследствии вождь их и начальник скончался от обычной собачьей чумки, что бы там ни говорили врачи-вредители. Блезнь эта сделалась как бы наследственной, она распространена среди сильных мира сего и по сей час, но лечат их совсем от другого, потому что неудобно же вызывать, например, к Ю. В. Андропову ветеринара, который в два счета поднял бы страшного дыденку на ноги.

Между тем слухи о видении Буравчика мало-помалу стали достоянием довольно-таки широких масс. Среди начальства ходили слухи, что того, кто сумеет увидеть Буравчика, ждет серьезное личное счастье и сильное продвижение по службе. Поскольку талантами начальство обладать не может по определению, оно было вынуждено пойти по единственно доступному пути, то есть жрать водку до полного посинения. И действительно, то один, то другой партийный работник или военачальник начинал видеть Ивана Северьяновича, но не настоящего, а поддельного, потому что у настоящего Буравчика нет ни хвоста, ни рогов. А главный писатель страны Фадеев так постарался, что сумел увидеть сразу несколько (точнее, тринадцать) маленьких зелененьких Буравчиков, которые бегали по всему писательскому телу и обидно дразнились: «Мама, мама! Я по-

мню руки твои!» Писатель, участник гражданской войны на Дальнем Востоке, взялся за пистолет, но промахнулся по одному из Буравчиков и попал прямо в себя. Вот как было дело. А так называемое предсмертное письмо, полное обид и упреков, написали тут же, над неостывшим трупом мертвого покойника, литературные критики самого антипатриотического толка.

Народные массы глядели на сильно пьющие верхи и думали: «Чего это они делают? Начальство зря пить не станет, видно, такое указание вышло. Догонять надо!» Догнать по скудости кармана не догнали, а плотную прибили, где и по сей час пребываем. Но Иван Северьянович, как всякий великий ученый, не догадывался о побочных эффектах своего существования.

Он перенес внимание непосредственно на космос. Именно тогда весь мир облетело известие о подвиге первых четырех советских космонавтов Федотова, Поплавского, Крючковского и Зиганшина, которые самовольно уплыли на самоходной барже в Тихий океан, желая испытать себя без воды и пищи, и сорок девять дней не возвращались оттуда, пока не захватили подвернувшийся авианосец ВМС США «Кирсардж» с экипажем на борту. Американские моряки были потрясены гуманизмом победителей и подарили им на прощание сувенирную статую Свободы в натуральную величину. С тех пор всякий советский человек в детстве хочет стать космонавтом, а потом уже не хочет ничего worse.

Иван Северьянович вносил немалый вклад в развитие космической техники до тех пор, пока не увидел, что все его изобретения используются в чисто военных целях. Тогда он решил покинуть пределы социалистической родины и вообще мира.

Именно поэтому ни одной ногой советского человека не удалось ступить на поверхность Луны. Иван Северьянович тайно переоборудовал предназначенный для этого дела космический корабль «Привет-1» на фотонную тягу и в ночь на 17 октября 1964 года стартовал в неизвестном направлении. Немедленно была организована погоня, во время которой отличились знаменитые летчики-истребители Кожедуб и Покрышкин. Они преследовали угонщика до орбиты Юпитера на самолетах Ан-2 и, чтобы деморализовать Буравчика, кричали по-немецки: «Рус, сдавайся!» К сожалению, из-за недостатка кислорода в безвоздушном пространстве герои были вынуждены воротиться ни с чем.

А вот воротится ли сам Иван Северьянович? Есть все основания надеяться: ведь смерти-то Буравчика тоже не видно. И правило его пока действует безотказно. На нем стояла и стоять будет Русская земля. Ура!

г. Красноярск

Виктор ВЕРИЖНИКОВ

ТОПЛИВНЫЙ ДИПЛОМ

— Мы женаты уже три года, — сказала жена Васильеву. — Да, почти ровно три года. И в общем-то хорошо живем, чего уж там. Это да. Но ты так мало о себе рассказываешь. Интересно, какая у тебя профессия? Сколько тебе лет? Есть ли у тебя мать, отец, братья, сестры, другие родственники? Кто ты по национальности? Мне иногда кажется, что ты говоришь с небольшим акцентом... Расскажи о себе.

— Ты есть права, Светлана, — ответил Васильев. — Я мало имел освещать этот момент. Но я и не имел от тебя вопрос по данной теме.

— Нет, я тебя спрашивала об этом, — возразила Светлана. — Полгода назад. Но ты перевел разговор на предвыборную кампанию.

— Ах, да, — вспомнил Васильев. — Тогда мы имели... как это сказать по-русски... предвыборный марафон. Согласись, это куда важнее, чем рассказ тебе обо себе.

— Ну, теперь марафон уже закончился, так что ничто не мешает...

— Но и сейчас мы имеем много интересных тем. Например, Ирак. Можно обсуждать про эту страну...

— Нет, расскажи о себе. Почему у нас в серванте лежат четыре пистолета? А ящик гранат под креслом? Почему ты вчера пришел с простреленным ухом? И, наконец, почему ты никогда не снимаешь черных очков, даже в постели не снимаешь?

— Ладно, — согласился Васильев, поправляя очки. — Ты действительно могла иметь мало моих рассказов обо мне. Я имел окончить топливное училище и обладая топливным дипломом. И работаю по этой специальности. Национальность имею русский. Что касается насчет очки, то я имею... как это сказать по-русски... ах, да! Конъюнктивит... Остальное есть не важно. Главное — мы любим друг друга. — Он заключил Светлану в объятия.

— Да, это главное, — согласилась Светлана. — Милый мой... Милый... Их уста слились в поцелуе.

Как-то Светлана сказала мужу:

— Я слышала по радио — сегодня вечер выпускников топливного училища. Ты должен пойти. Мы должны пойти.

— Я есть не имею сегодня времени, — ответил Васильев.

— Но, Сашечка! Ведь вчера ты говорил, что сегодня не занят. И вдруг... А я так хочу увидеть твоих однокурсников, услышать воспоминания преподавателей, интересные истории из твоей прежней жизни... Ты не должен отказываться.

Она перевязала ему свежую ножевую рану в предплечье, он надел темный костюм под цвет очков, и они отправились. На полпути, у какого-то дощатого сарая, крытого, однако, шифером и с табличкой у двери «Топливный склад», он остановился.

— Я имею обязанность зайти в этот склад по службе. Подожди минутка.

Васильев скрылся за дверью...

Через час Светлана слегка забеспокоилась, а через полтора постучала в дверь. Склад был заполнен стоящими друг на дружке цилиндрическими бочками. Пахло соляры. Тусклая лампочка освещала стол у входа, за которым двое мужиков в ватниках играли в лото.

Нет, никакого Васильева с топливным дипломом тут не было, они его вообще не знают, такая красивая женщина и одна, садитесь с нами играть в лото, садитесь прямо на эту бочку, она чистая и пустая, ну, если хотите, можно еще ветошью обтереть, ветошь тоже чистая, ах, некогда, ну извините, жаль, конечно, заходите как-нибудь в другой раз.

Светлана побежала домой... Но там Васильева тем более не было. Не было его и на следующий день, и через месяц. Подать на розыск? Но она не знала ни года, ни места рождения, а ведь Александров Петрович Васильевых — пруд пруди...

Прошел год, и надежд у Светланы не осталось.

«Сама виновата! Сама! — думает она вечерами. — Обидела самого близкого человека нелепыми подозрениями. Сама разбила свое счастье, разрушила крепкую российскую семью!»

Она нежно протирает тряпочкой гранаты, смахивает пыль с вороненых пистолетов и заливается горькими слезами.

г. Санкт-Петербург

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Как и для всей нашей пока еще необъятной страны, этот год для «Зеленого портфеля» выдался не самым удачным. Мы долго ломали головы над тем, кому вручить нашу традиционную премию. И тут, как всегда, выручила читательская поддержка. Легкий всплеск одобрительных писем в конце года подсказал оптимальную формулировку нашего сообщения.

Премия «Лавровая шляпа» за 1991 год присуждена Константину Мелихану (Санкт-Петербург) — за подборку произведений в № 11.

Поздравляем! Обнимаем! Жмем руку! Похлопываем по плечу!

Юрий РЯШЕНЦЕВ

АДЬЕ, ВЕЛИКАЯ СТРАНА!

В июне 1988 года «Зеленый портфель» знакомил читателей с песнями Ю. Ряшенцева. Кстати, за ту подборку автор получил премию «Лавровая шляпа». Однако успех не вскружил поэту голову — он продолжает активно работать, особенно часто пишет песни для спектаклей. Правда, за последнее время интерес зрителей к театру несколько угас. В этом можно винить кого угодно, только не Ю. Ряшенцева. Тем, кто редко посещает театры, кто лишен возможности услуждать свой слух песнями на его слова, «Зеленый портфель» хочет показать, что они теряют.

РОМАНС ОБЛОМОВА (из спектакля «Обломов»)

Ты, может быть, и не Сократ,
ты, может быть, — ума палата.
А все ж с восхода по закат
цени объятия халата.
Сюртук все делает дела,
а фрак все ищет развлечений.
Халат живет вдали от зла
и — не страшась разоблачений.

Мундир и груб, и нагловат.
Поддевка вас продаст и купит.
Один халат, один халат
одеждам царским не уступит.
Ему и орден и к чему.
Его карманы не для денег.
Но никогда не верь тому,
кто говорит: халат — бездельник.

Халат — спаситель тех людей,
кто до пустейших дел нелаком.
Он покровитель тех идей,
какие и не снились фракам.
Хотел бы только одного:
прожить без почестей и злата,
не задевая никого
свободным рукавом халата.

«ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ» РОМАНС ЛЕШКИ-ГАРМОНИСТА (из спектакля «Гамбринус»)

Приходи ты с головкой кудрявою —
обойму твой девический стан,
и пойдешь ты таврической павою,
в темный локон продевши

тюльпан.
Я продам свою графскую горницу,
всю-то мебель снесу на торги —
за рояль посажу мою горлицу:
пусть играет в четыре руки.

В твоем платьице светло-
меланжевом
всем князьям отдадим мы визит
и хозяевам сделаем «наше вам!»,
как бонтоном нам сыздетства велит.
И в наряде своей фортепьяновой
ты, за княжеский сев фортепьян,
будешь петь нам
про амбр тюльпановый,
в темный локон продевши тюльпан.

ВАЛЬС МАДЛЕНА И ДЮРУА

(из спектакля
«Милый друг»)

Итак, начнем... Алжир —
весь город белый,
но тем черней казалась пара глаз,
когда простой зуав рукою смелой
чадры ее коснулся в первый раз.
В пылу она его звала куда-то,
звала в Эдем, прижав к своей груди...
Но — чу!.. Труба трубит,
и долг солдата —
в дорогу... Продолжение впереди.

Наш полк пришел в Саид:
жара и скалы.
И взор одной испанки огневой.
И в ночь любви гиены и шакалы
кричат, кричат над нашей головой.
Но — чу!.. Трубит труба.

Любовь — обуза.
Опять азарт племен зажгли вожжи.
Опять зовет каприз,
и долг француза —
в дорогу... Продолжение впереди.

ХОР ПАРЛАМЕНТАРИЕВ (из спектакля «Геркулес и Авгиевы конюшни»)

— Пусть специальная
комиссия решит,
чем нам грозит
очистка края от навоза.

— Не потеряет ли народ
последний стыд?

— И не возникнет ли
военная угроза?

— Не оскудеет ли
впоследствии скотом?

— Не подорвем ли
экономику жестоко?

— Не разорим ли мы богатых?

— И потом,
не подтолкнем ли женщин
на стезю порока?

Родимые кучи от нас ушлывут —
подумать нельзя о подобном!
Наш древний уют,
наш навозный уют —

Он будет нещадно подорван...
— Нет, это выдумка

бесплодного ума:
родимый край и без дерьма —

мороз по коже!
— Нет в мире подлинной свободы

без дерьма!
— Нет настоящего искусства

без него же!
— Где нет навоза,

там и армии конец!
Где нет навоза — там беда

и с просвещением!
Где нет навоза — жизни нет! —

И наконец
где нет навоза — там свобода

извращениям!
Родимые кучи от нас ушлывут —

подумать нельзя о подобном!
Наш древний уют,

наш навозный уют —
он будет нещадно подорван...

КВАРТЕТ «НАПОЛЕОНОВ» (из пьесы Ю. Ряшенцева «Папский мускат»)

Пора прекратить болтовню
о равенстве мыши с котом.

Пора задушить на корню
идею о братстве святом.

Мы смотрим за Францией в оба,
еще не перечая речам.

Мы сами — из тех,
кто встает хоть из гроба
в двенадцать часов по ночам.

Лишь армию стоит беречь,
что с прочими — нам все равно.
И порох готов, и картечь,
и хлеб, и фураж, и вино.

Откроет дорогу утроба
к солдатским сердцам и плечам
во славу всех тех,
кто встает хоть из гроба
в двенадцать часов по ночам!

Когда возмущенный народ
проявит свой потенциал,
упавшую плетть подберет
какой-нибудь провинциал:

во взгляде — высокая проба,
приказ молодым трубачам.
Мы сами — из тех,
кто встает хоть из гроба
в двенадцать часов по ночам.

Фортуна, в твоём колесе —
обломки версальских куртин...
Да, к власти-то рвемся мы все,
а власти добьется один.

Пусть мучит и ревность, и злоба,
но скажем, идя к палачам:
он — лучший из нас,
кто встает хоть из гроба
в двенадцать часов по ночам.
В двенадцать часов по ночам!

ПРОЩАЛЬНАЯ АРИЯ ОСТАПА

(к пьесе Ю. Гусмана
и М. Розовского
«Миф об Остапе Бендере»)

Я чужд цинизма с детских лет
и пусть уйду без слез,
но шлю последний свой привет
земле, где жил и рос.

Я все отдам, чего достиг,
но — вздор, к чему обман:
твой план так мощен и велик,
что в мой не входит план.

Адье, великая страна.
Пора, прощай-прости...
Моя, твоя ли то вина,
но нам не по пути!

Тебе милы и стар, и юн,
но я тебе не мил,
ведь я и в детстве был шалуном
и не любил зубрил.
Не ужились, — и не впервой
при разнице манер! —
рабочий твой, крестьянин твой
и твой миллионер!

Адье, великая страна...
Пора, прощай-прости...
Моя, твоя ли то вина,
но нам не по пути!

Пора! Прими теперь поклон
от сына своего.

Тебе я должен миллион,
а ты мне — ничего.

Ты равнодушна к сыну, мать,
хоть я — не из волчат.

Как мне там будет не хватать
твоих наивных чад!

Адье, великая страна.
Пора, прощай-прости...
Моя, твоя ли то вина,
но нам не по пути!



Михаил
ДУДИН

☆☆☆

Осталось жизни мало,
И Жизнь идет не так.
О чем душа молчала,
О чем душа кричала,
Нельзя начать сначала
Последней из атак.

Пред совестью пехоты
Ты смертной честью чист,
На взорванные дзоты
Летишь, не помня, кто ты,
А впереди — комроты,
И сзади — особист.

И бесполезна жалость
Бессмысленных потерь.
Как много нам досталось!
Как мало нас осталось!
И с жизнью эта малость
Прощается теперь.

Мы ничего не просим
И не дрожим, как лист.
Нас с древа жизни осень,
Как листья, рвет и косит.
...А славу мертвых носит
Бессмертный особист.

☆☆☆

Опять в утешение мира
Судьбы на случайном пиру
Печальные дети Шекспира
Свою затевают игру.

Судьбу подчиняя размеру,
Высокие мысли парят.
Два сердца в угоду партеру
На сцене старинной горят.

У жизни замученной с краю
Смотрю, теснотой хороним:
Два Ангела страстью играют,
И Дьявол суфлирует им.

Любовь помогает измене
На грани души и ума.
Два сердца сгорают на сцене,
И в жизни спускается тьма.

☆☆☆

А город мой опять попал в беду,
Под власть какой-то сатанинской воли.
Я, спотыкаясь, по нему бреду,
Как по следам незабытой боли.

Я узнаю печальные места
Былых времен и памятных событий,
Надежно погребенных без креста,
Ненужных больше в современном быте.

Я окружен молчанием могил
Однополчан, не знавших отступленья,
Стоявших насмерть из последних сил
На рубежах, утративших значенье.

Я как бы ненароком в новый век
Из прошлых лет продрался в непролазе,
А в новом веке новый человек
Моей судьбе отказывает в связи.

А в новом веке новая беда
Нас по блокадной разнарядке кормит.
...Журчит под снегом юная вода,
И старые оттаивают корни.

☆☆☆

Вода воскресает из снега,
И в снег переходит вода.
Как жизнь от плода до побега
И — через побег — до плода.

Бежит, торопясь от истока
До звонкого устья ручья,

Раздариваясь жестоко,
Доступная всем и ничья.

И где-то в седом океане
Блаженных тропических мест,
Клубясь облаками в тумане,
Возносится на Эверест.

И в солища сиянии алом
С немислимой той высоты
Грохочет по скалам обвалом
В пучину земной суеты.

И через заманчивый пояс,
Из плена тропических нег,
За жизни судьбу беспокоясь,
Пускается в новый побег.

И, как сумасшедшая, гонит
Своих белогривых коней.
И мысль человека
погоней
Торопится следом за ней.

Март 1991

☆☆☆

Дни — злы и суматошны. Ночи — жутки.
И каждый верен собственной судьбе.
На Невском финнов ловят проститутки,
А проститутки ловит КГБ.

И жизнь сама не делится на части.
Голодные не верят в недород.
Власть ищет власть для удержанья власти
И хитрецов — удерживать народ.

Все связано. У всех одна потреба.
Одна необходимость по нутру.
Доволен нищий даже коркой хлеба.
А жулик дегустирует икру.

Власть мечется. Народ неукоряем.
И в выборе дороги — прихотлив.
Он снова Веру обозначит раем
И обойдется без альтернатив.

Он с этой Верой в будущее счастлив,
Очистив душу, переступит страх.
...Все в этом мире держится на власти,
А жизни суть — стоит на мастерах.

☆☆☆

Б.Ф.С.

Кругом не видно берегов,
И нет друзей, и нет врагов.
От Ада к Раю
Ты в одиночестве плывешь
С запасом правды через ложь
Двух бездн по краю.

От ненависти и любви,
От мира крови на крови,
От старой фальши,
Плывешь куда-то в никуда,
Туда, где горе не беда,
А может, дальше?

Преображеньям нет конца,
И нет у совести лица,
У горя — меры.
Но у тебя в запасе есть
Твоей судьбы солдатской честь
И радость веры.

Верь свято мужеству потерь
И в вечность будущего двери
Душой разъятой.
Будь радостью последней рад
Встречать вскипающий раскат
Волны девятой.

г. Санкт-Петербург

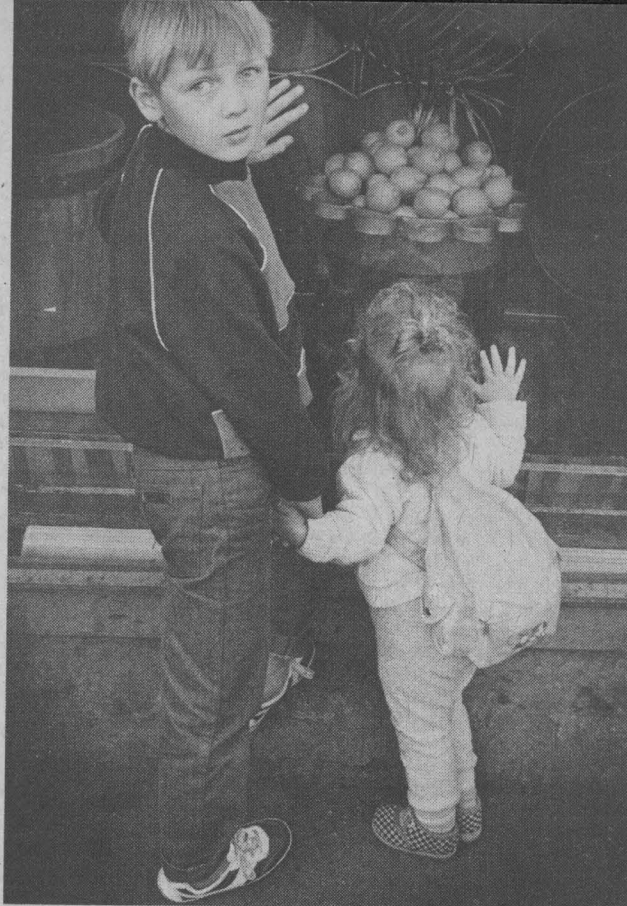


Фото Феликса Титова

Журнал в журнале. № 10.

СПЕЦВЫПУСК: *Этиастры! Этиастры! Этиастры!*

Мне снился сон. За мною бежала собака Алиса и, кусая за пятки, гавкала: «Удачи вам, господа!» Герман Стерлигов, ироничностью и очками напоминая Дениса Горелова из «Московского комсомольца», блестел стеклышками этих очков, распевая: «Если вам не по карману вставить новую систему, мы вам старую наладим за приемлемую цену...» Хотя это была не его ария и не его опера. Кстати, опер стоял здесь же, мрачно начиная свой день со свежего коммерсанта. Нет — «Коммерсантъ-а». Потом все смешалось, и запомнила я только пароль: «МММ?», отзвывая: «Нет проблем!» Бизнесмен живет этажом выше...

Это правда и уже не сон. Бизнесмен Вася живет этажом выше меня. Как я отношусь к бизнесу? Как я отношусь к Васе? К Васе — по-соседски, нормально. К бизнесу...

Закончив спецшколу с испанским языком, я на старости лет решила выучить и английский, и настольной книгой для меня стал «Англо-русский словарь» (М., 89.), купленный в «Прогрессе» еще за 7 руб. 50 коп. Когда в «20-тке» решили февральский выпуск посвятить проблемам бизнеса, я первым делом полезла в любимый фолиант, чтобы определить тему беседы. Итак, «*business*» — это: «1) дело, занятие; 2) профессия; 3) бизнес, коммерческая деятельность; 6) обязанность, право...».

Словарь поставил наши с Васей этажи на один уровень, так как

Спич



у меня есть и дело, и занятие, и профессия, а уж обязанностей более чем. Заминка с правами, но это и Васю донимает. А кроме того, у меня, как и у Васи (и Германа Стерлигова с семьей), есть собака!..

Если же говорить более серьезно, то я, конечно, всячески «за». Мне нравится, когда у человека есть Дело и Профессия, поскольку дилетантизм и всеобщая безответственность удручают. Можно профессионально печь пирожки — тогда они «по-честному» с мясом, капустой или яблоками

и вкусные, а можно кое-как из черт знает чего — тогда все плюются и презрительно говорят: «Кооператоры!..» Можно профессионально продавать компьютеры или делать научные разработки, а можно — нет. Это так ясно, но почему-то труднодостижимо для наших людей...

Возвращаясь к словарю, все мы могли БЫ называться бизнесменами и вуменами, если бы дорожили своим именем, честью профессии или «фирмы» и гордились бы развитием СВОЕГО дела. И в этом коротеньком слове — «своего» — то, что отличает пока меня и вас от Васи. У него есть что-то свое, а у нас все — начиная от квартиры (не дома, какие уж у нас дома) и заканчивая работой — государственное. Образование и еда, одежда и способ жить — все государственное. Вася отвечает за то, что он делает своим благополучием, именем и т. д. Мы — нет, как бы государство отвечает за нас, но, как запинаяющийся троечник, всегда (до сих пор по крайней мере) несет что-то не то. Поэтому мы так и живем, зато ни за что не отвечаем. Завидуя Васиным деньгам, не спеша брать на себя такую же ответственность, за которую он и получает свои деньги. И, присоединяясь к Алисе, которая была в стране чудес (не путать с Полем!), и той, которая зевает на экране ТВ, я говорю: «Удачи вам!» Но все остальное зависит только от вас.

Вероника МАРЧЕНКО

Юрий ГОРСКИЙ



Привычная эпохальность мышления играла с нами злую шутку, заставляя принимать действительно грандиозные изменения за не вполне уместные случайности, а очередные скачки очередных лидеров — за «этапы большого пути». Но сегодня, когда флер романтических грез о перестройке, демократизации и прочих вариантах светлого будущего развеялся наконец окончательно, стало ясно, что мы вступили в действительно новую, не изведенную еще нашим поколением эпоху — эпоху оживающих анекдотов.

Да, «собачатина седьмой категории, вместе с будкой», как и сказка о солдате, варившем кашу из топора, все еще не воспринимаются как цитаты из кулинарной книги. Но просьба завернуть «двести граммов еды», на которую бравый продавец отвечал «принесите — завернем», стала бытом.

Для 80 процентов населения задача выживания стоит прежде всего в грубо физическом аспекте: где найти еду на послезавтра, как добыть лекарства, чтобы не умереть от простуды, вульгарис, во что одеть детей и как залатать собственную расплозающуюся одежду. Говорят, 20 процентов нашего населения богато либо просто неплохо обеспечено! — это прекрасно. Но я не завидую им.

Богатые люди были любимыми героями великого американского писателя Фицджеральда. Его привлекало, что они свободны от повседневных забот и от борьбы за существование и могут позволить себе заниматься совершенствованием собственной личности. Его герои так иной раз и поступали, но у них мало что получалось. Окружающий мир, наполненный горечью и отчаянием, грубо вторгался в их талантливый, маленький и уютный мирок, наваливался на него всем своим неблагополучием и — разрушал. «Неблагополучие» тогдашней Америки не идет ни в какое сравнение с нашим сегодняшним и тем более завтрашним неблагополучием — и я не завидую нынешним богачам: им не отгородиться от нищих.

Великий ужас и великое отчаяние дадут нам плеяду прекрасных деятелей искусства, которое одно способно спасти от сумасшествия. Оно всегда приходит на помощь, манит призраком гармонии и удерживает общество от катастрофы. Когда все рушится — открываются молчаливые или лгавшие рты калек, и слово, холст и музыка возвращают смысл рукам и железу. Но я не завидую гениям грядущего, волочащим ноги

по нашим заснеженным улицам: чтобы сердце светило, оно должно разорваться.

Но жизнь продолжается, потому что у нее нет другого выбора. И выжить физически — это ничтожно мало.

Это ничтожно мало, потому что нет ничего страшнее, чем, выжив, превратиться в «говорящее оружие» того или иного пролетариата. Мы помним, как это бывает, — последние бульжники предыдущей страшной эпохи еще учат нас уму-разуму.

Выживание имеет смысл для самого человека, а не для его биологического вида, когда, помимо исторически принадлежащего ему тела, он сохраняет и то остальное, что именует «собой». Свой строй мыслей, как бы несовершенен он ни был. Свои привычки и чувства. Свой характер. Свою ненависть.

Достоинство, которое великий и горький человек назвал когда-то «способностью радоваться нежности». Свою личность.

Счастливы те, кому не надо ломать себя, чтобы приспособиться, даже если их негнущиеся тени сохраняются потом лишь в развалинах Помпей и Хиросим.

Счастливы те, кто доживает и может позволить себе роскошь не понимать и не принимать лоящегося к ним в двери нового мира.

Счастливы те, кто не застал предыдущей жизни, кто по малости или по увечью уже никогда не вспомнит о сытости, те, кто, может быть, еще спросит старших о смысле старинных и невероятных слов.

«Поколение 90-х!» Как гордо звучат эти слова и как горд за себя каждый, кто уже сумел выжить. Мы помним, как прекрасен был этот мир, и мы помним, как мы отдали его, как по незнанию, бессилию и восторженности — и по равнодушию, конечно, — позволили и помогли превратить его черт знает во что. «Свобода приходит наяву» — она пришла. И теперь пришло время искать одежду.

И мы больше не отдадим ни пяди своей жизни ни великим идеям, ни великим делам, потому что мы уже отдали им весь этот мир, который один короткий миг принадлежал нам — и никому больше.

И теперь нам предстоит восстановить его — в отдельно приватизированных квартирах, потому что то, что можно было сделать на площадях, уже сделано. И нам предстоит сделать то, чего не удавалось изнеженным героям Фицджеральда, — защитить благополучие построенного нами мира. Зовите себя советскими, или «совками», как вам будет угодно, но нас учили в школе, которой не было и никогда больше не будет в этом мире, — и мы справимся.

Только не надо гордиться.

Только не надо всерьез говорить слова о «совершенствовании», о развитии личности и общественном прогрессе — и не только потому, что они еще не забыты.

Все, что мы делаем сегодня, — это борьба за существование, борьба за

выживание, кажущееся нам достойным, и не больше того.

Когда-то мы любили поговорить о самостоятельности, ответственности и инициативе. Так, рыбы, играя, выпрыгивают над поверхностью воды, но им незачем отраивать легкие и выходить на сушу, пока их водоем не высох, — так и мы ограничивались игрой в приятные слова, пока на наших глазах не высох наш водоем. И мы оказались на мели, задыхаясь и жадно хватая ртом незнакомый нам горький воздух. И Бог его знает, сколько еще времени угрожим мы на тоску по утраченным плавникам и иллюзиям.

Мы беремся за дело. Мы изменяем себя и выволакиваем свое неуклюжее тело на сушу, где порхают и резвятся незнакомые нам создания. Мы научимся не хуже — мы молоды. Наши доходы скоро начнут опережать развал этой страны, и наши близкие не будут умирать в очередях и стариться в тридцать лет. Возможности есть — впервые за несколько поколений.

Но мы изменяем себя — и теряем при этом действительно многое. Энергия, направляемая раньше на совершенствование трепетной личности, пошла теперь в дело — и недоучки, и некультурные люди так такими и останутся, потому что пока еще это почти не мешает бизнесу.

О, «совковый» бизнес! — сколько анекдотов останется на твоём пути! И как же ты будешь хвастаться и бить себя в грудь, когда твоя страна наконец научится использовать тебя во благо, а не во вред себе!

Но всё гораздо проще: мы выживаем. Без бизнеса, без предпринимательства молодежи уже не прожить: он кормит и поит, как некогда кормило и поило государство и ставшие теперь беспомощными родители.

И — учит.

Учит, как сохранить и создать единственное произведение искусства, доступное любому человеку, — собственную личность, собственную жизнь. Что скрывать, учит совсем по-другому, чем привыкли учить в нашей стране.

Но «школа жизни» не бывает «хорошей» или «плохой»: когда она есть, этого достаточно. «Всеобщее среднее» нам обеспечено, а университеты еще не стоят на повестке дня.

Давайте отбросим ветхозаветную тоску по эпосу и былинам. Мы персонажи анекдота — иногда кровавого и трагического, но ведь смеяться все-таки легче, чем плакать. И мы идем и идем по пустынным дорогам нашей просторной родины: одни ищут сто тысяч рублей, другие вагон мармелада, и где-то бредет между ними тот парень, который все-таки отыщет истину...

ПОПРАВКА

При публикации страниц дневника княгини Екатерины Сайн-Витгенштейн «Мы выросли, любя Россию» в № 12 за 1991 год была ошибочно опущена следующая сноска:

© — By the Russian Social Fund for Persecuted Persons and their Families.

Как делается БИРЖА

Все так же гордится плодородием камень, водят хоровод пятнадцать республик, сахарно улыбаясь сквозь струи воды, все так же держатся за свои орудия работы и крестьянка — не падают. Стоит ВДНХ, еще не ставшая памятником, уже никому не интересная, как предмет насмешек. И растерянные, заброшенные аллегории нашего прошлого застыли в ожидании: что же теперь будет? А на фоне этой социалистической декорации в павильонах и помещениях выставки бурно зарождается наше капиталистическое будущее. Именно здесь, в столь подходящем для нее месте, родилась недавно еще одна биржа — Международная биржа наукоемких и информационных технологий.

Рождение биржи — явление, конечно, любопытное, но не редкое — по количеству бирж мы уже давно догнали и перегнали... При нашей слабой рыночной структуре это неудивительно: биржи и торговые дома плодятся и размножаются, налаживая «горизонтальные связи». Но та биржа, о которой идет речь, взялась за торговлю весьма специфическим товаром — интеллектуальной собственностью, научными разработками, изобретениями.

— Технология — это единственный товар, в котором есть сейчас потребность в стране, — таким неожиданным заявлением начал наш разговор президент биржи Андрей Шмаков. — На бирже существует три секции: технологическая, товарная и фондовая. На технологической идет торговля научными разработками и изобретениями, на товарной — продажа продукции высокой технологии. Фондовая секция — это акции нашей биржи, аукционы, акционерные общества. Здесь будет осуществляться не только продажа: например, можно состыковать пустой завод и технологическую линию, которую некуда поставить. Мы их сводим вместе и акции создающегося акционерного общества реализуем через нашу биржу.

— И вы считаете, что такой рынок реально существует сегодня, при нашем нынешнем развале, и может приносить реальный доход?

— Во-первых, в такой ситуации он необходим. Мы получили поддержку Совмина России. Во-вторых, о перспективах можно судить хотя бы по подписке на акции: мы начинали с уставного фонда в два миллиона рублей, а к концу подписной кампании планируем собрать двести пятьдесят миллионов. Причем наши акционеры — академические институ-

ты, НПО, оборонные заводы, коммерческие структуры — способны не только платить деньги, но обладают либо производственными мощностями, либо технологиями для нашего рынка.

— Мы создаем сейчас целый комплекс: Инвестиционный банк, Всероссийский центр технологий, — вступает в разговор Павел Эльбурих, гендиректор биржи. — Если биржа — это рынок, то Центр технологий — инвестиционная компания. В ее задачи входит отбор перспективных разработок, доведение их до конечного вида либо до внедрения. Здесь будет работать несколько групп экспертов, чтобы верно оценить качество и перспективность технологий. Центр задуман как холдинговая компания и будет вкладывать деньги под дальнейшие разработки, может, даже убыточные.

Экономика наша расшатана, экономическая цепочка рвется, и большая дыра зияет на том месте, где должна быть связь разработчиков с реальной экономикой. Одним из этих потерянных звеньев становится Биржа технологий.

Кто же они, люди, взявшиеся решать такие проблемы? Среди учредителей Международной биржи технологий мы видим точную пропорцию: два НПО — «Луч» и «Композит» — представители военно-промышленного комплекса — министерств общего машиностроения и энергетики и атомного машиностроения (бывший Средмаш) — и два малых предприятия — «Альба» и «Асцендент», представители отечественного бизнеса.

Международная биржа, торговля технологиями — в том числе и на Запад — и бывшие «ящики». Парадокс? Отнюдь. Мощные наукоемкие «акулы», окруженные забором и проходной, всегда финансировались лучше других «контор». Это реальный экономический потенциал, многие годы накачивавшийся деньгами, техникой, кадрами.

— А как будет выглядеть торговля с Западом? — спрашиваю я у Эльбуриха. — Не скупят ли они все наши изобретения и секреты?

— Все не скупят. Им просто не нужно. По крайней мере те технологии, в которых сейчас нуждаемся мы, у них давно есть. Что же касается «конвертируемых» технологий, продавец имеет право оговорить условия: хочет ли он, чтобы его разработка осталась в стране, или наоборот. «Фирмачам» выгоднее наладить производство здесь и вывозить готовую продукцию. А насчет секретов... Положим, если кто-то захочет продать через нашу биржу двадцать новейших «сверхплановых» танков, то он должен представить разрешение Совмина, Министерства обороны.

...Люди, поспевшие как раз вовремя родиться, чтоб повзрослеть к открытию клапана. Позади — отсутствие перспектив, начало научной карьеры в КБ и в «ящиках», попытки уйти от «совковой» реальности в леса с рюкзаком и гитарой.

Самое интересное в каждом поколении — как оно взро-
стает.

МОНОЛОГ на обочине

Это я стою на обочине. Точнее, на тротуаре. В центре Москвы. У Никитских ворот. В ожидании троллейбуса. В отсутствии машины. Когда автомобильный поток замирает у светофора, невесть откуда высыпает орава мальчишек и с липовой старательностью (и с бешеной скоростью) протирает ветровые стекла лимузинов. Не знаю, за чистоту или за услужливость, но расплавляются с пацанами червонцами.

Видимо, жанровая эта сцена наступает на какие-то существенные и болезненные мозоли нашего и без того не пышущего здоровьем отечества, ибо разные органы независимой прессы (не стовариваясь) решают один вопрос: как к этому отнестись?

Прекрасно! Вот они, будущие наши Форды и Джералы Электрики! — утверждают одни американскую клюкву на российской почве. Ужасно! Постыдно! До чего дошли... — страдают профессионалы-плакальщики.

А мне-то как отнестись к этим пацанам, зарабатывающим в день, кстати, поболее меня?

Да никак. Хотят — протирают. Лишь бы никто из шоферов не задавил их с крутой похмелью. Но, ох, как трудно дается это н и к а к, таких хочется прибиться к ДА или к НЕТ...

А ну если столь же спокойно отнестись к сегодняшнему сообщению «Вестей» о трех предприимчивых мальчишках, организовавших фэн-клуб какого-то распавшегося рок-ансамбля (вступительный взнос — 1000 рублей). Сколько найдут лопухов — все их...

Да, кстати, когда я выступал в выпускном классе школы в Штатах, в одном из самых престижных районов небедной в целом Атланты, попросил поднять руки, кто подрабатывает после школы, — все руки подняли, кроме, кажется, двоих. Отчего ж отказывать нашим отрокам и отроковицам (то бишь тинейджерам) в их праве на свой маленький бизнес?

В доисторические времена (лет 10—15 назад) на все допускался один ответ. Большим завоеванием отпели считались дискуссии типа: что б ты взял с собой в космос? — об этом вспоминает Пьецух в одном из своих роскошных трепов, которые он называет то повестями, то романами. Выбирать тогда предлагалось между двумя объектами — веткой сирени и томиком стихов Евтушенко... Увы, и по сей день отвечать на любой вопрос ДА или НЕТ кажется нам свободой, хотя при этом многомерное пространство жизни жульнически подменяется магнитиком с двумя по-

люсами: + или -?

Родина или смерть?

Чет или нечет?

Быть или не быть?

Ты за веревку или за канат?

Ты за большевиков

или за коммунистов?

Только не надо думать, что такое давление на психику — это сугубо наши дела. Когда чуть не каждый вечер по несколько раз сообщается, что **НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ ПЕПСИ**, протестует природное вольнолюбие, но максимум, что хочется крикнуть:

— Нет, я люблю КОКУ!

Но даже если квас или зубровку, почему не фарцовку? Не тусовку? Почему не конституцию? Не сэврюгу с хреном?

Кстати, в детском этом приколе про веревку и канат предлагались советская винтовка и фашистский автомат или же, наоборот, фашистская винтовка и советский автомат (в зависимости от ответа). Нынче же, когда бывшие антонимы «советский» и «фашистский» оборачиваются едва ли не синонимами, не так важно, куда идти — в рокеры или в брокеры, главное — не толпой, не по комсомольской путевке...

Главное — начертать в конце на могильном камне **МИР ЛОВИЛ МЕНЯ, НО НЕ ПОЙМАЛ**, как Григорий Сковорода, гордость иностранного государства Украина.

Умру, быть может, так и не узнав, что же это такое брокер, так и не поборовшись за брокерское место под солнцем, не победив, задрав штаны, за комсомо... пардон, в бизнес-клуб. Галстук носить не могу. Душит... Ну да это мой трудности. А кто ж поможет «юноше, обдумывающему житье»?

«Наша школа — самая романтичная в мире. Откуда берутся деньги, откуда берутся дети — мы избегаем этих вопросов...» — писал я в «Юности» лет десять назад. И накаркал. Теперь все те же учителя — не избегают. И бизнесу учат, в коем сами — ни уха ни рыла, и этике, и психологии семейной жизни... Уж лучше б осталось, как было, — все больше про тычинки и тачанки.

Так что, молодые люди, рубящие фишку, с ходу вычисляющие курс доллара к рублю, кто вам поможет? Кто вас научит?

Разве что Володя Друк, утверждающий:

**ЛИШЬ ПОЛУЧАЯ
В ДЕНЬ ПО ТЫЩЕ,
СТАНОВИШЬСЯ ДОБРЕЙ И ЧИЩЕ...**

Да и то, как мы с ним недавно пришли к выводу, при либерализации цен придется коррективы вносить — не по тыще, а

по две тыщи, по три тыщи потом — в час по тыще и т.д.

Так, может, при бешеной инфляции уже пора со всем таким заявлять, вернуться к этим, как их там, вечным, непреходящим ценностям?

Чтоб не продешевить, а?

My business

Наташа
ДУБРОВСКАЯ

**ЯРКИЕ
и ЗЛЫЕ**

Уже месяц, как я уехала из Москвы в бывший немецкий город Кенигсберг. Уже месяц я пытаюсь делать на творчестве бизнес. Я решила сбежать из своего города в надежде как-то сконцентрировать то вещество, из которого состою я. А человек, уходящий из родных стен, собственноручно выщипывает крылья своему ангелу-хранителю. Я одна, один на один со своим творчеством и со своей свободной экономической зоной. Что в плюс, так это пустая квартира, бардак и кучи бумаг, журналов, кистей, красок и цветы в трехлитровой банке, то, что здесь можно найти нужные мне для работы материалы. Труднее вписывать то состояние, которое приходит от уцелевших немецких готических развалин и черепичных крыш, в стиль коллекции, вещей от модерна; она, коллекция, все-таки еще похожа на старомосков-



ские улочки. Но я уже уехала, буду жить здесь, здесь Начало.

Все, что я умею, — это придумывать. Я живу в мире иллюзий и всеми своими штучками не пускаю бытность близко. Мой мир — это мир кукольных мужчин и женщин, закрученных усов и скользящих подолов платьев. И счастье, что в этом я не одна, у меня есть еще девицы, не похожие ни на кого в мире. Мы в одной спайке. Мы вместе болеем ностальгией серебряного века.

Начиналось все достаточно весело и светло. Вся группа первого курса модельеров подобралась из странных людей. Каждый по-своему странный, и вкупе мы были яркие и злые. Каждый уже читал свои умные книжки. Мы быстро поверили в свое имя «носителей культуры», и каждый нес свою.

Потом началась общая тусовка,

Катя КРАВЧЕНКО

**КОСТЯ
+
АЛЕКСЕЙ**

Новое поколение выбирает бизнес. Уже появились солидные предприниматели 16—17 лет от роду. Все только и грезят о биржах, брокерах и тому подобном. Все ли?.. Так ли все однозначно?

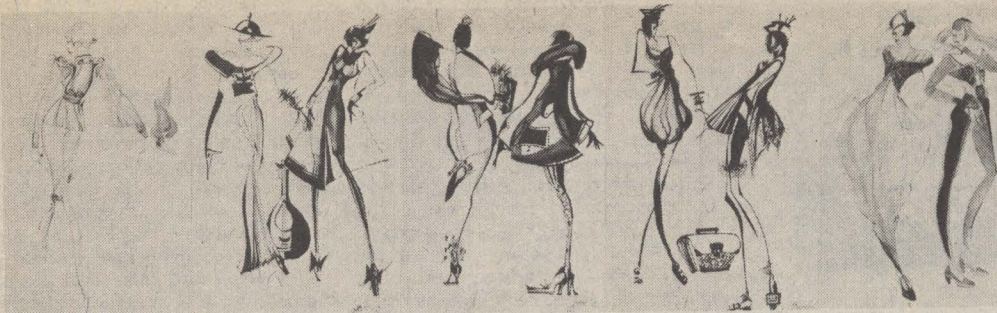
— В армии я обо всем этом не думал, — говорит Костя, он вернулся из доблестных рядов совсем недавно. — Я думал, придя домой, буду получать хотя бы 100 рублей в месяц и буду жить белым человеком. А тут!.. Просто шок. Я понимаю, что жить так, как я жил до армии, у меня уже не получится. Тогда были другие цены, другие люди и нормы поведения тоже другие. Теперь все пытаются друг друга обмануть, любыми путями сделать деньги. Можно, конечно, подчиниться царящим нравам, включиться во всеобщую предпринимательскую гонку, но ведь это самое

настоящее подчинение, как в армии. Кстати, еще там я слышал, что Артем Тарасов продает что-то государству, купленное на государственные же деньги. Я этого не понимаю. И не хочу понимать. Это называется спекуляцией. Или перепродажа по более высокой цене и называется бизнесом?

Я не верю, что в Нижнем Новгороде человек в 19 лет смог честно заработать несколько миллионов. Пусть он даже гений будет. Не может быть такого. Я не против хорошей жизни и больших денег. Я хочу работать, но честно. И получать от своей работы и материальное, и моральное удовлетворение, что тоже немаловажно. Не хочу, чтобы моя совесть была чем-то замарана. А шальные деньги, к тому же большие, развращают. Тем более в столь юном возрасте.

Заниматься предпринимательством я не смогу. Нет у меня к этому ни тяги, ни таланта. Склад ума другой. А жить, разумеется, хочется не хуже этих новоявленных бизнесменов.

За последний год в армии большинство ребят просто отвыкают работать. Не делая ничего руками и не особенно думая головой, солдат знает, что без еды его все равно не оставят и на улице спать не дадут. Потом он приходит на гражданку, и вставать к станку ему уже не хочется. Проще пойти, например, в брокеры и снимать бешеные проценты с контор. Или просто спекулировать на продаже ширпотреба. Сейчас появилось очень много молодых людей, целая прослойка, что ли, которые, не



и четыре года нас промаскарадила гонка за новыми идеями и натягиванием первых вещей первым делом на себя. Каждый новый день несет новый настрой, а значит, новое лицо, новый имидж и вид. Сегодня ты жасминно-томная, а завтра тебя тряхнет в джинсы и свитер.

Когда раньше зреет тело, чем душа, девочка просто становится — дурного поведения. У нас случилось обратное. Душа большая и умная, а лица детские и глаза наивные. Из-за этого сегодня в детях стареют художественные женщины. Что у нас есть, это как отрыв от земли, наши рисунки и вещи. Мы выросли на дружбе с носителями алкогольности и жизненного опыта — рок-музыкантами, на редких и тонких ценителях искусств, которых мы выискивали и нежно передавали друг другу, на великолепной школе педагогов по

живописи и на редчайших идиотах, на которых нам так везло. Мы как будто ловили их на себя. Иногда стена самодостаточности прорывалась, и за Ирккой, идущей в метро, величественной и томной, в немыслимой шляпе, гонится мужик, срывает шляпу и, брызгая слюной во все стороны, начинает ее топтать. Такая нетерпимость наших сограждан встречалась часто. Не все в «совке» любят красивое.

Вчетвером мы ездили с музыкальной тусовкой в Ленинград. Это было счастливейшее время! Накануне я сшила голифе на ватине, мы были все в черном, нами гордились, и нас опекали «манговцы» (группа «Манго-Манго»). Обратный поезд был сплошь музыкальный, мы же — кто под контрабасом, кто по билету контрабаса, а вечером покойному солисту «Твистеров», — мы пели Вертин-

ского. Попробовал бы кто-нибудь сегодня загнать шикарных Миню с Юлькой под лавку в поезде. И всюду было с нами желание и невозможность работать: без денег, помещення, материалов хорошего качества.

А сегодня капает день за днем, и мы уже давно остепенились: в мыслях, лицах и одежде. И сегодня уже есть деньги на первую коллекцию, коммерческий директор и коммерческий настрой. Та жизнь, цветная и штопаная, была набиранием фишечек. Теперь с таким багажом мы можем спокойно вздохнуть и начать делать дело наших кружев и шелков. Есть театр мод «ЯРКИЕ И ЗЛЫЕ».

И я знаю, что мы найдем тех дам, которые смогут носить наш бархат.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН «ЯРКИХ И ЗЛЫХ»: 163-68-08.

зная и не умея ничего, только на это и живут.

Но ведь если вся страна будет заниматься предпринимательством, то кто будет заниматься физическим трудом? А интеллектуальным? Ведь так мозги закиснут. Эта участь, мне кажется, ожидает почти все наше поколение. Все будут продавать и покупать, но думать и читать перестанут. На это у них уже времени не будет. Ведь уже сейчас больше ценится деловая хватка, а не умение мыслить неординарно.

...Я не хочу судить Костю за столь категоричное отношение к предпринимательству, тем более что он затронул только негативную сторону этого процесса. Опять убедилась, что не все так просто в этом мире. Банально, конечно, но факт. Теперь несколько иное мнение.

Он всегда улыбается, он подтянут и аккуратен. Всегда. Алексей, Российский брокерский дом.

— Бизнес — это моя работа, если не сказать больше. Это 3/4 моей жизни. Я занимаюсь этим потому, что мне это интересно. Даже не из-за денег, хотя это тоже важно. Заниматься бизнесом достаточно сложно, если подходить к этому вопросу серьезно. Надо много знать и разбираться на приличном уровне в экономике, политике, бухгалтерии и во многом другом. Всего и не перечислишь. Со стороны может показаться, что ничего архисложного в этом нет, но я-то знаю, что занятие бизнесом требует огромной самоотдачи и терпения.

А потом ты зависишь от своих начальников, партнеров и даже подчиненных. Ведь если у последних, к примеру, плохое настроение, они и работе будут уделять недостаточное внимание, и это тут же скажется на общем результате. Поэтому, помимо напряженной работы головой, надо сохранять и хорошее настроение, и терпимость к людям, с которыми работаешь. Целая дипломатия. Это, конечно, если хочешь действительно чего-то добиться «по-крупному».

Очень часто я сталкиваюсь с молодыми бизнесменами, которые сами плохо представляют себе, что такое бизнес. Удивительно, но это так. Это некая болезнь роста в экономике. Предприниматели разных уровней должны понять, что сначала все-таки надо учиться, а потом работать. И никак не наоборот. А если они сами этого не поймут, то жизнь заставит. Ведь во всем мире ценят только профессионалов. И когда эта волна стихийного дикого предпринимательства в нашей стране схлынет, а это должно случиться, то останутся только те, кто действительно разбирается в экономических вопросах и имеет солидную базу знаний, другому быть просто не может. Я в этом уверен.

А культура и искусство могут иметь место только в богатом обществе. Сначала надо подумать о себе, о своем благосостоянии и о благосостоянии своей семьи. Когда я зарабатываю достаточно денег, я начну оглядываться по сторонам и помогать

тем, кто нуждается в моей поддержке. Ведь нельзя же быть щедрым и нищим одновременно. Это просто смешно.

Я отдаю себе отчет в том, что сейчас идет поляризация общества, появляются «новые богатые». И я не вижу ничего дурного в том, что я хочу быть одним из них. Разве это плохо? Ведь всегда существовали и будут существовать бомжи и нищие. Это есть и у нас, и на Западе, дело в том, что эти люди не хотят работать по-настоящему, их устраивает такой образ жизни. Если они хотят так жить, это их дело. И уж совсем не мое...

Я очень люблю историю и мог бы, видимо, быть хорошим историком, но как-то я сел и подсчитал, что мне выгоднее. Что я мог бы иметь после окончания факультета. После этого я и решил серьезно заняться бизнесом. Не хочу, чтобы моя семья и мои будущие дети были нищими. По-моему, это вполне разумное желание. А историей я до сих пор занимаюсь, только отдаю этому меньше времени, чем бизнесу. Вот и все.

...Наверное, они правы оба. И Костя, только что вернувшийся из армии, и уже определившийся Алексей. Правы каждый по-своему, каждый в силу своего образа жизни и мыслей. И пусть каждый из них выбирает то, что ему ближе. Хочется только, чтобы между ними не было озлобленности. Ведь нам же жить вместе, в одном поколении и в одном времени. И стоять у истоков новой жизни и новых дел. Вместе.



Антон был рад встрече. Да и я тоже: хочешь не хочешь, само вспоминается счастливое, беззаботное детство, первые развеселые компании. После школы поступал на журфак, но отечественная журналистика понесла тяжелую утрату. Год он размышлял, а потом плюнул на вторую древнейшую и занялся бизнесом.

В принципе это пошло от его желания «независимо-прожиточного минимума», недалеко от максимума, хотелось элементарной самостоятельности. Не особо вникая, Антон по рекомендации знакомых устроился в кооператив, занимающийся «издательской деятельностью» (визитки и фирменные бланки), торговлей и еще неизвестно чем. Антон пристраивал его рекламу, вел дела с клиентами, а вскоре наступила полная ясность с «не противоречащими действующему законодательству» видами хитрой деятельности — ему открыто предложили заняться выколачиванием неустоек по заказу, благо физически обделен не был. «Команда была уже практически в сборе, и, что интересно, в нее с охотой шли два кандидата, причем не в мастера, а наук, из института физкультуры, и еще один доцент. От кооперативного рэкета я ушел — обошлось, к счастью, без проблем — и стал искать другую работу, потише».

Скажу сразу: Антон не самый типичный среди представителей нелегального бизнеса. В отличие от большинства он пришел туда из официального бизнеса и не занимается открыто-запрещенными (есть такая «внутренняя» градация) ее видами — оружием, наркотиками, крупными валютными операциями. Своей деятельностью Антон вредит разве что государству, с которым не хочет делиться самостоятельно и без его помощи заработанными деньгами в виде налога с чего-то там: «Я точно не знаю, чего они от меня могут хотеть, в этом лучше разбирается мой юрист, но только на коляку они и сотни не получат!»

Уйдя из кооператива, он попал в совместное предприятие, где занимался сначала изучением рынка, потом — рекламой. Кому-то чисто случайно помог заключить небольшой контракт, но быстро и недорого. «Директор был хороший психолог, — вспоминает Антон, — сказал, что ему нравится, как я работаю, и предложил попробоваться в чистой коммерции. Я согласился. А через месяц пришел к нему и сообщил, что ухажу. И чуть не уронил нижнюю челюсть, когда он спросил: в нелегальную, что ли, подаешься? Я-то уже

собрался рассказывать про большую бабушку. Шеф меня ничем страшить не стал, сказал только, что месяц меня никуда не отпустит, чтобы было время осмотреться, подумать. И добавил, что и сам этим когда-то занимался, но «поверь, в ладах с законом все же лучше».

Ровно через месяц Антон ушел из СП, заработав к тому времени на стороне сто сорок тысяч чистыми, без вычетов, декларирования и налогов. Нелегальная коммерция стала для него основной. От армии он освободился за взятку в военкомате, так что времени даром не терял.

За прошедшие шесть лет чего только не случилось: успехи и провалы, нападения и наезды, обещания и «кидания», угрозы и ограбления, неустойки за сорванные сделки и неожиданные удачи. Была последняя трещка в кармане застиранных джинсов и был кейс с аккуратно уложенными 80 тысячами долларов США. Сейчас Антону 23 года, он уже владеет тремя вполне официальными фирмами здесь, частично — одним СП и еще компаньон (50%) в двух иностранных фирмах. У него вид на жительство в Голландии и открытая виза в Австрию. В своей недвижимости он ориентируется гораздо хуже своего исполнительного директора: «Сколько дач под Москвой? Сейчас узнаем... Черт, нет его на месте. Но, точно, не больше десяти».

В подробностях описывать его быт нет никакой нужды, несмотря на его изобилие, достаточно сказать, что у него есть все, что можно купить, а то, чего нет, он может купить в любой момент, и пусть каждый себе представляет полную чашу в меру своей испорченности. Но это отнюдь не награбленное. Все — заработанное большей частью не по закону, вернее, при полном его игнорировании, но плоды его не самого легкого труда. И этого никак не отнять: в свои 23 он считается толковым и очень грамотным профессиональным коммерсантом. Он даже давал высокооплачиваемые консультации — теперь, правда, на это нет никакого времени, и совет могут получить только близкие друзья — бесплатно.

Почему я ушел тогда из своего неплохого СП? За месяц работы «свободным художником» я сделал 70 тысяч — и по нынешним временам не сто рублей, а пять-шесть лет назад? Причем сорок из них — вообще без напряжения, по телефону, исключительно на том, что знал информацию, которой не владели другие, и знал, кому она нужна. У меня уже были налаженные связи и надежные источники — это еще с работы в рекламе.

Посредничество такого рода — первое, с чего начинают нелегальные бизнесмены. Это как бы самое простое, первый этап, не требующий никаких затрат, то есть регистрации, крыши, — только информация. А информационный обмен наладить возможно и без начального капитала, на простых паритетных началах, хороших знакомствах и надежных связях. Мне, конечно, как и всем начинающим, сразу сказали, что из десяти

информаций одна бывает верной, а из ста сделок до переговоров доходят двадцать, заключаются пять, деньги без проблем получаются с одной. Я не то чтобы пропустил это мимо ушей, но и не воспринял всерьез. Решил: буду хорошо работать и получу много. И стал каждое начатое дело доводить до конца. Так что никакого секрета, собственно, у меня и не было.

Антон не особенно хорошо понимает тех своих знакомых, которые, поработав в нелегалке, ушли теперь в «чистый» бизнес, делают все по «закону» и якобы «все очень довольны». Он говорит, что не будет делиться с государством и работать по его законам, потому что оно изначально вообще душит всякую предприимчивость, не разрешает (или пытается по крайней мере) никому переплюнуть себя — притом, что само государство как коммерческая структура ничего из себя не представляет.

— Ты что, думал, если нелегальный бизнес, так и врать можно направо и налево? Ничего подобного. И если ты что-то пообещаешь и не сделаешь, тебя поставят на неустойку, на бабки и снимут их с тебя без помощи занудного арбитража. Нелегальный бизнес научил меня отвечать за каждое сказанное вслух слово, ничего не обещать за других и не болтать, когда не уверен. Еще была клевая афера, это класс, сейчас расскажу. Теперь-то уже можно, больше, как говорится, не будем. Афера была в Голландией, хоть я и не уверен в том, что это конечная точка. Но дело мы имели с голландцами. Очень им медь была нужна. Мы договорились с металлургическим комбинатом, денег всем там дали, знаю, что и рабочим там перепало в виде какой-то там премии. Так вот на комбинате выплавляли нам из меди товары народного потребления: молотки, ломы, кувалды, щипцы, ножницы садовые. А еще — совки! Это богатство отправляли в несколько партий, но в адрес одной фирмы. Таможня меня до сих пор поражает своей тупостью: ну даже вопроса не возникло, зачем это каждому голландцу по пять молотков да десять ножниц? Ну, справочник «Страны мира» открыли бы, что ли, посмотрели, где сколько людей живет, ну, озадачились бы, ну, черт же возьми, легко так пропустили, мы и не платили никому ничего. Голландские партнеры остались очень довольны, потом еще давали заказы на сталь и чугуны — мы снова тем же макарон делом прокрутили. А они там от химанализа чутунных совков просто тащились.

Еще, было время, активно занимались «площадями» — аренда, сдача, покупка, цент под офисы, под производство, для торговли, в Подмосковье, под пансионаты, дома отдыха, в других регионах под сельское хозяйство... Помогли однажды отвести земли района под одну престижную гостиницу — она сейчас уже работает, горжусь, когда мимо проезжаю, есть ведь и мой труд! Еще был смешной эпизод с моралью «не жадничай!»: одна организация долго-долго искала, где сделать свой офис, на-

шла-таки, договорилась с местными властями (почти в Центре было), собралась она поселиться в одиноком стоящем четырехэтажном домике, который шел под капитальный ремонт. Но неожиданно — или, может, это был ход запланированного? — у них попросили взятку в валюте. Те бы и рады, да столько денег найти не смогли. Кто-то из фирм был знаком с одним из нас, ну, спросил, так, на всякий случай, нельзя ли что сделать. Смогли, сделали. Одним воскресным днем согнали туда технику, и домик развалили. Снесли. Легко, как курочка Ряба свое прославленное фольклором яичко. В результате все обернулось к лучшему: когда из фирмы пришли и, хитро глядя, спросили власть в районе: «Достаточно ли будет?» — те, не артачась, отдали землю под строительство. Поняли, с кем дело имеют. Дом фирма построила быстро, за пять месяцев. А нам заплатили двумя хорошими комнатами в нем, на втором этаже, — мы их до сих пор сдаем в аренду за доллары. Вот, например, откуда у меня пиво из «Айриш Хауса».

— Про мои советские фирмы ты все знаешь, в частности, что ни в одной из них я не главный, хоть и зарплату всем директорам плачу исправно из своего кармана. Они сами пока только начинают окупаться (официально, конечно). Первую свою фирму здесь я открыл уже в солидном возрасте, два года назад. Зарегистрировал, кстати, за десять дней, и тогда это за все про все в десять тысяч уложилось, вот жизнь-то была... В одной — я замначальника отдела маркетинга, в другой — клерк обыкновенный, зато в третьей — шеф отдела Паблик Рилейшенс. А открыл я все эти лавочки для того, чтобы деньги не держать дома в банках (именно стеклянных), чтоб они в деле находились, чтоб официальная чистая крыша была на всякий случай (ну, пойдет сейчас декларирование доходов, а я куда, с окладом, даже суммарным, не более трех-четырех тысяч) и чтобы всегда была под рукой возможность обналачивать и отмывать бабки.

А знаешь, между прочим, зачем еще своя фирма нужна? Людей подбирать. Где я в работе на человека могу посмотреть? Я недавно взял к себе молодого, ну, неопытного в смысле парнишку, 21 год ему. На собеседовании спросил его пару раз и вскользь: не считает ли он, что лучше иногда закон подвинуть, для дела, мол? Он изобразил непреклонную законопослушность и вообще оскорбленную добродетель. Так вот, агентура наша доносит, что парень крутится сейчас в нелегалке, как уж на сковородке. Пока, правда, все больше по мелочам, ксероксы-факсы, но все же за три месяца тысяч двести — триста сколотил. Однако, хоть и сообразителен, бестия, не догадывается, что за контора его на работу взяла. «Совки, говорит, обычные, все легально, все с отчетностью да со сметами, козлы, возятся».

— Я начинал, узнав несколько сугубо профессиональных выражений, что-нибудь на нелегально-коммерче-

ском сленге, вворачивал невзначай эти слова, понятия всюду, где они имели какое-то значение. И не прогадывал: психология — великая штука.

— Ну а рэкет на тебя наезжал?

— А то как же? Что ж они, не работают, что ли? Однажды, давно, правда, года два-три назад, когда собственную охрану только начинали делать, сцапали меня одного вечером в Центре. Ну, я прикинулся очень напуганным, а тогда у меня было такое количество денег, которое позволяет не бояться их потерять, руки очень натурально дрожали, когда наличность отдавал, что-то штук под десять оказалось при себе. Обычно я столько при себе не ношу, незачем, как правило. Ну, отдал я «крупную» наличность, они порадовались и установили тариф: 20 тысяч в месяц и следующий срок назначили. Просили также в милицию не обращаться, угрожая физической расправой. Я и не стал, а просто на следующую стрелку привел свою охрану. Тогда мне и посчастливилось увидеть классную инсценировку незабываемых детских строк: «Почему я встал у стенки, у меня дрожат колени...» Несчастные рэкетмены, по-моему, из какого-то настольного тенниса или шашек были — сразу во всем признались: как увидели меня на иномарке, решили попасти, а потом просто обалдели, когда я к знакомой в гости на чашку чая заехал и тачку оставил открытой. А я просто забыл. Что я, больной, что ли? Я же тогда на «форде» был, а не на «шестерке» своей раздолбанной, у которой скоро просто двери отвалятся. Они, в общем, дуру решили, что я очень богат (хотя решили вообще-то правильно), и надумали подзаработать. Ну, деньги они, конечно, вернули — это чтоб неповадно было. А мы потом долго и тщательно проверяли, так оно или не так — может, рэкет просто с улицы, а может, навел кто: их связи, знакомства прощупывали, следили за ними. Но все чисто оказалось.

Антон с пеной у рта доказывал: в бизнесе существуют и человеческие отношения, и нормальная дружба, и простая порядочность. И аргументировал: как и везде, если только ты нормальный человек и имеешь дело с такими же. Друзья прощали ему долги, и он прощал. И он, и ему давали денег, когда наступала черная полоса. Его друг, тоже коммерсант, с которым они даже конкурировали не раз в получении заказа, сам охранял его жену, встречал и провожал ее на работу. Определил жить дома у его родителей, когда Антон скрывался в глухой деревне, дожидаясь, когда желание врагов украсть у него два заработанных чистыми миллиона несколько уляжется.

— ...Я абсолютно не чувствую себя перед кем-то виноватым в том, что действую, невзирая на законы. Потому что законы эти дурацкие и автор — государство тоже совершенно дурацкое. Я могу винить себя лишь в том, что ничего не делаю для того, чтобы оно стало каким-то иным. Но, откровенно говоря, не думаю, что это возможно. Посмотрите сами: в государстве, чтобы оно про-

цветало экономически, должны работать хорошие, грамотные коммерсанты, умеющие делать бизнес и заинтересованные в этом. Президент или кто там этим занимается должны приглашать работать в госсистеме тех же Тарасова, Борова, Стерлигова, Святослава Федорова и прочих деятельных и способных. А есть ли это? Кстати, судьба Тарасова, по-моему, вообще на уровне античной трагедии. Он же, кажется, продал в ФРГ медную стружку, да? Так мы продавали и саму медь, и массу другого, и не только в Германию. Но Артем Тарасов, потомственный коммерсант, решил сделать это легально и даже платить партвзносы с доходов. Он решил работать легально с этим государством и в этом государстве — и чем же кончилось? Впечатление такое, что его просто сломала существующая система, он (я с ним незнаком, но думаю так) при всем своем уме оказался-таки очень наивным, если поверил в разрешение государства делать деньги и дело. Вообще коммерция легальная и нелегальная сейчас очень тесно связаны, и не приходится ожидать, что они станут в ближайшее время отдаляться одна от другой. Скажем, взяли с вас предоплату — и кинули. Если хотите, подавайте в арбитраж, а там, как я знаю, надо внести 10 процентов оспариваемой суммы и, кроме того, годами дожидаться, пока только подойдет очередь рассмотрения дела. Можно, конечно, ускорить процесс за взятку, но это — легальная коммерция, а? Что делает большинство обманутых, если они не желают или просто не могут себе позволить плюнуть на потраченные деньги? Они обращаются в «пожарные команды», конторы по выколачиванию неустоек, с работы в которой я чуть было не начал свою коммерцию. И прибегают к ним сотни и тысячи вполне легальных и благопристойных фирм, поверь мне. А размеры коррупции на уровне управленческого аппарата? Я просто не знаю, что нельзя сделать с помощью взятки, я, кажется, прописку в домике Горбачева на Воробьевых горах могу получить, были б деньги и нужда. «Шереметьево-2» купить, причем не таможенно, она-то давно куплена, а сам аэровокзал с полом, стенами и потолками. В этой стране, кажется, просто не существует чиновников, не берущих взятки, не родятся такие. Говорят, что скоро должны экономическое законодательство пересматривать, но я не больно-то верю этому: даже если пересмотрят, все останется в основном по-старому. Да даже и по-новому станет, люди-то все равно старые.

В моих дальнейших планах тебя, наверное, более всего удивляет, что я не намерен уезжать на Запад. Да, я хотел этого в молодости, но уже вполне сознательно не стремлюсь к этому сейчас. Просто я живу здесь, я весь здесь, я здесь вырос, это действительно моя земля, и я не хочу никуда уезжать. Ведь это не страна дураков, в смысле не их страна, — так вот пусть они и уходят. Я останусь здесь. Проще перевезти баночное пиво, чем душу.

МЫ НАУЧИМ ВАС:

рационально и быстро ЧИТАТЬ
эффективно ЗАПОМИНАТЬ
рационально ЗАПИСЫВАТЬ



КУРС "ФОРШ - ЧТЕНИЕ".

За три-четыре месяца Вы сможете:

- НАУЧИТЬСЯ РАЗУМНО И БЫСТРО ЧИТАТЬ
- РАЗВИТЬ ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ
- НАУЧИТЬСЯ АУТОТРЕНИНГУ С ПОМОЩЬЮ КОМПАКТ-КАССЕТЫ

АДРЕС: 121151 МОСКВА, Кутузовский пр., 24, "ШРЧ" (Ю)
Телефон для справок: (095) 249-99-84



"ИСКУССТВО ЗАПОМИНАНИЯ"

ОРИГИНАЛЬНАЯ
МЕТОДИКА
РАДИКАЛЬНОГО
УЛУЧШЕНИЯ
ПАМЯТИ В 10-20 РАЗ!

АДРЕС: 125015 МОСКВА, Бутырская ул., 21, А/Я 42, "МНЕМО-ПЛЮС" (Ю).



КУРС "ФОРШ-ПИСЬМО"
РАЦИОНАЛЬНОЕ
КОНСПЕКТИРОВАНИЕ
Умение быстро и емко
записывать услышанное
или прочитанное.

АДРЕС: 125015 МОСКВА, Бутырская, 21, А/Я 42, "ФОРШ-ПИСЬМО" (Ю)

ПРОСЬБА

Присылая нам заявку на подробную информацию, пожалуйста, вложите пустой конверт со своим адресом.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:
Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи редакция не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Пресса» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

Художественный редактор Юрий Петелин
Технический редактор Ольга Трепенюк
Оформление рекламы
Вадима и Владислава Игонинных

Сдано в набор 05.12.91. Подп. к печ. 27.12.91.
Формат 84 x 60/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 683 400 экз. Заказ № 1177
Цена 1 р. 75 к.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. Горького, 32/1.
Телефон для справок: 251-31-22

Телефон отдела рекламы: 251-14-21
Телефон корпункта по Уралу и Сибири: 25-98-80 (г. Пермь)

Типография издательства «Пресса».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

ТОЛЬКО МЫ ДАДИМ ВАМ РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Предлагаем оригинальный учебник английского языка: В. И. ЛЕВЕНТАЛЬ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ПРОСТО О СЛОЖНОМ. Практический курс. Стоимость — 45 рублей.

Чтобы приобрести учебник, нужно перечислить 45 рублей на р/с 2461457 в Русаковском отд. Мосбизнесбанка г. Москвы МФО 201876 код Н 8. Учебный центр «Реальные знания».

Заявку (укажите свой домашний адрес, ф. и. о., количество экземпляров), квитанцию почтового перевода или копию платежного поручения направляйте по адресу: 111112, Москва, ул. Войтовича, д. 32/2. Учебный центр «Реальные знания».



ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ:

- фундаментальной подготовки по английскому, немецкому и французскому языкам (для частных лиц и организаций)
- подготовки к сдаче тестов TOEFL и GRE (для поступающих в вузы и аспирантуры США)
- практической грамотности по русскому языку (для старшеклассников и студентов)
- русского языка для иностранцев
- «Компьютер в офисе» для начинающих пользователей ПК
- молодых предпринимателей (для старшеклассников)
- бухгалтерского учета для МП, АО и СП
- интенсивной подготовки в вуз
- общения (имидж, психотренинг)
- подготовки к школе

Контактные телефоны в Москве:
394-14-38, 265-09-72.



РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

111112, Москва, ул. Войтовича, д. 32/2.
Учебный центр «Реальные знания».



Музыка - почтой

Пластинки

О наших новинках — в №№ 1, 4, 6, 8, 10 журнала «Юность» 1992 года.

Мы вышлем вам пластинки наложенным платежом.

Заявки направляйте по адресу: 143360, г. Апрелевка, Московской обл., ул. Ленина, д. 4. Апрелевское предприятие «Роспосылторг».

Следите за нашей рекламой!

